

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ РОССИИ

А. С. Суворин
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



А.С.Суворин.

Рисунок И.Н.Крамского, 1876 год.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ РОССИИ

А. С. Суворин
в воспоминаниях современников



Издательство им. Е. А. Болховитинова
Воронеж
2001

Составитель – С. П. Иванов.
Редактирование и подготовка текстов –
В. П. Бахметьев, А. Е. Корбанов, А. Е. Тишанинов.

Т-31 Телохрани́тель России. А. С. Суворин в воспоминаниях современников. – Воронеж. Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2001. 392 с. ISBN 5-87456-230-3

В настоящем издании впервые собраны воспоминания людей, лично знавших выдающегося русского журналиста и издателя, общественного и культурного деятеля Алексея Сергеевича Суворина (1834-1912). Часть публикуемых статей никогда не переиздавалась после 1917 года. Другая часть – уникальные, архивные документы, которые печатаются впервые, в том числе и духовное завещание А. С. Суворина.

В книге прослеживается путь человека, родившегося под соломенной крышей в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии, к вершинам русской политики и культуры. Подвижник и патриот, основатель самой влиятельной национальной газеты рубежа XIX-XX веков, друживший с А. П. Чеховым и В. В. Розановым, показан во всей полноте своих жизненных и общественных интересов. Одновременно перед читателем открывается широкая панорама жизни пореформенной России, во многом схожая по проблематике с нашим временем.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Нас уже приучили к мысли, что невозможно, не позволено быть в России одновременно русским, честным и богатым. Преуспевание и русское национальное дело стали несовместимыми. И не потому, что нет в нашей стране предприимчивых русских людей, добившихся выдающихся успехов. Просто каждый русский успех, только-только он наклонется, хоронится интерпретаторами. Целая свора штатных критиков создает общественное мнение таким образом, что опять на виду русская глупость, а коренной русский ум загоняют в подполье.

Такое положение дел сложилось не сегодня и не вчера. Вспомним Гоголя, его второй том «Мертвых душ», попытку создать положительный образ русского помещика, умного, предприимчивого. Гоголя затравили критики, объявили заблуждением сам поворот писателя к охранительной идеологии. А ведь из помещичьих усадеб вышел весь цвет русской культуры. Но наши интерпретаторы десятилетиями твердили юношеству, что русский помещик — это обязательно Ноздрев, Собакевич или Обломов. Более близкий пример — «производственные» романы Максима Горького. Образ русского промышленника и предпринимателя был надолго оклеветан, искажен. И непонятно, откуда взялись высокие темпы промышленного роста в России на рубеже XIX и XX веков.

Собственно, книга эта о русском успехе, о человеке, который, родившись в крестьянской избе под соломенной крышей, стал одной из центральных фигур русской истории в конце XIX и начале XX веков, создал единственную в своем роде национальную газету «Новое время», с таким уровнем русской журналистики, который и по сию пору является образцовым.

Успех «Нового времени», успех Алексея Сергеевича Суворина был именно русским успехом. И сам он неоднократно подчеркивал, что, не презирая никого, «надо быть русским». Великий труженик и патриот Суворин знал беды и болезни России. «Мы слишком ушли в теории и оставили жизнь. А она требует энергии и воли», — писал он в одном из писем. Алексея Сергеевича укоряли в том, что его газета представляет и прославляет «психологию успеха». Почему же в тогдашней России успех был бранным словом? Ведь это был успех разбуженной реформами 1861 года трудовой России, успех средних и низших слоев русского общества, кровно связанных с русским крестьянством. Это был успех той России, которая верила в Бога и трудилась. Не уповала на внешние перевороты, а твердо знала, что лучшая жизнь — результат постепенного, кропотливого труда. В этом смысле постепенником был и А. С. Пушкин, который писал, что самые прочные изменения к лучшему — суть изменения нравственные. Об этом и «Заветные мысли» великого русского ученого Д. И. Менделеева. В этом ряду стоит и А. С. Суворин.

Он сожалел о трагической и преждевременной кончине Столыпина, который смог бы «вбить в русскую землю конституцию. И то национальное чувство, которым был полон». Именно для трудовой России Столыпин просил двадцать лет покоя. Но покой в стране уже был невыгоден многим и многим.

Суворин видел, что русская революция поднимается на плечах «бездарных профессоров, непризнанных артистов, несчастных литераторов, студентов, не окончивших курсы... людей с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными претензиями, но без выдержки и силы на труд». Он прекрасно понимал тактику левых сил: «Или все, или ничего» — чем хуже народу, тем лучше революции». И стоял за русские начала, за русское по своим стремлениям правительство, против «разбойников» и «разрушителей». Один из немногих, Суворин предчувствовал катастрофу 1917 года, ясно видел тех, кто готовится ее сознательно и бессознательно, разоблачал и тех, и других.

История газеты Суворина — это история борьбы с «талантливым русским кутежом». Именно потому, что «Новое время» разоблачало этот «кутеж», Суворина ненавидели. Его травлили либералы, социалисты, правительственные лица. Но газета опи-

ралась на растущую, новую Россию и была сильна поддержкой массового читателя. Об утес «Нового времени» разбивались с злобным шипением грязные волны либеральной публицистики. И в то же время газета была островом, где могла бы реализовать себя охранительная журналистика.

Василий Розанов, разоблачая миф о страданиях левых и либеральных литераторов, указывал на трагическую судьбу Константина Леонтьева, которого тогдашняя «журналистика» «казнила» и «погребала» просто оттого, что он не отрекся от России и не побежал за немецко-еврейской социал-демократией». Розанов жестко обозначил тогдашнюю альтернативу для пишущих: «Или «Новое время», или умри с голоду, если не социалист». Этой фразой и определяется то исключительно важное, особое место, которое занимал и занимает Суворин в истории России.

Надо ли объяснять, почему сразу после смерти Алексея Сергеевича Суворова враждебная «Новому времени» печать взяла на вооружение, по словам Розанова, лозунг: «Проклинай, ненавидь и клевети!»

Статьи-пасквиля были посмертно удостоены Суворин и от «вождя мирового пролетариата». В 1912 году по случаю кончины редактора и издателя газеты «Новое время» в «Правде» появилась публикация В. И. Ленина с характерным названием «Карьера». Вождь не поскупился на эпитеты, тем самым дав основание своим последователям долгое время замалчивать и искажать подлинные заслуги Суворова пред Россией. Ленинские инсинуации, его фанатичное злорадование по поводу ухода со сцены его идеологического, самого, может быть, умного и опасного противника, повторяют, к сожалению, и современные историки.

Конечно, выступление Ленина в 1912 году было продиктовано конъюнктурой политической борьбы. В глазах социал-демократии любой русский успех был вне закона, любая карьера русского человека на службе старой России вызывала раздражение.

Но почему и в наши дни, как только в обществе после провала либеральных реформ наметился поворот к старым русским альтернативам, как только возник интерес к русским консервативным идеологам и деятелям охранительного толка, так сразу

были предприняты попытки вторично дезавуировать русский успех, интерпретировать его на свой лад?

Спрогнозировать современный интерес к Суворину было не так сложно. Ведь и в советское время, несмотря на «директивную» статью Ленина, имя Суворина нельзя было вычеркнуть из контекста русской литературы и культуры. А ныне тем более нельзя замолчать имя редактора самой влиятельной дореволюционной газеты, с которым дружили Достоевский, Чехов, Григорович, Плещеев, Репин, Крамской, Розанов.

Но кому-то очень не хочется, чтобы современный русский читатель самостоятельно познакомился с «дедушкой русской журналистики». И вот в 1998 году издательство «РОССПЭН» выпускает монографию Е. А. Динерштейна «А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру». Переключка названий книги и ленинской статьи не случайна. Автор как бы расшифровывает на 375 страницах ленинские формулировки образца 1912 года.

К предмету своего исследования Динерштейн не проявил ни сочувствия, ни понимания, ни беспристрастности. Наоборот, факты биографии Суворина подобраны так, чтобы у читателя возникло стойкое неприятие личности великого издателя и патронта.

В 1999 году в издательстве «Независимая газета» с помощью британской стороны выходит впервые наиболее полный текст дневника Алексея Сергеевича Суворина. Событие отрадное. Но опять же О. Макарова и Д. Рейфилд, вопреки декларируемой научной объективности, пишут в предисловии о «моральной нечистоплотности» издателя «Нового времени». О том, что «эклектичное по сути политическое мировоззрение» автора дневника «отягчалось паранойей, поразившей всех его домочадцев, а также сотрудников «Нового времени». Авторы предисловия сложный жизненный путь Алексея Сергеевича склонны выводить из «сексуальных комплексов». Хорошая, нужная книга не просто испорчена предисловием. Неопытному, наивному читателю предложена оптическая система восприятия основного текста, искажающая универсальность и «симфоничность» фигуры Суворина.

Отдельно упомянем о воронежских краеведах, или, как они сегодня себя называют, регионоведах. При советской власти они

добросовестно повторяли ленинскую характеристику Суворина. А ныне при «содействии» изданию дневника (о том сказано в предисловии) эти «регионоведы», мимо которых не проскочил ни один более-менее известный воронежец, не удосужились даже поправить неверно расшифрованное название реки, на берегах которой родился Суворин, указать дату смерти его брата, высеченную на сохранившемся надгробии в селе Коршево Бобровского района.

...Либеральная критика очень спешила застолбить свое толкование жизни и деятельности русского патриота.

Мы не могли и не хотели согласиться с этим. Так родилась эта книга. Собранные в ней воспоминания создают цельный портрет русского человека, подвижника и патриота Алексея Сергеевича Суворина.

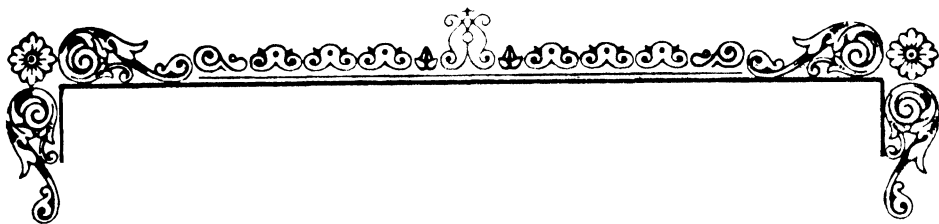
Сразу оговоримся, что это не научное издание с тщательно выверенным научным аппаратом. У нас не было на это средств. А на заграничные гранты мы, по понятным причинам, не рассчитываем.

Мы не можем не упомянуть здесь бывшего директора Воронежской областной типографии — издательства им. Е. А. Болховитинова, ныне покойного Анатолия Федоровича Сорокина. Он одобрил нашу идею книги и благословил работу над ней. Очень жаль, что Анатолий Федорович не увидит плод и своего труда.

Мы очень благодарны за помощь в подборе архивного материала из фонда Суворина в Российском государственном архиве литературы и искусства, в том числе и уникального, кандидату исторических наук, доценту Воронежского госуниверситета Аркадию Юрьевичу Минакову. Благодарим также за помощь библиографа научной библиотеки ВГУ Виктора Михайловича Абакумова. Ну а тех, без финансовой помощи которых издание не вышло бы в свет, мы указали отдельно в конце книги.

В публикуемых текстах в основном сохранены стилистика и орфография оригиналов.

Святослав Иванов.



Б. Б. ГЛИНСКИЙ

РОДИТЕЛИ А. С. СУВОРИНА



Августа 11 дня исполняется годовщина со дня кончины Алексея Сергеевича Суворина. В настоящей заметке мы даем сведения о родителях Алексея Сергеевича, капитане Сергее Дмитриевиче и жене его Александре Львовне, заимствуя такие сведения из «Памятной книжки Воронежской губернии на 1913 год», где В. В. Литвиновым представлены любопытные данные об «участниках Отечественной войны и заграничных походов 1813-1815 гг. из дворян и уроженцев Воронежской губернии». Свои данные г. Литвинов почерпнул из архива воронежского депутатского дворянского собрания, каковой до него в этих целях еще никем не был использован.

Сергей Дмитриевич Суворин родился в 1784 г. в большой семье крестьян-однодворцев села Коршева Бобровского уезда. Он был младшим в семье, состоявшей из нескольких братьев. Рос обыкновенным рядовым крестьянином и восемнадцати лет

Глинский Борис Борисович (1860-1917), журналист, историк и публицист. С 1887 года сотрудник, с середины 1890-х гг. один из ведущих сотрудников, с 1912 года издатель, с 1913-го – редактор-издатель журнала «Исторический Вестник» (выходил в Санкт-Петербурге с 1880 по 1917 год). Статья Б. Б. Глинского «Родители А. С. Суворина» перепечатывается с незначительными сокращениями из журнала «Исторический Вестник» (1913, № 8, с. 553-558).



женился на местной крестьянке, от которой имел двух дочерей. Войны с Наполеоном потребовали усиленного набора молодых людей и С. Д. Суворину скоро пришлось отбывать тяжелую в то время воинскую повинность. 7-го мая 1807 г. он был принят в лейб-гвардии Преображенский полк. Впоследствии он с благодарностью вспоминал о «дядьке» по роте, который относился к нему хорошо и помог выучиться грамоте по азбучке, купленной на толкучем рынке. В 1808 г. С. Д. Суворину уже пришлось отправиться в Финляндию, в ряды войск, действовавших против шведов. 13-го июня он участвовал в сражении у гор. Вазы и в самом городе, когда был нами уничтожен отряд полковника Бергенстрале, 21-го августа — при деревне Сальме и 2-го сентября — при Оровайсе, где нашими войсками (граф Н. М. Каменский) были нанесены решительные поражения шведскому главнокомандующему Клингспору. С 27-го февраля по 14-е марта 1809 г. С. Д. Суворин находился в корпусе Багратиона, занимавшем Аландские острова и выдержавшем ряд мелких сражений с неприятелем. 7-го ноября 1811 г. С. Д. Суворин был переведен в лейб-гвардии Московский полк и в рядах его сражался во время Отечественной войны под Витебском, Смоленском и при Бородине. Полученные в последнем сражении раны (пулями навывлет) в стопу правой ноги и левую руку ниже локтя приковали его на год к постели. Оправившись от ран, он с 22-го августа 1813 года попал в отряд, блокировавший Модлин (ныне Новогоргиевск) и находился здесь, в резервном батальоне, до взятия крепости (19-го октября), после чего опять по болезни, будучи 26-го августа 1813 г. произведен в унтер-офицеры, получил отпуск. 29-го марта 1822 г. он был произведен в фельдфебели, а 12-го декабря 1823 г. в подпоручики с переводом в Костромской пехотный полк. Зарекомендовав себя здесь честным и толковым офицером, С. Д. 6-го августа 1825 г. был назначен полковым квартирмейстером и исполнял эту должность по 21-е апреля 1830 г. Свидетельством его усердного отношения к своим служебным обязанностям служат также высочайшие благоволения (приказами от 12-го, 15-го, 16-го и 17-го мая, 11-го июля и 16-го сентября 1827 г.) за смотры в высочайшем присутствии, за успешное производство работ в Кронштадте и сбережение людей (приказ



10-го августа 1827 г.¹⁾ В память бывшего августа 1826 г. коронования императора Николая I он получил высочайше пожалованное сукно на мундир, сюртук и рейтузы, а за бывший в мае 1827 г. высочайший смотр третное не в зачет жалование. Произведенный 22-го июня 1827 г. в поручики, С. Д. через год принял участие в войне с Турцией. За участие в этой кампании С. Д. Суворин был награжден серебряной медалью и получил годовое не в зачет жалование, причем во время самой кампании, 25-го декабря 1829 г. был произведен в штабс-капитаны. Спустя год он отправился на усмирение восставших поляков и участвовал в стычке в Ружанском лесу (3-го июня) и в сражении при местечке Дзензиоле (12-го июля), а с 28-го сентября находился в пределах царства Польского вплоть до полного прекращения военных действий. 16-го июня 1832 г. С. Д. Суворин уволился в отставку с производством в капитаны и возвратился на родину в с. Коршево. За год перед тем умерла его жена (Ксения Емельяновна) от холеры, и он женился вторично на дочери местного протоиерея, Александре Львовне Соколовой. От этого брака у него родилось девять человек детей: шесть дочерей и три сына: Алексей, известный публицист и издатель (род. 1834 г., умер 11-го августа 1912 г.), Петр, ныне подполковник в отставке, и Дмитрий, умерший двадцати одного года от чахотки.

О жизни С. Д. Суворина в отставке г. Литвинов сообщает по воспоминаниям его сыновей. В своих автобиографических записках А. С. Суворин, описывая годы своего детства, рассказывает: «Отец дослужился до офицерства. Его любили как хорошего служаку и честного человека. Он был квартирмейстером и казначеем в Костромском пехотном полку, дослужился до штабс-капитана и вышел капитаном в отставку с шестьюстами рублями ассигнациями пенсии²⁾. Во время службы он сэкономил тыся-

¹⁾ Находясь однажды ночью на карауле в Кронштадте, С. Д. заметил какой-то подплывающий к судам предмет. Он сообщил об этом команде. Предмет оказался взрывчатой снарядом и был расстрелян. Это и вызвало высочайшее благоволение за «сбережение людей».

²⁾ Благодаря офицерскому званию, С. Д. Суворин, по его ходатайству, был согласно определению воронеж. дворян депутат. собрания 12 июня 1845 г. внесен во 2 ч. родословн. кн. дворянства Воронеж. губ.



чу рублей ассигнациями, с которыми и приехал в Коршево. Он отличился большою деятельностью, построил ветряную мельницу, потом крупорушку. Сам бывал на мельнице, сам готовил жернова, насыпал рожь, запрягал лошадь, любил пчеловодство. Здоровье у него было крепкое. Жили мы похуже духовенства. Дом наш состоял из двух изб, сенец и «горницы», которая состояла из передней и двух комнат. Крыт был дом соломой, как все деревенские избы. У нас был маленький сад, гумно и баня. Напимали мы кухарку и работника. Обедали мы обыкновенно в кухне, т. е. в избе, все вместе с работниками. По воскресеньям обедали в горнице, отдельно, где пили чай. Чай мы пили только по праздникам, в прикуску. После бани чай был всегда. Мебель у нас была самодельная, ложки деревянные и большей частью изделия отца, который делал их из липы и очень изящно при помощи круглого долота и ножа. Заходили к нам родные и знакомые отца, коршевские мужики. Отец пользовался уважением и с ним любили посоветоваться, поговорить. Никакого чванства у отца не было, он как-то со всеми был ровен. Утром и вечером отец становился на молитву и долго молился, читая вслух много молитв. Иногда он заставлял и всех нас молиться. На Страстной неделе он читывал Евангелие нам всем, стоя перед образами. Единственная книга, которая была у нас, это Евангелие на русском языке, издание библейского общества. Если отец не работал, то сидел в очках и читал Евангелие. Впоследствии, с увеличением семьи, мы значительно обеднели, и отец немного опустил и становился мрачным. Целые ночи он мучительно кашлял, сидя на лежанке». По словам полковника П. С. Суворина³⁾, отец его был крепкого телосложения, высок ростом, с мужественной осанкой⁴⁾. Отличался недюжинным природным умом и необыкновенною правдивостью и честностью. В Коршеве, по выходе из военной службы, он занялся земледелием, снимал казенные земли, часть их передавал в аренду, а часть засеивал сам. Кроме того, имел большую и прибыльную «толоку», развел плодовый сад, построил ветряную мельницу. Однако

³⁾ Передано нам учителем бобровск второкл. церк.-прих. школы Я. Ф. Селивановым

⁴⁾ Портрета С. Д. не сохранилось в его семье.



вследствие многосемейности особым достатком не обладал. Смерть С. Д. Суворина (в 1855 г.) была неожиданна. В одну из поездок по найму рабочих для уборки сена лошадь его чего-то испугалась, понесла; С. Д. выпал из экипажа, сильно разбился (перебиты были ключица и несколько ребер) и вскоре умер. Погребен был в Коршеве, на общественном кладбище. С течением времени могила его затерялась, и теперь место погребения его не могут точно установить даже его дети.

У проживающей в г. Боброве дочери С. Д. Суворина Варвары Сергеевны сохранилась принадлежавшая отцу фарфоровая походная чайница, история которой (как рассказывал сам С. Д.) такова. Раненный под Бородином, С. Д. был положен в один из московских госпиталей. По сдаче Москвы неприятелю раненых спешно укладывали на подводу и увозили. С. Д. был положен на подводу с сухарями. На эту же подводу кем-то были брошены самовар и чайница. Самовар потом скоро исчез, а чайница осталась у С. Д. У другой дочери С. Д., тоже проживающей в Боброве, Анны Сергеевны, до последнего времени хранился дневник отца (объемистая тетрадь), содержавший его записки о службе и военных походах, но он взят года два назад Алексеем Сергеевичем Сувориным. По смерти С. Д. жена его, Александра Львовна, продала дом и поместье мужа в Коршеве и переехала в Бобров. Здесь она и умерла. На могиле ее (на городском кладбище) сыном, А. С. Сувориным, поставлен солидный мраморный памятник на гранитном пьедестале, с надписью: «Александра Львовна Суворина. Род. 1808 г. 23-го апреля. Сконч. 1889 г. марта. Жития ее было 81 год и 24 дня». Издатель «Нового Времени» высоко ставил нравственный облик своих родителей и в значительной степени относил к их природным свойствам свои жизненные успехи, вытекшие из его замечательной работоспособности.

А. С. Суворин купил впоследствии отцовскую усадьбу в Коршеве и вместе с садом (более 1 десятины) подарил ее под двухклассное училище, открытое в 1907 году.





Б. Б. ГЛИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СУВОРИН

(Биографический очерк)

ончина А. С. Суворина является горем не только для тех литературных предприятий, во главе которых он стоял, не только всей журналистики, но и всей общественной и политической России. Отзвуки этого горя проникли далеко за пределы нашей родины: славянство, влиятельные круги Западной Европы, даже не во всем и не всегда сочувственные России, и те признали, что наша родина потеряла выдающегося сына, что с мировой сцены сошел очень крупный человек, игравший в ходе событий последних 25-30 лет видную роль и подчас оказывавший на ход этих событий известное давление и влияние. Полная и всесторонняя оценка почившего сейчас почти невозможна: для этого требуется опубликование массы исторических документов, его обширнейшей корреспонденции, приведение в известность его сношений с разными видными деятелями. Несомненно, до известной степени это будет сделано в недалеком будущем в особом специально посвященном Алексею Сергеевичу труде, где фигура этого представителя своей родины вырисовуется на фоне общественно-историче-

Статья Б. Б. Глинского «Алексей Сергеевич Суворин (Биографический очерк)» с незначительными сокращениями перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1912, № 9, с. 3-60).



ской жизни России в пореформенной эпохе. В данной статье я ограничу рамки своей задачи и дам то фактическое о почившем, что появилось в нашей прессе в дни, следовавшие за его кончиной.

Алексей Сергеевич Суворин родился 11-го сентября 1834 г. в селе Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии.

В своих прелестных посмертных автобиографических заметках, увы! далеко не оконченных и представляющих собою по простоте и искренности изложения настоящий шедевр литературного искусства, покойный публицист сообщает трогательные и интересные подробности о своем детстве и юности. С некоторыми купюрами, неизбежными в журнальной работе, мы воспроизведем их здесь в их главнейших моментах.

Он повествует: «Отец мой был из большой дворянской семьи, известной в Коршеве под прозвищем Путатовых. Мы, бывало, так и говорили: «пойдем к Путатовым», к дядьям и племянникам моего отца. Они жили под горой, у самой реки. Рассказывали, что в Путатовых произвели Сувориных потому, что дед или прадед был в каких-то депутатах. Ни отец, ни я не интересовались, что это за депутаты такие были, не интересовались и тем, что за дворяне Путатовы: обедневшие ли это дворяне, или одинокими дворами сели на берегу реки, вблизи леса и рыбы. Знаю одно, что между дворянами и другими крестьянами не было никакого различия. Жили, как все, одевались, как и все, и считали себя крестьянами. Отец был, кажется, младшим в семье, состоявшей из нескольких братьев, и был забрит в солдаты в начале царствования Александра, будучи уже женат. Солдатская служба была трудная, начальство строгое, и отец часто вспоминал об этом.

Попал он в лейб-гвардии Преображенский полк. С благодарностью вспоминал о «дядьке», который относился к нему хорошо и помог выучиться грамоте. Азбуку отец купил на толкучем. В 1812 г. он участвовал в нескольких битвах, а под Бородином был ранен в руку и ногу. Отец дослужился до офицерства. Его любили как хорошего служаку и честного человека. Он был квартирмейстером и казначеем в Костромском пехотном полку, дослужился до штабс-капитана и вышел капитаном в отставку с 600 руб. ассигнациями пенсии. Этот чин давал в то время по-



томственное дворянство. Во время службы он сэкономил 1000 руб. ассигнациями, с которыми и приехал в Коршево.

После польской кампании отец вышел в отставку. Жена его оставалась в Коршеве, куда он ездил на побывку; у него было две дочери, из которых Наталья была уже замужем за коршевским мужиком Семеном Голицыным, а другая, Дуняша, была лет десяти. Во время первой холеры жена отца умерла, а он женился на моей матери, дочери коршевского протопопа Льва Соколова, Александре. Матери моей было 20 лет, а отцу 49 лет, но он был здоровым и крепким мужчиной; мать выходила за него не по любви. Приказали да и только. «Какая там любовь, — говорила она. — Мы этой вашей любви тогда не знали. Это теперь только любовь пошла. Я ревела, ревела перед свадьбой, а ничего, прожила век и детей выходила».

Нас, детей, было у них девять человек, шесть дочерей и трое сыновей, и никто не умер раньше двадцати лет. Я был первым. Родился я мертвым, в бане, куда маменьку увели рожать. Бабушка шлепала, шлепала меня прежде, чем я оказал признаки жизни. Потом родимчик со мной случился. Мать сама меня кормила и через четырнадцать месяцев родила брата мне, Петра, которому взяли кормилицу, а я высосал у маменьки и свое молоко и братнино. Кормила меня мать больше двух лет.

Как первенца, меня очень баловали, сравнительно с братом. Мать, разумеется, ни о каких системах воспитания понятия не имела, отец же только шутя говорил ей, что надо быть строгой, и рассказывал о своем полковнике, который велел своим детям, следовавшим за полком с матерью в бричке, вылезать из нее и идти пешком. Мать плакала, особенно когда это случалось в дурную погоду. «Надо привыкать», — говорил полковник, и мальчуганы шлепали по грязи до тех пор, пока не заболели. Слушая это, мать моя возражала: «Ну, что тут хорошего детей морить?» — «А ты подожди, Саня, что случилось. Меньшой заболел и умер, за ним и старший. Боже мой, в каком состоянии была полковница, как плакала, а полковник глотал слезы и говорил: «Дети солдата... дети солдата...» Ничего другого сказать не мог. «Мучитель!» — осуждала моя мать.



От груди меня оторвали по третьему году. Жили мы похуже духовенства. Дом наш состоял из двух изб, сенец и «горницы», которая состояла из передней и двух комнат. Крыт был дом соломой, как все деревенские избы. У нас был маленький сад, гумно и баня. Нанимали мы кухарку и работника, да жила у нас еще дочь сестры Натальи, Анна, которую мы все звали «няничкой». Это была веселая, добрая девушка, которая многих из нас нянчила до выхода замуж. Муж ее попал в солдаты и пропал где-то. Она продолжала ходить к нам и жила подолгу у маменьки до смерти. Уже стариком увидел ее в последний раз. Она прихварывала, но была такая же веселая и спрашивала меня: правда, что после смерти души сажают в мешок, завязывают и бросают с горы? За братом Петром следовали пять сестер (Анна, Авдотья, Марья, Варвара и Александра), потом опять сын Дмитрий, умерший двадцати одного года от чахотки, и сестра Анастасия. По мере увеличения семейки мы жили беднее и беднее. Отец построил ветряную мельницу, потом рушку (крупурушку), которую строили раскольники. Я помню, как они сходились с нами за стол, каждый со своей чашкой. Обедали мы обыкновенно в кухне, то есть в избе, вместе с работниками. По воскресеньям обыкновенно обедали в горнице, отдельно, где пили чай. Чай мы пили только по праздникам. Пили его в прикуску. После бани чай был всегда. Наши товарищи с братом были деревенские мальчишки, с которыми мы играли, вили кнуты, пускали змея, ходили купаться в Битюг, ловили руками головастика, не подозревая в них будущих лягушек. Я воспитался, так сказать, на лоне природы, на живописной реке, противоположный берег которой на десятки верст был покрыт столетними дубами и соснами. Это «графский» лес, как у нас называли, лес графини Орловой-Чесменской, за которым лежало Хреновое, с знаменитым конским заводом. С горы, на которой расположено Коршево, Хреновое казалось помещенным на вершине леса, так как противоположный берег реки постепенно поднимался. Вид на долину Битюга, при которой стоит и Бобров, очень красивый, и я всегда любил лесистые реки, но ни одной такой красивой, как Битюг, я не знал. В некоторых местах Битюга мне показывал отец остатки бобровых построек. Сам он еще помнил на



Битюге бобров, которые дали имя городу. В моей повести «Черничка» я набросал свои детские и юношеские воспоминания об этой реке.

Знакомые наши были из духовенства, большей частью родственники маменьки, дьячок с дьячихой и сестрой своей, веселой старой девой, дьякон с дьяконицей. Дьячка и дьякона я помню большей частью пьяными. Дьячок, Иван Николаевич, обыкновенно являлся к нам пьяным и кричал: «Сестра, капитанша, дай водки!» — «И, братец, как вам не стыдно». — «Что? Сергей Митрич, — обращался он к отцу, — уйми жену. Я старше ее, как она смеет. Капитанша, загордилась!» — «Полно молоть-то, братец, садитесь». Папенька обыкновенно улыбался и начинал подтрунивать. Он обыкновенно подтрунивал над пьяными и обладал в значительной степени добродушным юмором. Заходили к нам родные и знакомые отца, коршевские мужики. Отец пользовался уважением, и с ним любили посоветоваться, поговорить. Никакого чванства у отца не было, он как-то со всеми был равен. Он сам бывал на мельнице, сам готовил жернова, насыпал рожь, запрягал лошадь, любил пчеловодство. Здоровье у него было крепкое. Впоследствии мы значительно обеднели, и отец немного опустил и становился мрачным; целые ночи он мучительно кашлял, сидя на лежанке. Но во время моего детства он сохранял бодрость и отличался большою деятельностью. Мать моя вечно хлопотала тоже, сама готовила кушанье, убирала скотину, разводила кур и гусей. Она осталась век неграмотной, но всех нас вскормила, и никто из нас не умирал у ней ни в детстве, ни в отрочестве. Она нас бранила, говорила, что надо «перестрелять из поганого ружья», давала шлепки, но всех нас умела любить, и мы ее любили. Ссоры у нее с отцом бывали, но редко. Вся наша жизнь проходила при всех. Обедали вместе все, и господа и прислуга, в избе, хлебая щи деревянными ложками из одной общей деревянной чашки: отдельных приборов, салфеток не полагалось вовсе. Чай пили не часто, всегда в прикуску, но по праздникам всегда пили утром. По праздникам же мы и обеды в горнице, одни, без прислуги, но также из общей чашки. Когда строили у нас рушку куранденские плотники, они обеды с нами же в избе, причем я впервые узнал, что есть «старове-



ры» или «столоверы», как их называли: они сидели за одним столом с нами, но ели из своих чашек. Отец, по обыкновению, подтрунивал над ними, но мирился с этим обычаем. Спали все мы в одной комнате. Сначала я спал с матерью, потом я и брат спали с отцом. У маменьки была постель с периною, у папеньки не было, но для постели составляли две скамьи и на них клали перину. Мебель была самодельная. ложки деревянные и большею частью изделия отца, который делал их из липы и очень изящно при помощи круглого долота и ножика. Утром и вечером отец становился на молитву и долго молился, читая вслух много молитв; иногда он заставлял и всех нас молиться, что, понятно, было нам не особенно приятно. На Страстной неделе он читывал евангелие нам всем, стоя перед образами. Единственная книга, которая была у нас; — это евангелие на русском языке, издание библейского общества. Никаких других книг я не видывал в детстве своем прежде, чем начал учиться. Если отец не работал, то сидел в очках и читал евангелие.

Грамоте я стал учиться на седьмом году у пономаря Василия Ивановича. Это был молодой, здоровый человек, одиноко живший в своей избе. Кроме избы на дворе, заросшем бурьяном, ничего не было. Ходили к нему мы с братом и еще несколько мальчиков. Учились мы по славянской азбуке, сначала буквы, потом склады, потом слова, потом слова в таком порядке: аз — ангел, ангельский, архангельский, буки — Бог, божество, Богородица; веди — владыка, и т. д. Все это выучивалось наизусть. Потом читали псалтырь. Учились мы охотно, и Василий Иванович нас не мучил. Поучимся, потом он начинает делать крючки из иголок для рыбной ловли и обделять ими нас, мы вили лесы и ходили удить рыбу с берега. Скоро мы с братом перешли к дьячку Павлу Петровичу Ермолаеву, который женился на моей сестре (от первой жены отца). Из той свадьбы я помню только, что шел с образом в церковь и что наш дьякон, вставив между зубами печенье, отчего рот его страшно раскрылся, плясал в присядку и рычал. Павел Петрович продолжал наше ученье по той же методе, но прибавил арифметику. Все, разумеется, долбили отсюда и досюда, объяснений никаких не делалось, да Павел Петрович и редко дома бывал по утрам; сестра обыкновенно была



дома и наблюдала за тем, чтобы мы учились, то есть чтобы твердили урок вслух. На Рождество мы ходили славить Христа по духовенству и получали копейки. Об одном Рождестве отец Александр, один из наших священников, взял меня с собою по приходу и потом уделил мне несколько грошей, столько-то овса и ржи. Вероятно, мы тогда уже очень нуждались.

Так продолжалось около двух лет. Нас отдали потом в уездное училище в Бобров и поместили там в одной семье Кирилловых, в доме которого помещалось и училище. Преподавание велось там не лучше. Задавали уроки, аудитор спрашивал их и записывал, кто знает и кто не знает. Когда учитель приходил, аудитор доносил ему о незнающих, и их сейчас же секли. Но и тут я пробыл всего месяца два: нас с братом повезли на экзамен в Михайловский кадетский корпус, который открывался в Воронеже в 1845 году. По ходатайству отца одного из нас принимали пансионером Черткова, пожертвовавшего на корпус, кажется, миллион рублей.

Я очутился в обстановке, совершенно для меня новой. Самое здание давило на меня своей огромностью и блеском. Я не умел ходить по паркету, мне было ново спать на такой кровати, с таким чистым бельем, умываться в таком умывальнике, видеть такой ватерклозет, не ел такого обеда, не видал таких офицеров, генералов, учителей, товарищей. Товарищи все были воспитания высшего, чем я, многие говорили по-французски. Я не умел ни встать, ни сесть, и в моем говоре было много чисто народных выражений. Одним словом, я мало чем отличался от крестьянского мальчика, так как и язык моей матери был простонародный. Я говорил, например, «чепь» вместо «цепь», «дюже» вместо «очень», «мово» вместо «моево» и т. д. Но, вероятно, я быстро освободился от этих недостатков, потому что особенных насмешек товарищей над собою не помню, хотя меня дразнили мужиком.

Способности у меня оказались хорошие, прилежание диктовалось просто самолюбием. Я учился хорошо, не из самых первых, но близко к ним. Я должен сказать, что корпус вообще оставил во мне приятные воспоминания, хотя в Рождество, Святую и каникулы меня всегда страшно тянуло домой к матери и отцу, к нашей деревенской обстановке, к печке в избе, где я



любил зимой что-нибудь строгать ножиком или охотиться за прусаками, которых у нас было множество — так золотом и блестя они по потолку. Директор корпуса был старик, весь седой, со строгим лицом. Он внимательно относился к корпусу и почти ежедневно посещал его. Любя прилежных, он беспощадно сек ленивых. Проходя по классам, он брал журналы и выкликал тех, которые получили единицы или двойки (двенадцатибалльная система). Выкликнутые уходили в коридор и там выстраивались. «Налево, марш», — командовал он, шеренга шла в комнату, где помещался цейнгауз и где секли. Меня Бог миловал, но большинство, можно сказать, вкусило розог. По праздникам Винтулов брал кадет к себе, и они проводили с его детьми целый день, обедали вместе с хозяевами и их гостями. Меня он брал очень часто, и в его доме я немножко привыкал к обращению с людьми. У меня был хороший алыт, чистый и звонкий, и я в кадетском хоре был солистом.

Водили нас иногда и на балы, и в корпусе бывали балы, но я был плохой танцор, ужасно конфузился и избегал танцев. Но гимнастику любил. Некоторых кадет, у которых замечена была особенная музыкальность, в том числе и меня, стали было учить на фортепиано, я уже разыгрывал «На заре ты ее не буди», но потом почему-то прекратили эти занятия, о чем я всю жизнь сожалел.

Знакомство мое с литературой началось с того, что В. А. Половцев перед классами собирал нас всех, кадет, в рекреационном зале и читал «Юрия Милославского». Он мне очень понравился, и я с нетерпением ждал ежедневно продолжения этого романа. Это была первая светская книжка, которая вводила меня в область вымысла. До этого времени, то есть до двенадцати лет, я ничего не читал: ни сказок, ни повестей, ни романов. Я уже упоминал, что в доме у отца была только одна книга — Евангелие. С Пушкиным я познакомился лет четырнадцати и прочел несколько томов, прочел с увлечением «Руслана и Людмилу», «Братьев-разбойников», «Бахчисарайский фонтан» и другие поэмы.

Пушкина мне тайком доставлял сын капитана Швихтера, посещавший классы, но не бывший кадетом, так как он был



хром на одну ногу и одна рука его выделявала невыразимые произвольные движения, так что он или держал ее сзади, или удерживал ее другою рукой.

Из учителей я с удовольствием вспоминаю Малыгина, который потом в конце 50-х годов редактировал «Воронежский Сборник». Он был у нас учителем словесности и знакомил с литературой. Его уроки мы все любили. Это был добродушный человек, высокий, полный, с открытым лицом и с положительным преподавательским талантом. Я бывал иногда в его семье и слушал, как он играл на скрипке. Ему я обязан любовью к литературе. Он только задавал сочинения и переложения стихов в прозу и со вкусом выбирал стихи и прозу для выучки наизусть. Мы, между прочим, учили «Петр Великий в Острогоске», думу Рылеева. Но автора мы не знали. Это было такой тайной, что, когда на экзамене я сказал наизусть эти стихи, директор Винтулов стал шептаться с Малыгиным, и оба улыбались как-то таинственно. Учитель всеобщей и русской истории Славатинский обладал прекрасным даром рассказа. История Иоанна Безземельного так хорошо им была рассказана, что я увлекся ею и написал, прибавив своей фантазии, и показал Славатинскому. Рассказ мой понравился, его читали инспектор и Винтулов и очень меня хвалили. Это было, так сказать, мое первое литературное произведение, если не считать упражнений в стихах. С театром я познакомился тоже поздно. Лет до четырнадцати я и не имел никакого понятия о театре. Среди моих товарищей-кадет был Колиньи, сын воронежского полицеймейстера и вместе начальника богоугодных заведений. Отец его брал некоторых кадет в отпуск, в том числе и меня. Благодаря ему я и ездил в театр, в его ложу вместе с его семейством. «Новички в любви» — это первое произведение, которое я увидел на сцене, и сейчас же стал сам пробовать писать пьесы, но дело никогда не заходило дальше заглавия, действующих лиц и описания декораций. Я видел много драм и мелодрам, видел «Велизария», «Материнское благословение», «Скопина-Шуйского», «Царство женщин» и проч. Театр мне чрезвычайно нравился. Между актерами и актрисами я помню Швана, Васильева, Ленских, мужа и жену, Мочалову, Пряхину. У Колиньи я встречался с красивой ба-



рышней, дочерью драматической актрисы Мочаловой, и влюбился в нее. Любовь была такая робкая, что Машенька не знала. Вскоре после этого капитан Шубин устроил домашний театр в корпусе, и я играл в водевиле «Петербургский дядюшка» (кажется, так), где этот дядюшка поет куплеты, бывшие в то время очень популярными и где есть такие стихи:

По Гороховой я шел,
Но гороху не нашел,

а на Морской — капли нет воды морской и т. д. Я играл Питерского, который вместе со своей женой, которую играл кадет Кареев, дурачил дядюшку, переодеваясь, между прочим, в жида. В другой пьесе «Вечер из жизни великого государя» (Фридриха Великого) я играл комическую роль ночного сторожа, пьяного. И та, и другая роли были комические и, очевидно, у меня подозревали комический актерский талант. Весь Воронеж был на нашем спектакле, и мы объедались конфетами, которые нам присылали. Вызывали нас несметное число раз. Вообще воронежский корпус по составу своих преподавателей и офицеров, не говоря уже о Винтулове, представлял очень интеллигентную среду, и кадеты, хорошо учившиеся, обращали на себя общее внимание как директора, так и учителей. Я был в числе этих избранных. Учителя были из гимназии. Упомяну о Славатинском, учителе истории, преподававшем ее очень интересно, Даугаме, учителе географии, который писал этнографические очерки в местных ведомостях, о Тарычкове, преподавателе ботаники и зоологии, о де-Пуле, учителе русского языка; я учился не у него, а у Малыгина. Малыгин преподавал прекрасно и давал учить стихотворения Рылеева («Петр Великий в Острогжске», напр.), не называя, однако, его фамилии. Впоследствии я близко сошелся с де-Пуле, этим прекрасным человеком, когда был в Воронеже учителем.

Математику преподавал капитан Гловов. Я очень не любил эту науку, но, имея хорошую память, получал хорошие баллы. Чистописание преподавал Хованский, который впоследствии приобрел известность изданием «Воронежских Филологических Записок», к которым даже ученые академики относились с большим уважением. О Винтулове я всегда сохранял самое благо-



дарное воспоминание. Этот суровый человек, старых педагогических правил, был человеком очень образованным и старался о том, чтобы кадеты учились и развивались. Учебная часть была поставлена в корпусе лучше, чем военная. Я сужу по тому, что нас совсем не мучили фронтом. Кормили нас очень хорошо. Утром сбить с булками. В одиннадцать часов булка с маслом, три блюда за обедом и два за ужином. Когда я поступил в Дворянский полк в Петербурге, я мог сравнить, и воронежский корпус в этом отношении и во всех других почти и сравнить нельзя, так в Воронеже все было лучше. Из офицеров я хорошо помню артиллериста Неелова, человека гуманного и образованного, который любил беседовать с кадетами на интересные темы. Врачом в корпусе был Чаруковский, который оставил лечебник. Это был старик, женатый на женщине сравнительно с ним молодой и красивой. К больным кадетам он был очень внимателен. Я довольно часто болел лихорадкой и горлом. За шесть лет моего пребывания в корпусе был всего один смертный случай.

Незадолго до окончания курса (у нас было 2 приготовительных и 4 общих класса) со мной случилась неприятность, единственная во все время моего пребывания в корпусе. Учителем рисования был у нас Павлов, человек добрый и порядочный учитель. (У генерала Н. А. Винтулова я видел акварельный портрет его отца, очень хорошо написанный.) Класс рисования устроен был у нас амфитеатром. Мы срисовывали разные геометрические фигуры. Павлов что-то мне заметил. «Дурак», — крикнул я ему с места. Происшествие это было из ряда вон в корпусе. Как я мог сказать это, понять не могу и доселе. Меня посадили в карцер. Карцера у нас не было и такого наказания не существовало. Но в конце большой залы с хорами, где помещались физические инструменты, была маленькая комнатка, туда меня и заперли. Кроме учебников, дали несколько книжек «Звездочки», детского журнала Ишимовой. Я стал переключать в стихи рассказ об Игоровой песне, который нашел в «Звездочке». Просидел я несколько дней, довольно спокойно; кадеты передавали через сторожей записочки о том, что говорилось. Наконец меня повели в коридор, где был выстроен класс наш. Мне сказали, чтоб я просил прощения у Павлова, который стоял тут же



вместе с офицерами. Тем дело и кончилось. Конечно, я обязан и тут больше всего Винтулову и тому, конечно, что я учился хорошо и вел себя хорошо, был записан на красной доске и был унтер-офицером в своей роте.

Летом 1851 года мы поехали в Петербург на телегах, на перекладных, а из Москвы в дилижансе. За время этого путешествия у меня остался в памяти один случай. Где-то нас, во время остановки, часика на два пригласили к помещику, около усадьбы которого мы остановились, и я гулял с барышней в саду по аллее. Эту барышню я и теперь вижу, как живую. Стройная высокого роста брюнетка, с большими глазами. Мы с нею горячо говорили и спорили. Разговор начался с графини Ростопчиной, книжку стихов которой она мне показала еще в комнатах. Об этой поэтессе я не имел понятия, и барышня накинулась на меня за это и читала стихи. Барышня мне очень понравилась. После Машеньки Мочаловой, в которую я был влюблен в 14 лет, это была первая барышня, с которой я говорил довольно долго, как говорят приятели, не конфузясь. Мне было тогда 17 лет. Машенька Мочалова и эта неизвестная барышня — вот и все мои знакомства с женщинами».

II

По окончании кадетского корпуса Суворин определился в 1851 г. в Дворянский полк. Здесь любовь покойного к литературным занятиям сказалась в составлении словаря замечательных людей по образцу французского исторического словаря Bouillet. Для этой работы ему пришлось ознакомиться не только с литературными произведениями тогдашних писателей, но и с литературной критикой, что особенно выгодно отразилось на его самообразовании. Однако словарь этот А. С. довел только до буквы Л. Представив свой труд директору Дворянского полка г.-л. В. Я. Воронцу, покойный встретил в нем большое сочувствие, но от высшего начальства Я. И. Ростовцева рукопись вернулась с восклицательными и вопросительными знаками. В результате генерал Воронеж распустил молодого юнкера за неблагонамеренность. Потом уже выяснилось, что вина покойного была в том, что он цитировал Белинского и отнесся сочувственно к



Байрону, Вольтеру и т. п. «вольнодумцам».

В 1853 г. А. С. был выпущен из Дворянского полка в саперы, но не пожелал идти в военную службу и был переименован в первый гражданский чин.

Таким образом, военная служба у Суворина не наладилась. Несмотря на царившую в те годы реакцию последних лет Николаевского царствования, в воздухе все же реяли некоторые идеи, которые сулили России недалекую волю. Чаша общественного терпения переполнялась, и глухой ропот так или иначе расстился по лицу земли. Молодые, чуткие натуры рвались к просвещению, и университет казался им тем прибежищем, где можно услышать хоть робкое, но все же вольное слово... Потянуло в университет и Алексея Сергеевича, но... средств не хватило, и он вместо высшего рассадника просвещения решил отдать народу свои силы на поприще учительства. Он слишком хорошо помнил темную среду, из которой вышел, и ясно сознавал необходимость внести в нее свои знания. И вот мы видим его скромным преподавателем истории и географии в воронежском уездном училище, в двух местных женских пансионах. Частные добавочные уроки у А. А. Стаховича и графа Ферзена в общем давали ему семьдесят-восемьдесят рублей в месяц, что он считал для себя, уже к тому времени женатого, вполне достаточным.

В своих «Очерках современной жизни» под заглавием «Всеякие» об этом периоде своей жизни он рассказывает так:

«На частные уроки я был счастлив и одно лето провел в качестве репетитора в деревне А. А. Стаховича (деда Мих. Ал., члена государственного совета) вместе с моею женою и маленькою дочерью. Около М. Ф. де-Пуле группировался небольшой литературный кружок, в котором участвовал поэт И. С. Никитин, с которым я дружески сошелся и виделся почти ежедневно в его магазине, заходя туда с уроков, а раза два в неделю, когда уроки были до обеда и после обеда, жена приносила мне обед в его книжный магазин, так как квартира моя была очень далеко от центра города, где были уроки. С новыми книгами я знакомился тут же. Кроме того, я брал их у В. Я. Тулинова, очень богатого помещика, бобровского предводителя дворянства, с которым я был знаком еще ранее, секретарствовал у него в Боб-



рове, куда он приезжал из Воронежа для председательства в уездном комитете «для улучшения быта крестьян», и наслушался там речей помещиков; в Воронеже я составил каталог его обширной библиотеки, русской и французской. У него я брал «Полярную Звезду» Герцена и «Колокол». Сам В. Я. Тулинов заведывал именами князя Орлова и имел в Петербурге связи, позволявшие ему эту роскошь — получать герценовские издания. Ими я делился с Никитиным. Один из преподавателей воронежского Михайловского корпуса, где я учился шесть лет и где еще во время моего учения М. Ф. де-Пуле преподавал русский язык, именно Глотов, предложил свои средства для издания литературного сборника, а М. Ф. де-Пуле взял на себя редакцию. Для этого сборника «Воронежская Беседа» написаны мною рассказ и повесть, а Никитин написал «Записки семинариста» и поэму «Тарас». Раз я возвращался с уроков мимо книжного магазина; Никитин стоял на его крылечке. Поздоровавшись, он прочел мне тут же, на улице стихотворение

Вырыта заступом яма глубокая,

которое он написал накануне ночью и которое входило в «Записки семинариста». Слезы градом потекли у него из глаз, когда он его кончил. Это одно из самых прочувствованных его стихотворений. Никитин уже тогда прихварывал, но был еще человеком бодрым, общительным и жизнерадостным. Торговал он очень хорошо, и жизнь ему начала улыбаться именно тогда, когда подходила чахотка. В хорошие минуты он был неистощим на смешные анекдоты и меткие характеристики из своей мешанской жизни, полной грубости и самого распущенного цинизма в нравах.

Пока «Воронежская Беседа» составлялась и печаталась в Петербурге, я написал под псевдонимом В. Марков две корреспонденции в еженедельную «Русскую Речь», которая начала выходить с января 1861 года в Москве.

Графиня Салиас заинтересовалась ими и приглашала меня приехать в Москву. Я решил не сразу, не желая менять известное на неизвестное. Но жена, отличавшаяся сильным характером, стояла на переезд, и я переехал в конце июля 1861 года. На



меня возложили секретарство и сотрудничество по критической части в «Русской Речи». Это было началом моей журнальной деятельности и моих знакомств в московском литературном мире».

Тут мне вспоминается юмористический рассказ Алексея Сергеевича про то, как он впервые предстал пред великосветские очи графини Салиас. Надо было экипироваться и озаботиться обувью, которая была в довольно плачевном состоянии. Кое-как сладили все. В назначенный час Суворин является к графине и с трепетом ожидает ее выхода. Вдруг, о, ужас! из открытой клетки вылезает попугай и направляется прямо на посетителя, устремляя свой взор на ярко вычищенные сапоги. Того и гляди клюнет и прорвет сапог! И новых сапог жалко, и в неудобном виде представиться графине неловко. А отпихнуть попугая ногой — тоже боязно: повредишь ему чем-нибудь, вся твоя литературная карьера пропадет... По счастью, дверь отворилась, вошла графиня, и весь инцидент был исчерпан.

Рассказывая этот эпизод, Алексей Сергеевич заливался своим обаятельным, милым смехом, представляя в лицах маневры свои и попугая в тот критический момент.

Вспоминая далее свою московскую жизнь, он продолжает: «Прежде всего молодежь, Н. С. Лесков, В. А. Слепцов, А. И. Левитов, все начинавшие писатели. Москва в это время была тихим, патриархальным городом, и бывало по ночам мы втроем, со Слепцовым и Левитовым, провожая друг друга на квартиры, громко распевали на безлюдных улицах:

Долго нас помещики душили,
Становые били

и проч., без всякого препятствия со стороны будочников, мирно спавших в своих будках или стоявших около них. И Слепцов, и Левитов участвовали в «Русской Речи». Готовился в писатели сын графини граф Е. А. Салиас, впоследствии известный романист, тогда еще студент Московского университета. Через него мы знали, что происходит в университете. Известная беллетристка Ольга Н. (Новосильцева, по мужу Энгельгардт) жила с сестрами на одном дворе с графиней Салиас. Она сама рассказывала, что убежала от мужа в первую же брачную ночь, возмущенная тем, что он хотел воспользоваться правами мужа, о



которых она не имела никакого представления. У Ольги Н. я познакомился с А. А. Краевским, в «Отечественных Записках» которого появлялись ее талантливые повести. У А. Н. Плещеева я познакомился с графом Л. Н. Толстым, А. Н. Островским, М. Е. Салтыковым, Н. А. Некрасовым, А. М. Унковским, П. М. Садовским, который обыкновенно рассказывал свои рассказы, например, о бегстве Людовика-Филиппа из Парижа в 1848 году, и импровизации с необыкновенным искусством и юмором. Неподражаемым его наследником в этом отношении был И. Ф. Горбунов, тогда еще молодой человек. Л. Н. Толстой и тогда отличался от всех независимостью своих убеждений, которые вовсе не подходили к общему тону, и эта смелость в нем мне чрезвычайно нравилась. У И. С. Аксакова я видел весь славянофильский кружок и приезжих из царства Польского и Литвы, которые вели споры со славянофилами об автономии царства Польского и о Западном и Юго-Западном крае. Очень либеральные относительно Польши, славянофилы горячо отстаивали Западный и Юго-Западный край. Тургенев я видел в первый раз у графини Салиас, когда он рассказывал ей и красивой С. А. Феоктистовой «Собаку» с таким необыкновенным увлечением и верою в сверхъестественное, что, когда этот рассказ явился в печати, он показался мне очень бледным сравнительно с его устной передачей. На даче в Давыдове, в 1862 году, я познакомился с В. П. Бурениным и Н. А. Чаевым. Тут же в Давыдове жил и А. Н. Плещеев.

«Русская Речь» кончилась с первым номером 1862 года, и этот год был для меня трудным. Я писал исторические рассказы для общества распространения полезных книг, во главе которого стояла очень симпатичная женщина, А. Н. Стрекалова, и стал писать повесть «Аленка», которая взята была Ф. М. Достоевским для журнала «Время», была для него набрана, но тот номер, где она должна была появиться, не вышел, так как «Время» было запрещено за статью Страхова о польском вопросе. Я передал ее в «Отечественные Записки», где она появилась. В декабре 1862 года я переехал в Петербург, в редакцию «С.-Петербургских Ведомостей» В. Ф. Корша, издание которых он получил от академии наук. В 1863 году и 1864 году я только секре-



тарствовал и редко что-нибудь писал. Газета была полна учеными и профессорскими именами, а я был только начинающим и скромным журналистом. Я читал окончательную корректуру мелких отделов и объявлений в «С.-Петербургских Ведомостях», ездил в типографию, к цензорам, статским и военным, и к самому начальнику печати, которая была в то время при министерстве народного просвещения. Не могу не вспомнить с особенной симпатией В. А. Цеэ, который был тогда начальником печати. Время было тяжелое — польское восстание. Кроме статского цензора был и военный. Оба, особенно военный, марали много. И я отправлялся отстаивать запрещенное, то к цензорам, то к В. А. Цеэ, когда цензора не уступали. И от В. А-ча, бывало, уходишь почти всегда с удовольствием, т. е. он что-нибудь пропускал из запрещенного. Случалось тревожить его и по ночам. Раз я поднял его даже с постели, когда он лег уже спать. Вообще цензура народного просвещения была в то время гораздо снисходительнее, чем она стала, когда перешла в министерство внутренних дел и когда газета стала издаваться якобы без цензуры. Своя собственная цензура стала тяжелее казенной и крайне мучительно действовала на редактора, который вынужден был вычеркивать или изменять то, что ему нравилось, чему он сам сочувствовал, чем дорожил, как своим убеждением.

Работы было у меня столько, что времени свободного совсем не было, две тысячи рублей, которые я получал в «С.-Петербургских Ведомостях», мне не хватало, и я стал писать обозрение журналов в «Русском Инвалиде» и вел это обозрение несколько лет. Одно из этих обозрений наделало редакции немало хлопот, но она не выдала имени своего смелого сотрудника».

Жизнь под Москвою в кругу литературной молодежи, среди которой особенно выделялся В. П. Буренин, уже тогда составлявший себе в тесных кружках, его хорошо знавших, выдающееся имя поэта-сатирика, где А. Н. Плещеев, недавно вернувшийся из ссылки, сообщал окружающим свои воспоминания о петрашевцах и казни их на Семеновском плацу, где с жадностью читались нумера «Колокола», — все это, несомненно, отражалось и на складе миросозерцания А. С. Суворина и создавало из него понемногу того знаменитого «Незнакомца», который впо-



следствии волновал так сильно читателей своими фельетонами. Вспоминая потом эту подмосковную жизнь в своих «Очерках и картинках» («По поводу «Отцов и детей»), он говорил, что в этом времени «было много хорошего, увлекательного и много комического, юношески-незрелого. То была весна нашего либерализма, как теперь зима его. Г. Катков в то время не был еще «отцом отечества» — он даже едва ли помышлял об этой роли, ибо ореол английского самоуправления, которым он был окружен некоторое время, начал сильно блекнуть. В обществе заметно было брожение; явились пионеры, призывавшие к самостоятельности, к движению вперед мирным путем; с другой стороны, начали являться прокламации...

Я жил в то время в Москве, на даче, в Сокольниках, у известной нашей писательницы г-жи Евгении Тур, которая в то время, отделившись от «Русского Вестника», издавала «Русскую Речь» вместе с Е. М. Феокистовым. Между сотрудниками были я, только что приехавший из провинции и робко вкушавший сладость литературного бытия, и г. Лесков, впоследствии преобразовавшийся в г. Стебницкого даже не по правилам, изложенным у Овидия. Этих двух лиц (Овидия — в сторону) не надо смешивать, хотя они, несомненно, обозначают одно и то же лицо. Г. Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой переводной политико-экономической книжечке Гильдебрандта, явившейся летом 1861 г. на русском языке, если не ошибаюсь, под редакцией В. И. Безобразова. Я был в то время ужасно робок и скромн и слушал г. Лескова, как оракула. Некоторые выражения его до сих пор остались у меня в голове, например, «народ — это чиновник».

Помню, как теперь, чудесный, тихий вечер, чуть-чуть пропитанный запахом соснового бора. Мы сидели на террасе, выходящей в сад, и пили чай. Г. Евгения Тур что-то рассказывала; ручная белка сидела у нее на плече и грызла орехи, которые та давала ей время от времени. Вошедший человек подал ей на подносе письмо. Она медленно его распечатала и побледнела. «Что это такое?» — с обычной живостью сказала она, подавая листок г. Лескову.



— Это... прокламация, — таинственно-тихо сказал г. Лесков, пробежав печатный листок, заключающийся в письме.

Прокламация!.. Это слово было так ново в то время, что у нас вытянулись лица и явилось желание прочесть и обсудить это новое явление соборне.

— Подождите немного, — сказала хозяйка, — я отнесу белку.

В самом деле, подумал я, белка не должна слушать такие вещи. Мы сдвинули стулья, и г. Лесков тихо прочитал прокламацию «Великорусс». Хозяйка взяла ее у него, сложила в несколько раз и разорвала на мелкие кусочки. Некоторое время мы молчали. Хозяйка вертела в руках конверт и полосками его разрывала, свертывая из них трубочки; я усиленно вздыхал, сам не знаю чего; г. Лесков глубокомысленно смотрел на небо, усеянное звездами. Так хорош был вечер, но в душе... Мы стали говорить, но шепотом, точно заговорщики, хотя в сущности все мы были люди самые смирные и удивлялись дерзости автора прокламации. Кто бы мог написать ее? Мы терялись в догадках. Известно, что эту прокламацию автор разослал всем более или менее известным лицам, сам надписывая конверты. Один из этих конвертов был послан из провинции в Петербург, и по руке его отыскивали автора. Это было начало того тяжелого конца, который переживаем мы теперь.

Господи, сколько в то время было переговорено, сколько смутных мыслей бродило в головах!.. Я сказал уже, что то была весна либерализма, когда стремления были неопределенны, шатки, когда шли продолжительные и горячие споры об английской конституции, о социализме, о фурьеризме, вообще о «матерях важных», когда всюду цвело, но каков был этот цвет, каковы деревья — ни один мудрец определить бы не мог, потому что и мудрецы увлекались несбыточными мечтаниями. И замечательно, что интересы насущные, напр., суд присяжных, стояли более в стороне в тогдашних спорах, чем отдаленные мечты о всеобщем благоденствии. Я не могу без смеха вспомнить, как спрашивали тогда друг друга серьезно:

— Вы конституционалист или республиканец?

— Я конституционалист.



— Допускаете ли вы две палаты или одну?

— Я допускаю только одну.

— Позвольте, почему же одну? и т. д. Если б теперь обратиться к кому нибудь с подобным вопросом, то, без сомнения, можно бы получить ответ: «Убирайтесь к черту»... И резонно!..

Г-жа Евгения Тур, несмотря на свою ссору с г. Катковым, часто говаривала:

— Если в Англии есть лорд Брум и лорд Маколей, то почему ж не быть в Москве — именно в Москве, заметьте, — лорду Каткову и лорду Леонтьеву?

Я наивно соглашался, ибо в г. Каткове действительно сильно подозревал лорда Брума, а в г. Леонтьеве — лорда Маколея, тем более, что с «Пропилениями» московского профессора я был знаком основательно. «Отчего ж?» думал я: «и Маколей историк, и г. Леонтьев — историк. И, наконец, что за беда, если Леонтьев и Катков сделаются лордами? Ведь детей мне с ними не крестить — пусть их делаются чем хотят». Они лордами не сделались, но зато стяжали себе славу другого рода. Тогда подобной славы никто не подозревал, и Кисловку, где жили издатели «Русского Вестника» и «Современной Летописи», считали некоторою российскою Великобританией.

Хотелось бы видеть в печати воспоминания об этой подмосковной жизни литературной молодежи, которой со временем суждено было сыграть в истории нашей журналистики крупную роль, последнего, кажется, из оставшихся в живых участника той жизни — В. П. Буренина. Мы, вероятно, узнаем из этих воспоминаний, как возились оттуда корреспонденции в «Колокол», как тревожно воспринимались здесь известия о тогдашних обысках в Петербурге и аресте Н. Г. Чернышевского, как задумчиво на берегу местной речонки с удочкой в руках просиживал долгие часы будущий «Незнакомец».

Переезд в Петербург скоро принес Суворину широкую известность. Коршевские «Петербургские Ведомости» были той литературной нивой, на которой окреп и расцвел его талант. Сначала скромный секретарь и газетный работник, он уже к 1865 году обращается в того первого по значению русского фельетониста, который вместе с Бурениным, в истинном смысле этого



слова, создает русский злободневный фельетон и придает отечественной газете широкое общественное значение. Газетные статьи до того времени таких известных публицистов, как М. Н. Катков, И. С. Аксаков и некоторых других, были политической артиллерией, которая била тяжелыми ядрами и производила нужное общественное впечатление только в некоторые определенные моменты нашей жизни. Легкие взвившиеся ракеты со столбцов «академических» «Ведомостей» были впервые пушены именно Сувориним и Бурениным, и газета наполнилась блестящими литературными турнирами, привлекавшими к себе внимание широких слоев читателей. Сейчас, когда русский тип газеты выработался, нам трудно оценить историческое значение того момента. Только знакомясь с тяжеловесными газетными фолиантами 60-х годов и встречая в них имена «Бобровского», «Незнакомца», «Выборгского пустынноика», — понимаешь, какая газетная эволюция совершалась в тот период. Среди таких имен, как К. Кавелин, К. Арсеньев, В. Крылов (Александров), А. Головачев, К. Скальковский, Ф. Воропонов, Л. Полонский, Е. Ватсон, де-Роберти, имена Суворина и Буренина заблистали не менее яркими звездами. Коршевская газета — блестящая страница в истории пореформенной России; к ней, этой газете, примкнули лучшие литературные силы, и здесь заложены были задатки того обновленного ее типа, который установился у нас и доднесь. В этом отношении именно гг. Суворин и Буренин понесли немало труда, разгрузивши газету от того тяжелого, что мешало ей проникать в широкие круги читателей и делаться их руководителем и добрым литературным другом. Оба названных писателя перенесли центр тяжести из неуклюжих тогдашних передовиц в область живого, остроумного фельетона, где, как в калейдоскопе, перед обывателями запестрели страницы отечественной жизни, имена, факты, печальная действительность, политика, обывательщина, где раздался веселый смех, будящий, бодрящий, зовущий от мрака к свету, дразнящий перспективами лучшего будущего и отмечающий все, что пришло в ветхость и негодность.

В своих интересных воспоминаниях о сотрудничестве в «Петербургских Ведомостях» А. С. Суворин касается, между про-



чим, очень интересного эпизода с его книгою «Всякие», эпизода, наделавшего в свое время очень много шума и имеющего историко-литературное значение. Он говорит:

«Всякие» были моей первой литературной работой в «С.-Петербургских Ведомостях», сколько-нибудь видной. Повесть обратила на себя внимание. И мне жалко было ее бросать, когда продолжение в газете стало невозможным. Тогда я решился ее закончить и издать без цензуры. Надо было, чтобы в книжке заключалось 10 печатных листов известного законного размера. Н. А. Неклюдов, державший тогда типографию Н. Тиблена на Васильевском острове, согласился напечатать в кредит. Я стал писать окончание и печатать. В напечатанных в «С.-Петербургских Ведомостях» первых главах повести я кое-что добавил и восстановил цензурные помарки. Печатание окончилось в конце марта 1865 г., и книжка представлена была в цензуру в начале Страстной недели. Но через день была возвращена обратно в типографию, так как переплетчик пропустил один лист. Пока исправлялся этот недочет, настали «неприсутственные дни» на Страстной и Святая, которая была в тот год 27 марта. В исправленном виде книжка послана была только в понедельник на Фоминой, утром, а к вечеру весь Петербург был глубоко потрясен известием о покушении на жизнь императора Александра II. Я привык любить императора, когда он был еще наследником-цесаревичем и когда он заступался за воспитанников Дворянского полка во время так называемых кадетских бунтов против экономов, которые нас скверно кормили. Как и на всех, покушение на жизнь императора произвело на меня сильное впечатление. Рядом со взрывами искреннего патриотизма, в которых ярко сказывалась любовь к государю-реформатору всех сословий, работала следственная комиссия под председательством графа М. Н. Муравьева; начались аресты и строгости относительно литературы и журналистики. Я хотел взять книжку назад и с этой целью написал письмо к министру внутренних дел П. А. Валуеву. Между прочим я писал ему: «Повесть моя была представлена в цензурный комитет утром 4-го апреля. Вечером свершилось то событие, которое повергло в негодование и ужас всю Россию. Все сословия слились в одном чувстве преданности к



государю и радости его спасению. Но при этом обнаружилось и некоторое разъединение, весьма естественное в такие напряженные минуты: никакому сословию, никакому кружку не хотелось, чтобы злодей принадлежал к их среде, и все стали указывать друг на друга; многие говорили, что злодей помещик или подкуплен помещиками. При этих толках, которые были слышны уже вечером 4-го апреля, мне показалось совершенно несвоевременным выпускать мою книгу, в которой были резкие осуждения помещиков известной партии». И далее: «я вполне рассчитываю на ваше беспристрастное решение. С своей стороны я могу только повторить, что я был искренен, когда писал свою книгу, искренно говорю я и в настоящем письме. Я не имею никаких причин бояться гласного суда, на котором дана мне будет полная возможность к защите; я сохраняю совершенною уверенность, что суд этот будет правый, свободный от всяких узких сословных соображений. Если я утруждаю ваше превосходительство настоящим письмом, то делаю это исключительно под влиянием тех тревожных минут, которые мы переживаем в настоящее время». Письмо осталось без ответа и книжка была арестована.

Цензурный комитет, под влиянием 4-го апреля, составил очень суровый приговор о книге. В нем же возникло сомнение, не два ли это лица, А. Бобровский и А. Суворин, и не были ли они замешаны в каком-нибудь политическом деле. Вспомнили, что Бобровский участвовал в варшавском революционном комитете. Но Третье Отделение, куда направлен был запрос, ответило, что это одно лицо и ни в каком политическом деле не было замешано, хотя книга его не что иное, как анархическая пропаганда.

У меня и у моей жены сделан был обыск, конечно, благодаря этой же книжке. Пришли ночью, с черного хода. Высокий молодой гвардейский офицер П-н предъявил мне бумагу, в которой предписано ему было произвести у меня обыск. Я еще не спал. Было часа три утра. Жена быстро встала. Спальня, в которой она спала с детьми, отделялась от моего крошечного кабинета залом. Обысков тогда было очень много, обысков и арестов. В журнальном мире была просто паника. Мы с женой ждали



того же у себя, думая об арестованной книжке. Поздно возвращаясь из редакции, не ранее 3 часов утра, я смотрел обыкновенно на окна, не горит ли огонь, и если окна не были освещены, значит все благополучно. Услышав звонок, я спрятал «Историю России» Германа, на немецком языке, которую читал, встал в дверях кабинета и увидел жену в дверях спальни, против себя. Мы молча смотрели друг на друга, когда г. П-н и пристав входили в зал, а полицейские остались в передней. Г. П-н сел за мой стол и просматривал очень быстро бумаги, собирая с него решительно все рукописи и письма и выбирая их из ящика. На вопрос пристава, который делал обыск в спальне моей жены: «Не прикажете ли обыскать детские кроватки?» — г. П-н отвечал: «Не надо. Зачем тревожить детей». В стене в моем кабинете, довольно высоко, было открытое углубление, тоже наполненное бумагами. Г. П-н встал на стул и начал вынимать бумаги и оттуда.

— Это что у вас? — сказал он, беря в руку большую литографированную тетрадь записок о литературе Ир. И. Введенского, который преподавал в Дворянском полку в пятидесятые годы.

Я сказал, что это такое.

— Вы окончили курс в Дворянском полку? Вы были кадетом?

Вся его серьезная холодность, с которою он исполнял свою обязанность, разом пропала. Он быстро сложил все бумаги в кучу. Пристав увязал их при нем, и он сказал ему, чтоб он доставил их в Третье Отделение, а сам стал говорить со мною и с женой. Мы сели за стол; подали самовар. Он показал нам фотографическую карточку преступника, имя которого, кажется, тогда еще не было известно в печати, рассказывал об его допросе и проч. Беседа продолжалась долго уже о всяких пустяках. На вопрос жены, почему он обыскивает, а не жандармы, он сообщил, что граф Муравьев не верит жандармам и полиции в таком важном деле, как настоящее, и что жандармы и полиция не заслуживают доверия по тем фактам, которые известны графу.

Я рассказываю эти подробности, потому что они имеют связь с моей маленькой книжкой.



В нее попал Чернышевский, а обыск опять коснулся этого дела. Когда мне понадобился мой вид на жительство, при перевозе семьи на дачу, я отправился за ним в Третье Отделение. Тот же офицер, г. П-н, вынес мне все мои бумаги, исключая письма А. Н. Плещеева, в котором он описывал мне свой допрос в сенате по делу Чернышевского. Его именно спрашивали о том письме к нему (он его не получал) якобы Чернышевского, которое было написано Всев. Костомаровым. Это письмо именно относилось к 1862 г., когда Плещеев жил на даче в Давыдове и когда мы с Бурениным и Чаевым постоянно к нему заходили. Плещеев мне писал, что почерк Чернышевского с таким совершенством был подделан, что в первой половине письма можно было принять письмо за подлинное, но вторая половина выдавала подделку. Вот это письмо и осталось в Третьем Отделении.

Чуть не накануне суда я ехал в Царское Село вместе с прокурором, который должен был обвинять меня. Мы были хорошо знакомы, и разговор шел о моей книжке, и такой разговор, что я мог вынести из него самое благоприятное для себя впечатление. Но когда на скамье подсудимых я услышал грозную речь и требование заключить меня в тюрьму на три месяца, меня бросило в жар. К. К. Арсеньев сказал в мою защиту прекрасную речь, и суд сбавил мне один месяц. К. К. Арсеньев подал апелляцию в судебную палату, которая ограничила наказание трехнедельным заключением на гауптвахте. Мы решились не идти дальше в сенат, хотя мой защитник в суде убедительно доказывал, что никакого преступления я не совершил, а только приготовление к нему, которое ненаказуемо. Я был доволен и тем, что избежал тюрьмы. Следующий литературный процесс о книге Вундта «Душа животных и растений», доведенный до сената, установил ненаказуемость «покушения на преступление», если книга была арестована до выхода в свет. Книги сжигались, но авторы не наказывались.

Процесс мой тянулся долго. Книжка была арестована, кажется, 13-го апреля. Разбирательство в окружном суде было 18 августа 1866 года, в судебной палате 20-го декабря 1866 года. Книжка была препровождена приставом Васильевской части из типографии в главное управление по делам печати 22-го фев-



раля 1867 г., причем пристав оставил один экземпляр в типографии. Главное управление потребовало и этот экземпляр и, получив его, просило г. обер-полицеймейстера, чтоб при конфискации сочинений в типографиях отбирались не только все отпечатанные экземпляры таковых сочинений, но даже корректурные и дефектные листы, дабы тем «прекратить возможность всякого распространения вышеупомянутых сочинений». В мае прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты запрашивал главное управление по делам печати, уничтожены ли 1462 экземпляра (арестовано было 1500) книги «Всякие», и вместе предлагал, чтобы отныне уничтожение книг по приговорам суда производилось самою полициею, а не доставлялись оные для этого из типографии в главное управление по делам печати. 17-го июня 1867 г. главное управление по делам печати уведомило прокурора, что книга «Всякие» уничтожена, «за исключением нескольких экземпляров, оставленных для необходимых справок, как в этом управлении, так и в Санкт-Петербургском цензурном комитете», а что касается до уничтожения их самой полициею, то главное управление ничего против этого не имеет. 14-го августа 1867 г. министр внутренних дел сообщил в главное управление по делам печати свое распоряжение в этом смысле.

Я посажен был на гауптвахту в Старом Арсенале (около окружного суда) 27-го февраля 1867 года и 20-го марта приехал домой. Несмотря на этот короткий срок, я узнал, как тяжело лишение свободы.

Если б кто спросил меня, почему я перепечатаваю эту книжку, я бы просто ответил, что мне приятно вспомнить прошлое и вспомнить его в другое время, когда мы ожидаем государственной думы и когда печать пользуется такой свободой, о которой в 1865 г. никто и мечтать не смел. К тому же «Всякие», литературные недостатки которых мне не могут быть не ясны, отличаются значительной долей искренности и даже наивности не столько человека наблюдательного, сколько чувствовавшего в общей уже назлектризованной атмосфере, что наступает неладное время. В некоторых подробностях своих книжка не лишена, так сказать, историко-литературного интереса, передавая в известной степени и тогдашнее настроение, как общества, так и правительства.



В этом отношении процесс в окружном суде и в особенности в судебной палате представляет много типических и курьезных подробностей, а потому я его печатаю в приложении. Если б дело было не о перепечатке «документа», то некоторые грубости «Всяких», полемические выходки и плохие анекдоты я теперь с удовольствием бы выкинул, хотя и эти грубости были стенографической передачей действительных разговоров. Известно, что мы, русские люди, никогда не стесняемся в выражениях».

Книга «Всякие» увидела свет только в 1909 году и быстро разошлась в двух изданиях. Читая это произведение пера А. С. Суворина даже в наши дни, удивительно живо чувствуешь веяние всей этой эпохи, и очерки «Всякие» до сих пор могут служить прекрасным источником для истории первых годов пореформенной России в ее столичном отражении.

III

Блестящие фельетоны в «Петербургских Ведомостях», эпизод со «Всякими», сотрудничество в «Русском Инвалиде» создали из недавнего скромного бобровского учителя очень крупную величину, к которой стало льнуть все выдающееся в нашей литературе. Его выразительный, умный облик невольно привлекал к себе внимание, и при одном взгляде на него чувствовалось, какая мощь вложена в этого потомка сермяжной России. В нем сказывалось что-то мощное, широкое, что непосредственно говорило о самой безбрежной России. И дальнейшая его жизнь явно показала, что действительно эта Россия нашла в нем действительно свое многогранное отражение.

Работая в чужих повременных изданиях (кроме поименованных, в «Вестнике Европы», «Молве» и др.), А. С. Суворин не специализировался на каком-нибудь особенном жанре, и в лице его русская журналистика приобрела и выдающегося критика, и театрального рецензента, и газетного «передовика», и памфлетиста, беллетриста, а также и историка. Во всех этих родах литературы он обнаруживает выдающееся дарование, оригинальность ума, наблюдательность, широту взглядов и блеск пера, который по всей справедливости вручил ему звание «короля фельетонистов». Его полемике тонки, остроумны, язвительны;



одной какой-нибудь коротенькой фразой, метким словом он бьет противника наповал, выставляет его в убийственном виде и не дает ему отступления. Возьмите его книгу «Очерки и картинки», составляющую (до середины 70-х годов) только малую часть его фельетонов, и вы убедитесь в справедливости сказанного. Ознакомьтесь с его полемикой с Катковым, Леонтьевым, Мещерским, прочтите его разоблачения деятельности столичных думских воротил, железнодорожных авантюристов и пр. и пр. Чего они стоят! Вот чем объясняется, что его пера боялись до крайности, и воскресный фельетон «Незнакомца» составлял для своего времени событие, рождал ему бездну врагов и рядом с этим поклонение читающей толпы. В число явных врагов записались Катков и Мещерский, а также те представители власти, которые имели касательство к делу печати. Имя Суворина-«Незнакомца» вызывает косые взгляды, имевшие, между прочим, печальным результатом то, что Корш был устранен от редактирования «С.-Петербургских Ведомостей» и газета под флагом гр. Салиаса была передана в охранительные руки. Замолкли в этой газете смелые речи «Незнакомца», речи для того времени многознаменательные, особенно ввиду надвинувшейся на Россию после выстрела Каракозова невеселой эпохи. Так, между прочим, в одном из своих фельетонов, «Обед у В. А. Полетики», Суворин писал по поводу речи Путилова, жаловавшегося, что Европа нас «сосет»: «Мне кажется, что Европа будет нас сосать не до тех пор, как думает г. Путилов, пока правительство не станет делать для русских заводчиков того же, что оно делает для иностранных, а до тех пор, пока у нас не будет той же свободы экономической и гражданской жизни, какая существует в Европе. Г. Путилов сказал, что Борзиг двадцать пять лет тому назад был простым рабочим, а теперь миллионер, и таким благосостоянием, по смыслу речи г. Путилова, этот немец обязан заказам русского правительства. Мы-де всех выводим в люди, а они нас сосут. Но в Европе подобные примеры можно считать десятками, и русское правительство в них ни мало не виновато. Уж не мы ли в самом деле вывели в люди Стифенсона и множество других энергичных людей, которые составили себе огромные состояния, начав с грошей? Нет, г. Путилов, на дело надо смот-



реть несколько глубже. В даровитости русского народа я никогда не сомневался; я знаю, что Бог не обделил его способностями, но я знаю в то же время, что этот даровитый и трудолюбивый народ мало выигрывает от того, что правительство сделает миллионные заказы вашему заводу. Он выиграет гораздо больше, если, не делая вам миллионных заказов, государство освободит нас от темного наследства разных стеснений в экономической жизни. Когда мы будем поставлены в такое положение, что успех всякого дела будет зависеть исключительно от нашей энергии, нашего трудолюбия, нашего просвещения, когда не нужно будет прибегать к поклонам и т. п. — тогда все быстро изменится. Я убежден, что мы придем к этому... рано или поздно, и только тогда Европа перестанет нас сосать.

Г. Путилов, убедившийся за границей, что Европа нас сосет, убедился ли в том, что тамошняя экономическая жизнь несравненно выше нашей? В то время, когда у нас только начинают образовываться компании капиталистов, Европа покрыта уже ассоциациями рабочих, в Европе уже есть примеры, что капиталист, владелец завода, не ограничивается поденною платою рабочему, а дает ему пай в своем предприятии... Когда мы догоним Европу — я не знаю, но можно опасаться, что нам придется догонять ее вечно, уподобляясь заднему колесу в телеге, которое бежит так же быстро, как переднее, но остается от него на загородной дистанции. Конечно, это грустно, но будем утешаться тем, что еще недавно наше положение было несравненно грустнее. Теперь мы можем свободнее говорить, свободнее действовать, теперь больше простора энергии, но нужен полный простор».

Для того времени такие речи были смелы и, понятно, они не могли приходиться по нутру вершителям тогдашней власти. С переходом на работу под редакторство Полетики, перо «Незнакомца» не то что тускнеет, а как-то теряет свою уверенность. Видно, что писатель, лишившись насиженного места, не может примениться к плутократической обстановке своего нового патрона и как бы останавливается в раздумье перед своим литературным будущим, к которому рвется его душа. А эта душа говорит ему: основывай собственный орган, не будь зависим ни от



каких издателей и понеси в русское общество всю ширь своего русского ума. Но для такого дела нужен был не только ум, не только материальные средства, но и громадное счастье. И волшебная фея удачи подарила этому потомку бородинского героя покрывало этого счастья: он скоро стал своего рода властелином русского издательского дела.

Мы знаем, что еще в юных годах он занимался издательством книжек для народа, засим, в 1872 году он замышляет очень смелое и оригинальное предприятие — издает книжку «Русский Календарь», своего рода справочную энциклопедию, которая несет в массу читающей публики большое количество практических знаний по разным отраслям русской жизни. Этим он, так сказать, облагораживает русское календарное дело, столь охаянное Грибоедовым, и делает свой календарь необходимым пособием в обиходной жизни русского обывателя. Но все это были до тех пор пробы издательского счастья, настоящая звезда его восходит с 1876 года, когда он в сообществе с В. Лихачевым приобретает от К. В. Трубникова право на издание газеты «Новое Время» и 29-го февраля (Касьянов день) выпускает первый номер этой газеты. Исторический момент для издательства был избран удивительно удачно. По небу Балканского полуострова плыли черные тучи, небо прорезывали яркие молнии, издали до России доходили крики ужаса и скорби славян. Русское общество охватывало трепетное чувство сострадания к погибающим братьям, сознавался подъем общественного мнения, который искал себе талантливый выразитель и властного проводника определенных идей. «Голос» Краевского с его умеренным либерализмом и скользким западничеством не учел момента дня и, опираясь на книжное доктринерство, стал уверять, что вассальное славянство не имеет права противодействия своему сюзерену-падишаху. В противовес этому доктринерству Суворин заявил: «имеет право на восстание», и поехал на Балканский полуостров первым русским корреспондентом на арену кровавых действий. Его корреспонденции оттуда были блестящи, он как бы спаял своим словом русский народ с южным славянством и как бы вывесил на своей газете знамя, напоминающее былой завет А. С. Хомякова:



Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!

Вспомним мы, родные братья,
Дети матери одной:
Братьям — братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой!

Не гордись силой длани
Тот, кто в битве устоял!
Не скорби, кто в долгой брани
Под грозой судьбины пал!

Испытанья время строго:
Тот, кто пал, восстанет вновь:
Много милости у Бога,
Без границ его любовь!

Пронесется мрак ненастный,
И — ожидаемый давно —
Воссияет день прекрасный,
Братья станут заодно!

Все велики, все свободны —
На врагов победный строй,
Полны мысли благородной,
Крепки верою одной!

Посвящая памяти Алексея Сергеевича во время его похорон несколько теплых слов от имени южного славянства, И. П. Табурно так характеризовал отношение Суворина к славянской идее:

«В лице усопшего Алексея Сергеевича Суворина южные славяне оплакивают потерю одного из великих своих друзей. В самом деле, покойный Алексей Сергеевич еще до освободительной войны стал в противоположный лагерь той части печати, которая и тогда, как и теперь, считала работу России на поприще освобождения славян работою антирусскою, а защитников ее чуть ли не предателями идеи свободы. Алексей Сергеевич был искренним русским человеком, он не внял лжелиберальным воп-



лям и горячо стал на защиту томящихся в оковах тяжелого рабства славян. И не одни лишь гуманные чувства им руководили, но и реальные интересы собственной родины, которой он искренно был предан. И вот его горячая проповедь в большой доле способствовала подъему общественного мнения, которое повлияло на правительственные сферы в пользу единоверных и единокровных славян: Россия выступила за их освобождение и этим занесла на скрижали мировой истории одно из великих своих дел — освобождение миллионов славян от тяжелого ига. Если до сих пор еще часть славян не освобождена, то этому причина не изменившееся настроение русского общества, а особенно сложившиеся политические условия.

Покойный Алексей Сергеевич до последних своих дней не изменил тем принципам и той идее, которым он был предан и тридцать пять лет тому назад, связывая интересы славян с интересами России. Покойный мне говорил: «Россия освободила славян, поставила их на ноги, предоставив им самим развиваться. Благодарны ли они, или нет, безразлично: Россия, как любящая мать, радуется их успеху и прогрессу, и если они на своем пути встретят такое препятствие, которое не по силам им одним преодолеть, Россия непременно придет им на помощь».

Яркие корреспонденции Суворина с Балканского полуострова, его теплое отношение к Черняеву, Скобелеву, а главное к Александру II несколько смущали Лихачева, его соиздателя по газете, и он однажды не решился даже дать место письму с войны своего сотоварища. Но соредакторствовавший ему в то время В. П. Буренин спас положение дела. Корреспонденции печатались и производили сенсацию, а вместе с тем укреплялось влияние «Нового Времени». Влиятельный «Голос» терял свое значение и отступал перед своим соперником, который к исходу семидесятых годов занял позицию первой по своему влиянию и распространению столичной газеты. Союз с Лихачевым скоро распался, и А. С. Суворин стал единоличным издателем «Нового Времени». С того времени он становится перед русским обществом во весь свой могучий рост и с удивительной энергией, упорством и просветительною сознательностью развивает все свои начинания на пользу дорогой ему родины.



Место и время не позволяют мне касаться на этих страницах истории «Нового Времени», поскольку она мне известна, и дать общую характеристику этой газеты. Из многочисленных некрологических статей, посвященных Алексею Сергеевичу, я приведу в выдержках лишь две, которые до известной степени характеризуют этот орган печати. Так, в «Голосе Москвы» (№ 167) профессор Г. Локоть, отвечая на вопрос: «в чем сила и значение А. С. Суворина?», говорит:

«Из крестьянской хаты, через журналистику, выйти на вершины общественной мысли и жизни великой страны, приобрести неоспоримое влияние не только на общественное сознание, но и на всю государственность этой страны, — это значит не только сыграть крупную историческую роль, но и быть выражением и отражением целой исторической эпохи!

Какой же именно эпохи в истории России был продуктом, отражением и выражением А. С. Суворин? Бесспорно, эпохи великих реформ, эпохи возрождения старой, крепостной России к жизни новой, свободной, зовущей к пробуждению дремлющих или скованных сил народных, выдвигающей из недр народных все сильное, все живучее, все творческое и в то же время все близкое к подлинным тайникам народного духа!

Не по чужой и не по готовой мерке и форме растут великие и крупные люди в такие периоды народного пробуждения. Печать самобытности личной и в то же время глубокого соответствия образу того народного целого, которое они отражают, лежит на крупных людях крупных исторических периодов. Подъем народной жизни, народного духа, народной энергии и силы как бы суммируется и в таком суммированном виде отражается на отдельных единицах, выдвигая их в качестве крупных представителей эпохи. Суммируются и отражаются и отдельные черты народного духа и гения. И чем полнее эта суммация и это отражение, тем крупнее и всестороннее значение крупных людей эпохи.

Освобождение России от оков крепостного строя вызвало тот великий подъем общественной и народной энергии, который подвинул на дружное, энергичное служение общенародному духу все лучшее из русского помещичьего дворянства, как бы торопившегося этим служением благородно посчитаться с русским крепостным народом за все прошлое. И мы видим расцвет поры русского дворянского либерализма, дворянского народничества, навсегда остающегося одной из самых светлых страниц в жизни русского дворянства.

Но освобождение крестьянской России и пробуждение ее к новой жизни, конечно, должно было вызвать еще более крупное, еще более активное и живучее общественное явление, а именно — рост общественных и государственных сил из самой народной крестьянской среды. Во всех сферах не только народного труда, но и общественной и государственной жизни должен был все шире и шире проявляться освобожденный народный, крестьянский гений, неся с собой все характерные черты низового народного духа: деловую энергию; крепкое, живучее, глубоко непосредственное общее мировоззрение; чувство кровной любви к народу, к родине, к государству и вытекающую из этого чувства неизгладимую



мую, безотчетную консервативность политического мировоззрения, какими бы случайными палетами ни покрывалось и ни маскировалось это консервативное мировоззрение, и в то же время жажду общественного и политического творчества, созидания, без которого трудовые инстинкты народного духа никогда не чувствуют себя удовлетворенными...

Оковы готовых форм общественной мысли и всяких преходящих условностей — не страшны для людей, на которых лежит печать действительного народного духа и печать крупной эпохи. Эти формы и условности легко разрушаются ими с той органической безотчетностью, безыскусственностью, которая характерна для народного духа. Сама живая жизнь, ее непререкаемые и неуловимые инстинкты, указывающие наиболее верные, ведущие к цели пути, — только эта реальная жизнь является истинным руководителем людей, на долю которых выпадает счастье быть выразителями крупных моментов и крупных сил истории.

И если общественно-близорукие или непримиримо-враждебные русскому народному духу люди всегда говорили и долго будут говорить, что А. С. Суворин с его «Новым Временем» является только ярким представителем и выразителем «психологии успеха», то пусть не забывают они, что «успех» А. С. Суворина и «Нового Времени» есть успех тех средних и высших слоев русского общества, которые по своему духу и частью по своему происхождению кровно связаны с русским крестьянством, с русскими народными низами, т. е. с самым живучим и вековым ядром русского народа!

«Успех» А. С. Суворина — успех народной, национально-русской «буржуазии», быстро растущей с эпохи великих реформ, быстро приобретающей все более и более заметное место в общественной и государственной жизни России. Имя А. С. Суворина будет исторически связано с ростом, с общественным и политическим влиянием «среднего сословия» в России, а следовательно и со всеми крупнейшими реформами, созданными в интересах средних общественных слоев России, не исключая и последней, величайшей в истории России реформы — народного представительства!

Не подпольной работой на пользу революции и сочувствием этой революции, не какими-либо либеральными «выступлениями» и не какими-нибудь закусительными влияниями в тех бюрократических верхах, в близости к которым обычно обвиняли слева А. С. Суворина и его газету, — не этими механическими путями «успех» А. С. Суворина связан с успехом идеи народного представительства в России, а только простым, но глубоко жизненным и важным фактом общественно-го объединения тех средних слоев России, которые кровно связаны с русским народом и типичнейшим представителем которых является сам А. С. Суворин.

Аристократ русского народного ума, А. С. Суворин в общественно-политическом своем значении является крупнейшим, истинным представителем русской средней имущей демократии — русского «среднего сословия», которому впереди предстоит все более и более крупная общественно-политическая роль. В этом — «успех» А. С. Суворина, и в этом источник того небывалого в истории русской журналистики внимания и влияния в политических сферах не только России, но и Европы, какое выпало на долю потомка бобровского крестьянина Воронежской губернии!»



В том же «Голосе Москвы» (№ 186) г. М. Любимов, характеризуя покойного Суворина, говорит:

«Имя Суворина принадлежит истории. Нам, современникам, в непосредственной к нему близости, да еще под впечатлением тяжелой утраты, трудно целиком охватить эту огромную самобытную фигуру, трудно оценить все то, что он сделал в разнообразных отраслях жизни, литературы и искусства, в которых работал его неутомимый ум... Без преувеличения можно сказать, что он первый создал в России большую «политическую газету», с которой, как с выражением общественного мнения, вскоре стали считаться не только в России, но и за границей.

Он сумел привлечь к себе все яркое, все талантливое, и многие из писателей, ныне подвизающихся в оппозиционном и даже в революционном лагере и считающих своей обязанностью при всяком удобном и неудобном случае ругать «суворинскую газету», именно в ней начали свою карьеру, были выдвинуты Сувориным, обласканы им, часто обеспечены. Может быть, не у одного «революционера» искренней затаенной скорбью сожмется сердце при известии о смерти «старика Суворина». Нужны ли имена?

Талантливые литературные силы, привлеченные в «Новое Время», — а больше всего, конечно, сам Суворин, — неутомимый организатор, редактор и писатель, — создали газете огромный круг читателей.

И этот успех не был создан угодничеством, стремлением подладиться под вкусы толпы. Наоборот, Суворин часто, очень часто шел против течения, никогда не кривя душой, чтобы попасть в тон «модным веяниям», каковы бы они ни были. Его «Маленькие письма» нередко шли вразрез с тем, что в ту минуту считалось непреложным. Это создавало ему массу врагов. Бывали случаи, когда на страницах враждебных ему газет, не могших простить ему блестящего успеха, раздавался откровенный призыв к «бойкоту» «Нового Времени». Печатались «коллективные» письма будто бы повременских читателей, отрекавшихся от «Нового Времени» и клявшихся отныне читать только «Новости» Нотовича. Но «Новости» хирели и, зачахнув, тихо скончались, а «Новое Время» развивалось и крепло.

В безумном 1905 году, когда, как грибы, нарождались откровенно революционные газеты, когда общество почти поголовно было охвачено революционным бредом, старик Суворин не потерял головы, и только со страниц «Нового Времени» раздавался спокойный, трезвый голос. В левом лагере были уверены: теперь «Новому Времени» — конец! Кто будет читать «Новое Время», когда есть «Товарищ», «Сын Отечества» и чуть не десяток других изданий, выходивших с печатавшимся крупными буквами девизом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но и из этого кошмарного времени суворинская газета вышла невредимой и еще более укрепила свое положение.

Секрет этого постоянного успеха заключался не только в силе влияния литературного и организаторского таланта старика Суворина, но и, главным образом, в строго определенной национальной позиции, с которой никогда и ни при каких условиях не сходила его газета.

Суворин был просвещенный и терпимый человек. Не признавая узких партийных рамок, он называл свою газету «парламентом» и не стеснял сотруд-



ников «направлением». Свобода мнений — было его девизом, и, правда, нередко на страницах «Нового Времени» встречались противоположные мнения, нередко возгоралась ожесточенная полемика между постоянными сотрудниками газеты. Но зато в национальном вопросе там никогда не было разногласий, и прежде всего всегда стояли интересы России и русских.

Это самоотверженное служение русскому народу, его национальным интересам проводилось с непреклонной прямолинейностью, и с этой позиции, как бессменный часовой, Суворин не отступал никогда. В деле воспитания русского национального самосознания покойный Суворин сыграл выдающуюся роль, — и эту роль со временем по заслугам оценит потомство.

Малый театр не зовут иначе, как «Суворинский». И так это и есть в действительности. Суворин вложил в него массу личной энергии и огромные средства и почти единолично создал театр, считающийся образцовым наравне с Императорской сценой.

Суворинский театр создал новую эру в театральном деле. Он широко открыл свои двери драматургам и артистическим силам, затиравшимся монопольной «казенной» дирекцией, у которой были свои любимчики, властвовавшие в театре. Многие драматурги, многие артисты, пользующиеся теперь огромной известностью, начинали свою карьеру у Суворина. Многие артисты императорских театров, не уживавшиеся в их душной казенной атмосфере, опять-таки уходили к Суворину и в его театре находили простор для своего творчества. В параллельных постановках Александринского и Суворинского театров победа нередко оставалась за последним.

А. С. Суворин и сам был драматургом. Его «Татьяна Репина» обошла все театры и до сих пор не сходит с репертуара.

В кипучей неустанной работе А. С. Суворин дожил до глубокой старости. Три года назад он праздновал пятидесятилетие своей литературной деятельности и удостоился Высочайшей милости и признания его заслуг с высоты Престола. Как ни старалась тогда левая печать преуменьшить значение этого юбилея, он все-таки был крупным общественным фактом, и тысячи приветствий со всех концов России показали, что недаром прожил Суворин свою жизнь, что работа его встретила и сочувствие, и поддержку.

Теперь — умер старик Суворин. Но не умерло дело, которому отдал он свою жизнь, и на закате дней он мог убедиться, что не пропали брошенные им семена, что растет и крепнет русское национальное дело, и никакие усилия врагов ему уже не страшны.

Всем сказанным, конечно, не исчерпывается ни общее значение А. С. Суворина как характерной исторической фигуры, ни его главного литературного начинания — газеты «Новое Время». Он как бы стоял на страже судьбы России на собственный страх и риск, порой бичуя ее, подобно Гоголю и Хомякову, своим литературным бичом, порой обливая слезами любви и радости. Читая его «Маленькие письма», некоторые иногда улавливали как бы изменчивость его принципиальных воззрений. Но это только



кажущееся: Суворин оставался тем же, каким вышел на свою литературную дорогу. Вопрос сводился к обстоятельствам времени, к известной нужной позиции, стоя на которой возможно было добиться желанного, а желанное это было: свобода России, ее просвещение, ее национальное самосознание, ее мировое могущество.

Сознавая, что изданием одной лишь газеты далеко не достигнешь намеченных целей, Алексей Сергеевич рядом с нею открывает издательство общедоступных дешевых книг и, по словам покойного профессора Кирпичникова, «становится Наполеоном русского книжного дела». В то время, как академия наук, как министерство народного просвещения и прочие просветительные учреждения и установления пребывали в завидном покое, он с неутомимой энергией двигает в русскую публику сначала «Дешевую Библиотеку», затем «Новую Библиотеку», где дает виднейшие произведения русской и западной литературы, причем все эти издания намечаются им по собственному выбору, и можно только удивляться, как хватало у этого человека, которого буквально разрывала вся Россия, еще времени на создание этих библиотек. Если ознакомиться с одним списком этих изданий, то увидишь тут громадную беспристрастную и беспартийную обширную энциклопедию гуманитарных наук, на которой воспитались ряды поколений. Чтобы двигать эти библиотеки, он создает в Петербурге один из первых в столице книжных магазинов и открывает его отделения в разных городах. Вместе с тем он создает и типографию, где устанавливает необычные у нас условия труда. Очерчивая эти условия, представитель журнала «Наборщик и Печатный Мир» А. А. Филиппов поведал по сему предмету на могиле Суворина следующее:

«Если мы беспристрастно взглянем на историю книгопечатания в России, то увидим, что в ней есть два имени, которые особенно ярко обрисовываются. Это — первопечатник Иван Федоров и Алексей Суворин. Многострадальная история первопечатника известна, но история продолжателя его еще начинается, и главным образом, благодаря удивительной скромности покойного, видевшего рекламу даже там, где была только правда. И здесь, над раскрытой могилой, смело можно сказать, что Алексей Сер-



геевич, устроив в 1884 году первую частную школу в России, на широких началах, первый, как типограф, пошел навстречу назревшей необходимости поднять технику печатного дела.

Имея в виду свое же изречение: «Давайте больше доброты, особенно тем, кто хочет жить и трудиться», Алексей Сергеевич устроил для работающих в типографии и их семей медицинскую помощь в своем доме. Врач вызывался служащими даже на дом, как это делается в вспомогательной кассе наборщиков. Затем при типографии «Нового Времени» была устроена ссудо-сберегательная касса, библиотека и прочее. На рождественскую елку, которую Алексей Сергеевич очень любил посещать, собиралось до 1000 детей его служащих от трех до двенадцати лет. Если к этому прибавить, что неспособные к труду, а также вдовы и сироты работавших в «Новом Времени» никогда не оставались без материальной помощи, то получится, что ни один владелец печатного заведения в России не заботился о своих рабочих так, как Алексей Сергеевич Суворин, к слову сказать, особенно радевший о тех рабочих, которые вместе с ним начинали тяжелую и ответственную газетную работу. Широкой волной разливалась доброта Алексея Сергеевича, и доброта эта бодрила, одухотворяла рабочих. Несомненно, имена Ивана Федорова и Алексея Суворина являются в истории России самыми светлыми, прекрасными, и не только современники, но и потомки никогда их не забудут».

IV

В 1880 году, после того, как С. Н. Шубинский потерпел своего рода крушение с изданием «Древней и Новой России», он с помощью Алексея Сергеевича создал «Исторический Вестник». Вот что по сему предмету редактор нашего журнала повествует в имеющейся у меня его автобиографической записке:

«Как-то раз, если не ошибаюсь, в марте месяце (1879 года), я зашел к А. С. Суворину, всегда любезно относившемуся ко мне лично и к «Древней и Новой России», для которой он даже написал года три назад, по моей просьбе, статью о Пушкине. В откровенной беседе я между прочим рассказал ему о положении дел «Древней и Новой России» без всякой задней мысли, кстати,



спросил, не укажет ли он мне на кого-нибудь, к кому я мог бы обратиться с предложением приобрести этот журнал. К величайшему моему изумлению, он, не задумываясь, выразил готовность купить и продолжать издание. Предложение это было так для меня неожиданно, что я счел его не более как пустой фразой. Я просил Суворина посерьезнее подумать об этом и сказал, что зайду через неделю. В назначенное время я явился и услышал то же согласие, но выраженное уже в положительной форме, причем он уполномочил меня войти в соглашение с Грацианским. Желая расстаться с моим издателем самым дружелюбным образом и заботясь искренно о том, чтобы облегчить ему, насколько возможно, понесенные на журнале потери, я предложил Суворину уплатить Грацианскому за право издания 5000 рублей и без возражения получил согласие и на это.

Обрадованный, я поспешил в тот же день передать Грацианскому мой разговор с Сувориным. Он выслушал мои объяснения с нескрываемым неудовольствием и не дал никакого решительного ответа, обещаясь подумать. В последующие дни я настаивал на каком-нибудь решении, но, несмотря на все усилия, не мог ничего добиться. Меня это ужасно волновало, и я тщетно ломал себе голову, стараясь разгадать причину такого образа действий Грацианского. Он сам разъяснил мне ее впоследствии. Постоянный сотрудник «Древней и Новой России» П. А. Гильтебрандт, узнав о переговорах моих с Грацианским, убеждал его не продавать издания, уверяя, что оно погибает единственно от моей неумелости, и вызвался поднять его под своим редакторством. Однако я продолжал требовать категорического решения и наконец поставил вопрос ребром. Грацианскому уже нельзя было долее уклоняться, и он объявил свое «последнее слово». Он потребовал, чтобы Суворин, кроме уплаты 5000 рублей за право издания, додал бы на свой счет подписчикам остающиеся восемь книжек «Древней и Новой России» за 1879 год, что, по меньшей мере, равнялось еще 12000 рубл. Условие было невозможное, и я с тяжелым чувством ушел от Грацианского, пожелав ему не раскаяться в том, что он не воспользовался моим посредничеством, в котором я руководился единственно сердечным побуждением оказать ему услугу.



Тогда мы с Сувориным решили основать новый исторический журнал. Я составил программу, в которую, соображаясь с вкусами публики, ввел исторический роман и повесть и иностранную историографию, а Суворин придумал, нельзя сказать, чтобы очень удачно, название «Исторический Вестник». Я поехал к тогдашнему председателю главного управления по делам печати, В. В. Григорьеву, объяснил ему все дело и получил уверение, что новое издание не встретит ни малейших препятствий. На следующий же день Сувориным было подано официальное прошение о разрешении издавать «Исторический Вестник», а я, согласно условию, заключенному со мною при основании «Древней и Новой России» Грацианским, заявил последнему, что с 1-го октября оставляю редактирование этого журнала¹⁾. С энергией и надеждой на хорошее будущее отдался я организации нового предприятия. Все шло очень успешно и радовало меня, как вдруг раздался удар с той стороны, откуда я всего менее мог его ожидать. Однажды вечером подают мне пакет за казенной печатью. Развернув заключающуюся в нем бумагу, я остолбенел. Главное управление по делам печати уведомляло меня, что министр внутренних дел Маков не разрешил издание «Исторического Вестника».

Я провел очень скверную ночь и на другой день, рано утром, надев мундир, отправился к Макову. Он принял меня довольно любезно и объяснил причину своего отказа.

— В последнее время, — сказал он, — в печати стали появляться неблагоприятные, пошлые намеки на то, что будто бы я и в особенности В. В. Григорьев оказываем какое-то исключительное благоволение к Суворину; во всем ему мирволим и предупредительно исполняем все его желания. Разрешить ему еще новое издание, когда только недавно разрешено «Еженедельное Новое Время», значит дать его противникам повод к новым инсинуациям. Господа журналисты дошли до того, что в полемике между собой не стесняясь обливают друг друга помоями, и я не

¹⁾ После меня Грацианский выпустил несколько книжек «Древней и Новой России», под редакцией П. А. Гильтебрандта, а затем, в марте 1880 года, прекратил издание.



хочу, чтобы брызги этих помоев попали в меня и В. В. Григорьева, которого я уважаю. Вам лично я разрешу издание, а Суворину нет.

От Макова я поехал к Суворину и сообщил ему о происшедшем, разумеется, со всеми мелочами. Хотя он и старался казаться совершенно равнодушным, но я заметил, что рассказ мой о неожиданном для него препятствии, встреченном на первом же шагу «Историческим Вестником», охладил его к задуманному изданию. Он старался меня успокоить и сказал, чтобы я просил о разрешении издания на свое имя, а он не отказывается, как уже обещал, давать все материальные средства для его осуществления и ведения. Это было благородно и не могло не тронуть меня. Я опять поехал к Макову и с трудом убедил его позволить мне напечатать в объявлениях об издании «Исторического Вестника», что этот журнал будет издаваться «при содействии А. С. Суворина», и что ответственность за исправный выход книжек и аккуратность всех расчетов принимает на себя книжный магазин «Нового Времени». Первый (1880-й) год «Исторический Вестник» выходил с моей на нем подписью, как «редактора-издателя», но через год обстоятельства переменились, и Суворину без всяких затруднений разрешили подписываться издателем, которым он и был в действительности.

В создании «Исторического Вестника» сказались, как то я и отметил в своей речи на могиле Алексея Сергеевича, вся типичность, благородство и широта его природы. Будучи деятелем очень определенного политического стяга, он предоставил редактору журнала, принадлежавшему скорее к западнической либеральной фракции, полную свободу действия, полную независимость, охотно допуская, чтобы в журнале, издаваемом под его флагом, работали не только люди ему единомышленные, но и иначе верующие и даже принципиальные противники. Если вспомнить историю журнала, то мы увидим в ряду его сотрудников В. О. Михневича, Г. К. Градовского, Р. И. Сементковского, В. И. Модестова и др., которые, будучи постоянными работниками «Новостей» О. К. Нотовича, почти ежедневно вели принципиальную борьбу и с «Новым Временем», и с самим Сувориным, как автором «Маленьких писем». Такого рода терпимо-



стью издатель «Исторического Вестника» как бы отмежевал газетное преходящее и повседневное от журнального научно-литературного.

Он горячо любил этот издаваемый им журнал, высоко ценил своего редактора и, когда мне приходилось по тем или другим редакционным поводам обращаться к нему в дни тяжких болезней С. Н. Шубинского по делам журнала, все лицо Суворина расцветало лаской и радостной улыбкой и ясно говорило о воодушевляющих его добрых чувствах. За месяц до кончины Суворина мне пришлось навестить его по одному случаю. Исхудалый, осунувшийся, бледный, сидел он у окна своего кабинета, видимо, страшно страдая от своего неизлечимого недуга. И нужно было видеть это сияние добрых глаз, когда я стал ему говорить о журнале, о планах на будущее, о здоровье его друга-редактора!..

Страстный любитель истории, Алексей Сергеевич, кроме названных периодических изданий, охотно шел навстречу и роскошным издательствам в интересах все того же русского просвещения. Так, им изданы: «Иллюстрированная история Петра Великого» и «Иллюстрированная история Екатерины II», «Картины Лондонской национальной галереи», «Картины императорского Эрмитажа», «Историческая портретная галерея», «Дрезденская картинная галерея» с текстом г. Люке, «Император Павел I», «Император Александр I» и «Император Николай I» Н. К. Шильдера, «Олеарий, описание путешествия в Московию», и других иностранцев, писавших о России: Герберштейна, Флетчера, Плано Карпини, Корба, «Палестина» А. А. Суворина, «Исторические очерки и рассказы» С. Н. Шубинского и мн. др.

Благодаря любезному вниманию Алексея Сергеевича к моей скромной литературной деятельности, он согласился и на издание моих очерков по истории русской революции, которые в скором времени выйдут в свет.

Напрасно было бы думать, что, издавая роскошные книги, Суворин руководился какими-нибудь коммерческими расчетами; это была потребность его души, потребность сеять в России «разумное и вечное», и в этом отношении мне ярко вспоминается один характерный случай, обрисовывающий его как крупного



издателя-мецената. Провинциальный наш сотрудник С. Н. Браиловский делает предложение об издании полного собрания сочинений поэта Пушкинской плеяды Туманского. Предполагая, что это издание будет носить характер изданий «Дешевой Библиотеки», вроде Веневитинова, Дельвига, Баратынского, Одоевского, Цыганова и других, С. Н. Шубинский, по соглашению с Сувориным, дает предлагающему благоприятный ответ: «присылайте, мол, собранное с вашим предисловием». Летом прошлого года С. Н. Шубинский тяжело заболел, а в это время от Браиловского получается тяжеловесная посылка — стихи, письма Туманского, его, Браиловского, обширное предисловие. Суворин в городе, и больной редактор «Исторического Вестника» поручает мне с ним повидаться и сказать от его имени, что такого громоздкого издания нельзя предпринимать, что оно явно убыточно, что вышло недоразумение и что посылку нужно вернуть Браиловскому при объяснительном письме. Исполняю возложенную на меня миссию и слышу ответ:

— Конечно, где теперь предпринимать такое издание...

— Так я так и напишу Браиловскому и верну ему рукопись?

— Нет, оставьте это все у меня. Я тут кое-что посмотрю.

— Сергей Николаевич боится, что вы куда-нибудь засунете эти бумаги и потом их будет не найти.

— Что это за анекдоты! Ничего я не теряю. А вы вот что лучше сделайте: повидайтесь на всякий случай с Богдановым (управляющий типографией) и Кормилицыным (управляющий магазином), пусть сделают смету и выскажутся, стоит ли город родить.

Навожу все справки, в точности выясняю, что издание несомненно убыточно. Докладываю Суворину.

— Конечно, конечно, убыточно... Не до того теперь.

— Так позвольте взять пакет?

— Что вы ко мне пристали? Я еще там не все просмотрел. Заходите через три дня.

Прихожу в назначенное время.

— Что скажете, голубчик?

— Да вот насчет Туманского опять...



— А что такое? Я уже все отправил в типографию для набора. Я его издам. Третьего дня ночью мне не спалось, стал я все это перечитывать, и так на меня пахнуло стариной тридцатых годов, эпохой Пушкина, и так стало хорошо... Что тут какие-то рубли считать!

Затем с точно виноватой улыбкой добавляет:

— Вы уж там как-нибудь умиловьте Шубинского, чтоб он не сердился, что я не послушался его совета. Надо же и мне побаловаться!

Уже тяжело больной и в значительной степени сокращая издательскую деятельность меценатского порядка, он всё же от времени до времени посылал свои неразборчиво написанные записочки С. Н. Шубинскому с запросами, нет ли в его библиотеке чего-нибудь редкого по истории России, что бы стоило издать. Приближенные часто должны были употреблять усилия, чтобы оберечь пылкого издателя от его невыгодных в материальном отношении замыслов и остановить его рвение.

Кроме только что перечисленных изданий исторического характера им выпущено в свет немало крупных литературных произведений и сочинений, как-то: Пушкина (под редакцией П. А. Ефремова), Лермонтова, Авсеенка, Апухтина, Бежецкого, П. П. Гнедича, Григоровича, Е. П. Карповича, А. Ф. Кони, В. Крестовского (псевдоним Хвошинской), Вас. Немировича-Данченка, Фофанова, Щеглова и других, а также и переводные: Жюль Верна, Данте, Фаррара, Фламариона, Шиллера, Шопенгауэра, классиков — Плутарха, Еврипида, Софокла, Эсхила, Эзопа и других.

Кроме любви к журналистике и издательству у Суворина была особенная страсть к театру. Можно сказать, что история русского театра за последние двадцать пять лет непосредственно связана с его именем. Еще на страницах «Петербургских Ведомостей» он выступал в роли театрального рецензента и сразу обратил на себя внимание как чуткий ценитель талантов и пониматель задач сценического искусства. С тех пор в течение сорока лет он не отходит от сцены, внимательно следя за всеми ее перипетиями, за порождением новых талантов и пробивая через казенную рутину официального театра новые пути. Не удовлетворенный в конце концов состоянием и репертуаром казенной



сцены, он с 1895 года становится во главе театрального предприятия Литературно-Художественного общества (Малый театр); он открывает борьбу с театральной цензурой и добивается разрешения постановки таких драматических произведений, которые были под строгим запретом, как-то: трилогия графа А. Толстого, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого; ставит на сцене «своего» театра ряд пьес из западноевропейской жизни и дает дорогу многим русским талантам, которые без его содействия со своими драматическими произведениями оставались бы не у дел. Я не имею возможности здесь говорить об этой стороне деятельности Алексея Сергеевича; отмечу лишь, что в своей кипучей театральной деятельности он не только проявлял свои силы как организатор и новатор, но и как выдающийся драматург, произведения которого с большим успехом обошли все сцены русских театров. Так, совместно с В. П. Бурениным он написал драму «Медея», самостоятельно комедию «Татьяна Репина», «Вопрос», ряд мелких пьес и, наконец, пятиактную драму «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения».

Последняя пьеса взяла свое происхождение из тех его трудов, которые были посвящены специально смутному времени; это время и таинственная личность Самозванца привлекали издавна его особое внимание. Он усматривал здесь своим критическим чутьем историка особенно рельефное проявление всех сторон русской жизни и силою глубокого анализа по случайным чертам восстанавливал истину о трагически погибшем первом Самозванце. Тождество последнего с царевичем Дмитрием было для него несомненно, и в целом ряде блестящих исторических статей со свойственной ему страстностью и талантом он доказывал свое излюбленное положение. Труды А. С. Суворина по смутному времени — богатый вклад в нашу литературу и будут беспристрастными историками поминаться как прекрасный источник для изучения того загадочного времени.

Оставив по себе след в исторической науке, он связал свое имя и с историей литературы как знаток Пушкина при разоблачении известной подделки «Русалки» в «Русском Архиве». Тонкость его критических методов тут изумительна, и нужно только удивляться, что эта сторона его литературной деятельности осталась



неоцененною нашим высшим рассадником просвещения в день его пятидесятилетнего литературно-общественного юбилея. Печальная политическая партийность сыграла тут свою роль, и, конечно, во всякой другой стране, где культура стоит выше, имя Алексея Сергеевича не было бы забыто аналогичными учреждениями.

Не считая мелких повестей, написанных им в начале его литературной деятельности, он написал и большой роман «В конце века. Любовь», где он тонко подметил тяготение нашего общества к тому таинственному неведомому, спрос на которое сейчас у нас так велик. Он в этом отношении как бы опередил общественную мысль и еще много лет тому назад сказал то, чем ныне так заняты гг. Розанов, Филосовов и другие.

Когда озираешь всю эту кипучую работу русского журналиста, этого организатора разных предприятий, этого представителя русской общественности и политической мысли, если попытаешься заглянуть за завесу его жизни, где шла непрерывная работа по сношению с видными деятелями русской и иностранной государственности, то приходишь положительно в недоумение, откуда этот колосс труда брал сил и времени для всего им делаемого. Я думаю, что в нашей общественной жизни второго Суворина еще не было — по крайней мере, я в истории нашей литературы такого не знаю. Журналистика, историческая и литературная работа, деятельность по театру, непрерывная политическая борьба, вечное кипение вопросами дня, и все это в крупном масштабе, в ярком, подчас феерическом освещении! И при всем том удивительная простота личной жизни, полное отсутствие тщеславия и нежелание выставлять вперед своего имени для знаков признательности и благодарности. Он даже не хотел, чтобы справляли юбилей пятидесятилетия его литературной деятельности, грозясь уехать в этот день из Петербурга и не появиться на торжестве, если его организуют, и только просьбы и уговоры близких убедили его согласиться на этот праздник, к которому радостно готовились многие и многие русские люди. И празднество 27 февраля 1909 года вышло, действительно, на славу, как празднество общественное и политическое. Восстановим описание этого знаменательного в жизни А. С. Суворина дня по статье, которая была напечатана в нашем журнале.



V

Празднование началось с утра 27 февраля. Начала его типография «Нового Времени». Здесь в классе школы при типографии собрались, во главе с управляющим г. Богдановым, все служащие типографии, метранпажи и наборщики, служащие в главной конторе во главе с управляющей ее, г-жой Леонтьевой, администрация и служащие в книжном магазине, во главе с управляющим г. Кормилицыным, администрация экспедиции газеты, рассылные при редакции и типографии, рабочие, ученики школы. Законоучитель школы протоиерей Любославский совершил торжественное молебствие, перед которым обратился к присутствующим с кратким словом.

После молебствия отправилась на квартиру юбиляра депутация от всех учреждений типографских, газетных, книжного магазина и школы приветствовать А. С., причем самый младший из учеников вручил юбиляру букет цветов.

Рано утром А. С. Суворину был прислан от Государя кабинетный фотографический портрет Его Величества в драгоценной раме с собственноручной надписью: *«А. С. Суворину, честно проработавшему на литературном поприще в течение 50 лет на пользу родной страны».*

Одним из первых поздравил А. С. сербский посланник, затем он же приехал вторично, потому что получил телеграмму от сербского министра-президента с поручением поздравить Алексея Сергеевича от имени королевского сербского кабинета министров. Из русских сановников посетили юбиляра министры: военный — генерал Редигер, морской — свиты Его Величества контр-адмирал Воеводский, финансов — статс-секретарь Коковцов, юстиции — тайный советник Щегловитов, народного просвещения — тайный советник Шварц, обер-прокурор святейшего синода тайный советник Лукьянов, государственный контролер тайный советник Харитонов, дворцовый комендант генерал-лейтенант Дедюлин, генерал-адъютант Куропаткин, министр иностранных дел гофмейстер Извольский, министр путей сообщения тайный советник Рухлов, свиты Его Величества генерал-майор князь Оболенский, граф Витте, статс-секретарь Куломзин, ди-



ректор императорских театров г. Теляковский, товарищ министра иностранных дел Чарыков, член государственного совета граф С. Д. Шереметев, русский министр-президент в Черногории действительный статский советник Максимов, с.-петербургский градоначальник генерал Драчевский.

Дамы — жены сотрудников, вместе с Е. И. Сувориной, женой редактора Мих. Ал. Суворина, приветствовали юбиляра в час дня на квартире и поднесли хрустальную в художественной серебряной оправе вазу с живыми цветами; на вазе надета на цепочке серебряная дощечка с именами всех подносивших. Было много подношений и подарков от частных лиц.

В Дворянском собрании торжественный юбилейный акт начался молебствием. Зал был полон: в нем собралось свыше 4000 человек, все по именным билетам. Даже были заняты все хоры, опоясывающие огромный зал. В молебне приняли участие в сослужении преосвященному Евлогию цензор архимандрит Мефодий, настоятель Казанского собора протоиерей Сосняков, настоятель Воскресенского женского монастыря протоиерей Буткевич, законоучитель школы при типографии Суворина протоиерей Любославский.

В глубине зала, на эстраде, обведенной бордюром тропических деревьев, разместился оркестр графа А. Д. Шереметева и певцы соединенных хоров Архангельского и Славянской.

При появлении А. С. Суворина зал задрожал от рукоплесканий, и оркестр присоединил к ним «Славу» (композиция М. Владимирова).

А. С. Суворин стал внизу у эстрады. С левой стороны в золотых облачениях вышло духовенство, в преднесении светильников шел преосвященный Евлогий Холмский; на приготовленном перед эстрадой месте стоял молебный столик с крестом и евангелием и иконою Спасителя. Его окружило духовенство, и преосвященный совершил благодарственное молебствие. Хор Архангельского прекрасно исполнил концертное «Тебе Бога хвалим». После того придворный протодиакон Громов возгласил царское многолетие и многая лета Державе Российской.

Тогда преосвященный Евлогий, осенив крестом собрание, обратился к А. С. с следующей речью:



«Глубокоуважаемый

Алексей Сергеевич!

Мне выпала высокая честь ваш прекрасный юбилейный праздник, праздник печатного слова — освятить словом Божиим и молитвой.

Сейчас в ушах ваших прозвучали великие, святые слова нашего Божественного Учителя: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эти слова, мне кажется, являются лучшим эпиграфом вашей трудовой жизни, которая была единым, непрерывным подвигом служения нашей родине. На необозримые родные поля своим печатным словом вы сеяли обильно семена правды и добра. Теперь долгий тяжелый рабочий день ваш склонился к вечеру, когда усталому труженику, быть может, пора и отдохнуть. Да будет же тих и ясен этот вечер вашей жизни, озаряемый кроткими лучами любви и благословением Того, Кто есть свет, истина и жизнь, и в Ком все труждающиеся и обремененные действительно находят отраду и покой душам своим».

После слова архиерея протодиакон возгласил многолетие Алексею Сергеевичу Суворину. Преосвященный осенил юбиляра крестом. Кончилось молебствие, публика в зале села на места. С эстрады тогда сообщено было о царском подарке юбиляру.

Зарукоплескал зал, хор и оркестр слились в звуках народного гимна, повторенного трижды при громе рукоплесканий и криках «ура».

А. С. Суворин занял место за почетным столом на эстраде, окруженный членами юбилейного комитета и сотрудниками своей газеты.

Начался длинный ряд поздравлений. Вереницей, одна за другой, подходили к столу депутации и подносили свои адреса, читали их, говорили приветствия.

Первым читался адрес от Литературно-Художественного общества, устраивавшего юбилей; читал его директор театральной школы имени Суворина г. Далматов.

Гром рукоплесканий приветствовал адрес.

Второй адрес подносили сотрудники газеты. А. А. Столыпин заявил, что сотрудники газеты собрали 15000 р. на премию имени Суворина при императорской академии наук за лучшее литературное сочинение.

Один из старых сотрудников прочитал самый адрес, также вызвавший рукоплескания всего зала.

После того приветствовали юбиляра адресом фракции государственной думы — союз 17 октября во главе с А. И. Гучко-



вым, фракция умеренно-правых во главе с г. Балашовым, фракция националистов во главе с епископом Евлогием, клуб общественных деятелей во главе с М. В. Красовским, разные общества, журналы, издания, словом — более 80 депутатий. Дефилировали перед юбиларом тут и ученые общества, и военные, и женщины, приветствовали артисты и артистки... Императорская русская опера поднесла золотой венок. Другой венок от русских драматургов вручил г. Протопопов. Громадных размеров адрес, едва вместившийся на ширине стола, прочитал и передал от москвичей г. Ежов, но еще больших размеров венок вручили драматические артисты. Старообрядцы поднесли икону.

Закончилось торжество в шестом часу кантатой музыки М. М. Иванова на следующие слова Шуфа:

Светлой увенчанный славой,
В царстве безвестном дотоль,
Правил своею державой
Старый и мудрый король.
Грозен он речью громовой,
Внемлет той речи земля.
Властно правдивое слово —
Блещущий меч короля.
Мчатся послушные стрелы,
Слову весь мир покорен,
Царства все шире пределы,
Гордо возвысился трон.
Солнце взошло величаво,
Будемте солнце встречать!
Славься, шестая держава,
Слава Суворину, слава!
Славься им наша печать!
Сердцем свой край возлюбивший,
Верный отчества сын,
Ты — полстолетия служивший,
Русской земли исполин!
Скипетр железный взяв в руки,
Творчеством ты вдохновлен.
Ты для искусств и науки
Светлый открыл Пантеон.
Дар твой высокий беспорен,
Полон живой он любви —
Славься вовеки, Суворин,
Долгие годы живи!



Солнце взошло величаво —
Будемте солнце встречать!
Славься, шестая держава,
Слава Суворину, слава!
Славься им наша печать!

К концу акта почетный стол был завален: целая гора дипломов, адресов и т. д. закрывала сидящих за столом.

Телеграмм и писем получены тысячи со всех концов России и из-за границы.

Здесь были приветствия печати, русской и иностранной, писателей, ученых, художников, музыкантов, артистов, городских управлений, земских учреждений и т. д. Из-за границы с особенной сердечностью откликнулись представители славянства. До поздней ночи продолжали поступать телеграммы с разных концов света.

Литературно-Художественное общество поднесло диплом на звание почетного члена. Диплом стильный, в виде старой грамоты, в футляре из желтой свиной кожи. Диплом написан на пергаменте, весь орнамент и буквы — разных красок, но бледных цветов, исполнены в стиле эпохи Дмитрия Самозванца; его рисовал художник Курдиновский по указаниям профессора Соболевского. С середины пергаamenta спускается привешенная на шнуре печать из красного воска Литературно-Художественного общества. Печать в стиле той же эпохи. Адрес читал г. Далматов. Взрыв аплодисментов всего зала сопровождал чтение адреса.

Оригинален затем адрес сотрудников «Нового Времени»; он в кожаном бюваре — стиля empire. Внутри первый лист — точная копия первого номера «Нового Времени», как он вышел 29-го февраля 1876 г.; в лист вложен адрес с виньеткою художника Соломко и закрывает адрес — копия с последнего юбилейного номера, портрет юбиляра, как он отпечатан в последнем номере 27-го февраля. После заявления председателя юбилейного комитета А. А. Столыпина об учреждении сотрудниками премии (процентов с собранного капитала в 15 тысяч) при академии наук за лучшее литературное произведение, г. Прокофьев прочитал адрес. Чтение покрыто рукоплесканиями.

Думская фракция союза 17 октября приветствовала адресом, прочитанным А. И. Гучковым. Чтение адреса прерывалось



бурными аплодисментами. Адрес заключен в раму и украшен группой портретов октябристов.

От умеренных правых адрес читал г. Балашов.

Депутацию думских националистов составили епископ Евлогий, читавший адрес, князь Урусов и г. Беляев.

Клуб общественных деятелей выделил депутацию из своего председателя, члена государственного совета г. Красовского, гг. Дурнякина и Чистякова.

Воронежский кадетский корпус, где воспитывался А. С. Суворин, и воронежское городское училище, где он учил, поднесли свои адреса.

Депутат бобровского земства г. Звегинцев произнес прекрасную речь:

«Алексей Сергеевич!

Я послан к вам от того уголка Русской земли, где вы родились, где протекли ваши детские годы.

Что те или иные захолустья помнят своих больших людей, чествуют их — что в том удивительного? Ведь часть блеска, часть известности распространяется и на них, недаром же в путеводителях в числе достопримечательностей указывается: «здесь родился такой-то». Гораздо реже люди, выбившиеся в верхи общественного положения, охотно вспоминают те места, где им приходилось бороться на первых порах их работы. Но когда оно бывает, то это верный признак истинного благородства души. Вы, Алексей Сергеевич, никогда не забывали своего Коршева, а за ним и Бобровского уезда. Вы и в печати о них не раз вспоминали; вы всегда чутко отзывались на нужды народного просвещения в вашем родном краю. От вас шли деньги; наконец вы и сад ваш, и усадьбу, где родились, отдали земству, чтобы поставить школу, построенную на ваши же средства.

Сегодня мы пользуемся днем вашей золотой литературной свадьбы, чтобы на людях выразить нашу глубокую благодарность и приветствовать щедро для нас жертвователя, для родины — бескорыстного славного работника».

Адрес от петербургской городской думы, поднесенный тремя гласными, был в роскошном переплете стиля ерпиге, с громадными золотыми инициалами в середине верхней крышки и эмалевым гербом столицы.

От старой Москвы — громаднейший бювар с многими сотнями подписей, среди них — самые блестящие имена москвичей.

Русское общество драматических писателей поднесло золоченый лавровый венок на белом бархатном шите.

От Николаевской академии генерального штаба было сказано приветствие, также от союза националистов.



От «Исторического Вестника» — адрес в серебряном бьюаре, верхняя доска которого, работы Треймана, художественно изображает обложку журнала.

От театра Литературно-Художественного общества адрес прочла г-жа Миронова.

От императорского Александринского театра адрес читал г. Давыдов, тут же стояли г-жа Савина и г. Варламов. Последний, поздравляя юбиляра, по-русски его обнял и поцеловал.

Императорская русская опера поднесла золотой лавровый венок на бархатном голубом шите. Депутацию составляли гг. Ершов, Тартаков и Филиппов.

Адрес итальянской оперы читал г. Нардуччи, в депутацию вошли г-жа Л. Кавальери, г. Наварини и г. Гвиди.

Далее шли:

Александровский комитет о раненых.

Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне.

Русское собрание — в составе председателя князя Шаховского, товарища председателя графа Гейдена и трех членов совета.

Газета «Голос Москвы» (профессор Грибовский и Ф. И. Гучков).

Газета «Голос Правды» (г. Бобрищев-Пушкин).

Театральное общество (за вице-президента тайный советник Плюшевский-Плющик).

Библиологическое общество (профессор Ловягин).

Славянское общество.

Галицко-Русское общество (председатель граф Бобринский, профессор Кулаковский).

Газета «Россия».

Газета «Свет» (редактор г. Комаров и княгиня Бебутова).

«Московские Ведомости».

Лига обновления флота (генералом Беклемишевым сообщено постановление о присуждении юбиляру золотой медали лиги).

Чешский национальный совет.

Монах-чех Вячеслав, подойдя к юбиляру с большой профторой, приветствовал его от всех чехов православных стихотворным экспромтом.



А затем, передавая чувства чехов к русским людям, высказал, что без России не может жить и бороться славянство, а пока жива Россия — будут и славяне. Это он произнес в таком восторженном, энергичном тоне, что наэлектризовал весь зал, и гром рукоплесканий понесся к оратору-славянину.

Общество востоковедения — председатель генерал-майор Шведов.

Типография «Нового Времени».

Театральная школа имени А. С. Суворина.

Русское окраинное общество.

Газета «Киевлянин», редактор г. Пихно.

Петровская колония русского общества печатного дела.

Вспомогательная касса наборщиков.

Редакция «Zeitung».

«Петербургский Листок» — редактор Скроботов, адрес с виньеткою художника Владимирава.

«Русский Инвалид».

Газета «Русская Правда».

Общество поощрения женского профессионального образования.

Газета «Вечер».

Общество «Русское Зерно».

Петровское общество вспоможения бедным.

Военные журналы (издания Березовского) «Разведчик», «Витязь» и «Вестовой» поднесли юбиляру хлеб-соль на деревянном резном блюде с деревянною солонкой, покрытой полотенцем, в которое вделаны поперечные полосы атласа, на них напечатан текст адреса, картинные заголовки трех изданий и кусочек фельетона «Нового Времени» 1885 г., имеющий отношение к журналу «Разведчик».

Из депутатий особенно надо выделить две депутатии: людей русской старой веры — старообрядцев петроградской Громовской общины и старообрядческого братства св. ап. Петра и Павла.

От академического союза спб. политехнического института и от академической корпорации при спб. университете. Адрес последней был украшен университетским знаком.



Далее шли: состав служащих в учреждениях Суворина, учредивших стипендию в 2¹/₂ тысячи рублей в одном из столичных средних учебных заведений имени юбиляра.

От спб. комитета Красного Креста района Московской заставы.

От графини Апраксиной, учредившей стипендию имени А. С. в торговой школе наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича.

Екатеринославское литературно-просветительное общество в память Гоголя.

Редакция «Литературного Обозрения».

Учебный воздухоплавательный парк.

Общество служащих в книжных и музыкальных торгоях и библиотеках.

Товарищество Сытина.

Журнал «Шут».

Журнал «Осколки».

Редакция журнала «Обозрение психиатрии, невропатологии и экспериментальной психологии».

Хор Архангельского.

Театр «Фарс».

Литейный театр.

Народный журнал «Дружеские Речи».

Редакция «Светлый Луч».

Словолитня Лемана.

Переплетная и типография Гаевского.

Общество служащих в печатных заведениях.

Общество взаимопомощи служащих в музыкальных магазинах и библиотеках.

Артель газетчиков.

Товарищество «Контрагент печати».

Вечером в Малом театре, переполненном снизу доверху, состоялся блестящий спектакль, данный в честь А. С. Суворина. Долго не смолкавшие аплодисменты приветствовали появление юбиляра. Представление началось его одноактной пье-



сой «Он в отставке», мастерски разыгранной г-жой Рошиной-Инсаровой, гг. Давыдовым, Нерадовским и Чубинским. Давыдов в роли отставного министра был великолепен. Автор был неоднократно вызван. Затем шел третий акт «Татьяны Репиной» в исполнении артистов Александринского театра во главе с создательницей заглавной роли М. Г. Савиной. Артистка сразу захватила внимание зрителей своей художественной, нервной игрой. Очень хороши были М. И. Домашева и г. Долинов-Зонненштейн. Новые овации заставили А. С. Суворина снова выйти на сцену. В дивертисменте пели г. Ершов и г-жи Кузнецова-Бенуа и Лина Кавальери, танцевали г-жи Кшесинская, Павлова 2-я и г. Кусов. Шумный успех сопровождал их художественное исполнение. Г-же Кузнецовой пришлось повторить без конца; она прямо очаровала своим голосом, исполнив с удивительной тонкостью вальс из «Ромео и Джульетты». Удивительно красивой вышла «Русская» в исполнении г-жи Кшесинской и ее кавалера. Г-жа Павлова в своем танце была самой поэзией, едва уловимой мечтой.

В заключение была поставлена живая картина — поставлена такими мастерами искусства и техники, как Куинджи, К. Маковский и Голике.

Второй занавес изображал Эртелев переулочек с колоссальным домом, где помещается «государство Суворина». На авансцене была представлена картина обычного трудового дня в типографии «Нового Времени».

Вертелись цилиндры-ротационки, ходил печатный станок, фальцовщицы на первом плане торопливо складывали отпечатанные листы, наборщики набирали у станков, от рабочего к рабочему ходил настоящий метранпаж, корректор судорожно выправлял корректуру.

Потом занавес с Эртелевым переулочком поднялся, и чудесный апофеоз — фантастическая группа красиво расположившихся актеров и статистов в эффектных костюмах — завершил зрелище.

Лина Кавальери с пылающим факелом в руке увенчивала эту капризно-красивую пирамиду из человеческих тел — красавцев и красавиц, как гений искусства и всепобеждающего знания



или — в специальном применении к случаю — символ таланта и энергии, освещающих путь другим.

Картина вызвала живые аплодисменты. Под гром их закончился спектакль почти ровно в полночь.

Юбилейный день закончился ужином в ресторане «Медведь». В огромном зале было более 500 человек. Длинные столы, усыпанные цветами, тянулись по середине, а по стене были расставлены маленькие — на десять человек каждый. Шумными долгими аплодисментами встретили А. С. Суворина. Около него, кроме членов семьи, за столом поместились: Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, А. С. Ермолов, П. Н. Крупенский, П. М. Балашов, гр. Вл. Бобринский, М. Г. Савина, А. И. Куинджи, Н. Н. Фигнер, кн. Л. С. Голицын, Н. П. Шубинский, М. М. Алексеенко и другие. За другими столами сидело до 80 членов государственной думы, многие видные члены государственного совета — Череванский, М. А. Стахович, А. П. Никольский, Неклюдов... Вышние сановники, выдающиеся военные, множество литераторов, журналистов, большинство участвовавших днем в депутациях.

Первый тост «по лестному для меня поручению юбиляра» за Государя Императора — провозгласил Н. А. Хомяков. Оркестр отвечал гимном, который и был повторен трижды. Среди певших были г-жа Кузнецова, гг. Ершов, Фигнер, Филиппов, Давыдов и другие артисты. Образовался мощный и стройный хор. Начались речи. В них не было недостатка, но за шумом в большом зале ораторов не всем было слышно. Член государственной думы Н. П. Шубинский произнес речь, которую мы здесь и восстанавливаем:

«Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич. Мне выпала честь в этот вечерний час выразить вам от себя и моих политических друзей наш искренний привет. Была минута, когда я хотел отказаться сделать это. После тех беспримерных оваций, какими сегодня днем увенчали вас разнообразные представители земли русской, мне показалось, что человеческое слово не в состоянии чем-либо дополнить испытанные вами впечатления. Но мысль моя обратилась к прошлому, к вашей полувековой блестящей деятельности, напоминавшей мне чрезвычайную беспредельность предстоящей темы. С другой стороны, многие из нас ушли бы неудовлетворенными, не сказав вам, почему и за какое время нам особенно дорога ваша деятельность и ваш образ чуткого, могучего журналиста земли русской. Позвольте начать с далеких воспоминаний нашего первого знакомства с вами. Это было очень давно. Я был совсем юношей, вы —



журналистом, уже покрытым славой. Это были первые шаги вашей самостоятельной издательской деятельности. Помню ту редкую энергию, то исключительное мужество, какие тогда светились в ваших глазах. Не вне себя вы искали точек опоры, как мыслит теперь огромное большинство, для задуманного вами дела. Только опираясь на свой блестящий публицистический талант, на свою энергию, вы начали рискованное дело издательства. Ожидания ваши оправдались вполне. Хиревшая до вас газета от одного прикосновения вашего таланта, подобно жезлу Аарона, покрылась блестящей листвой. Успех опередил все надежды. Скоро выступила и вторая черта ваших редких дарований — умение чутко угадывать таланты, притягивать их к себе, объединять в одну мощную силу и тем сообщать несравненный блеск предпринятому вами делу. Недавно скромное газетное издание быстро завоевало господствующую роль в русской журналистике и получило широкое почетное признание и распространение — таковы первые заслуги ваши перед страной. Упрочив издание вашей газеты, вы не замкнулись в нее, вы обогатили русскую жизнь целым рядом других блестящих изданий. Рядом с газетой вы предприняли издание исторического журнала, имеющего широкое признание и большую известность. Драгоценнейшие исторические памятники, изданные вами, восполнили страницы вашего внимания к русской истории. А общие задачи просвещения получили от вас величайшие дары в роде дешевых изданий, доступных самым широким слоям общества.

Довольно бы и этого для имени славного русского журналиста, но ваша мысль неумолчно стремилась к иным областям человеческого творчества, к сценическому искусству. Его вы обогатили многими страницами вашего вдохновения, в нем вы создали славу лучшим его деятелям, в нем вы создали организацию, которая в истории театра сохранит ваше имя. Здесь к голосу моих приветствий позвольте присоединить голос близкого мне человека, посвятившего всю свою жизнь сценическому искусству, который чтит вас как славного служителя этого дела и друга сценического искусства и его жрецов.

Конечно, рядом с великими триумфами, какие доставил ваш полувековой подвиг, были великие тернии, какие переживала русская журналистика в недавнее время русской жизни. Кто не помнит той неустойчивости, переменчивости и тех угроз, среди которых весьма недавно протекала жизнь русского журналиста? Едва вспыхнувшая заря относительной свободы мгновенно сменилась долгой и непроглядной тьмой. Чья карающая рука не управляла мыслью, разумом, вдохновением журналиста, иногда полная гнева, опасных угроз, и тут же чуждая нередко понимания тех великих проблем, какие журналистика вносила в русскую жизнь. Но, слава Богу, это пережито. А сегодняшний день к радости торжества только присоединяет мысль, какую ценой досталось оно. Да, тяжелая была эпоха, когда полуслова, намеки, сказанные сегодня, завтра объявлялись преступлением, и наоборот.

Нужно было много осторожности, энергии, чтобы пройти среди этих подводных скал и удерживать любимое дело в полосе относительной безопасности. Многие недосказанные тогда слова стали теперь фактами, и мы склоняем перед вами за эти прошлые усилия нашу благодарную речь.



Особенно же дорого для нас стало ваше имя в тяжелые смутные дни русской жизни. Еще столь недалеки они. Чтобы разобраться в них, нужно возвратиться к далекому прошлому.

Все мы с ранних лет жизни воспитывались в идеалах свободы. Свобода воспевалась в прозе, в стихах. На театральных подмостках герои, поучая нас, боролись и умирали за нее. Свобода являлась заветной мечтой, конечной целью наших желаний, нашей обетованной землей. Мы ждали, что придет она, одетая в белые пелены, с лучезарным венцом на голове, и принесет в нашу жизнь все лучшие духовные блага: даст нам мир, спокойствие, общую любовь, братство, справедливость... И мы ужаснулись, когда она явилась перед нами истерзанная, покрытая багрянницей, отливавшей пожарами, кровью, когда она принесла нам ужасы гнева, ненависти, насилия и убийств. Мы ужаснулись ей, и в наших глазах мрак печали и ужасов окутал русскую жизнь. Эта тяжелая эпоха имела своих глашатаев, своих герольдов, своих проповедников. Разгоряченные страсти чуть не в первую линию выносили их на арену публичного внимания. Вы не убоялись уступить им минутное торжество, минутное первенство — и стать вместе с нами в ряды отсталых. Вы не разукрасились ни красными флагами, ни зелеными кокардами: вы, как вековой утес, среди величайшей бури остались верны себе. Буря пройдет, море уляжется, и утес по-прежнему будет господствовать над ним. Вы не убоялись тогда сказать слова правды, призвать к порядку, напомнить о великих национальных и исторических основах государственной жизни. Вы были маяком в тяжелую ночь, когда мрак окутал русскую жизнь, когда не было ни святых, ни человеческих законов, которые не попирались бы дерзновенными кликами минутных вдохновителей народных масс. Вы из первых угадали, что, перестав быть целью и сделавшись средством, свобода для блага страны должна стать достоянием народа, подготовленного понять ее — понять не только в смысле огромных прав, какие она несет, но и еще больших обязательств в отношении других, какие налагает она. В руках подготовленного народа всюду свобода источник величайших благополучий; в руках не подготовленных — источник великих горестей и зол. Наши мысли направлены сейчас сделать все доступное нашим силам для подготовки народа к восприятию всех свобод для мирного благополучия и счастья всех людей. Мы чувствуем, что на этом пути вы идете рядом с нами, иногда опережаете нас. Но вы поучаете, а мы делаем. Так и должно быть. И мы верим, что на этом пути вы окажете новые великие услуги нашей стране вашим несравненным талантом, вашим полувековым опытом, вашим великим благоразумием, вашей вдохновенной мудростью. Да процветут ваши силы еще на многие годы для блага и славы родной земли».

А. С. Ермолов поднял бокал за жену юбиляра Анну Ивановну, член думы Кривцов сказал несколько слов от бывших питомцев воронежского корпуса, М. Д. Чельшев предложил тост «за русских матерей, рождающих таких богатырей», как Суворин. Среди речей с эстрады неожиданно раздалось пение «Налейте, налейте бокалы полнее...» Пели Кузнецова-Бенуа и Фигнер. Это было красиво и неожиданно.



Много еще было тостов, и большинство оставалось в ресторане долго после отъезда юбиляра, который уехал в три часа. Многие оставались до утра, только в восьмом часу опустел зал.

После этого дня все ждали, что в газетах появится новое «Маленькое письмо» Алексея Сергеевича, где он так или иначе отзовется на все принесенные ему приветствия и выражения добрых чувств. Но такого письма не последовало. Перо могучего публициста точно сломилось, и он литературно замолк. Теперь из данных о болезни почившего писателя мы узнаем, что вероятную причину тому была надвинувшаяся на него тяжкая болезнь. Как это теперь установлено, у Алексея Сергеевича Суворина три года назад обнаружилось заболевание голосовых связок.

Первым врачом, осматривавшим больного, был проф. Симановский, который не нашел в недуге ничего опасного. Следующим врачом был доктор Поляков. Он совершенно разошелся с мнением проф. Симановского и определил начало злокачественного новообразования. После консилиума петербургских врачей А. С. уехал сначала в Берлин к тамошнему знаменитому профессору Френкелю, который констатировал у больного наличие рака гортани. Профессор предложил Алексею Сергеевичу выщипывание образовавшейся опухоли, на что тот не согласился и пожелал посоветоваться с другими европейскими знаменитостями, и прежде всего он поехал в Гейдельберг, к профессору Кальяну, и этот специалист горловых болезней подтвердил диагноз профессора Френкеля и, со своей стороны, сделал предложение удалить оперативным путем больную гортань. И на это предложение не последовало согласия со стороны Суворина, и он предпочел проехать в Эмс к доктору Мюллеру, который применил в лечении терапевтические средства и, между прочим, ингаляцию; но эти методы не давали ближайших добрых результатов, и потому в Эмс был вызван из Франкфурта-на-Майне знаменитый доктор Шписс. Под давлением авторитета последнего Алексей Сергеевич согласился, наконец, на выщипывание злокачественной опухоли, что и начали ему делать в течение полутора месяцев во Франкфурте. Результаты оказались блестящими, и док-



тор Шписс согласился на возвращение тосковавшего по родине Суворина в Россию. На прощание Шписс заявил ему:

— Я вам сделал как бы радикальную операцию. Я удалил всю опухоль, и, если бы прежде осматривавшие вас врачи снова посмотрели ваше горло, они нашли бы его совершенно чистым и не поверили бы, что у вас была раковая опухоль. Но я не ручаюсь, чтобы удаленная ныне опухоль вновь не появилась, если вы не будете беречь себя. Поэтому прошу вас непременно через шесть недель вновь ко мне приехать и показаться. Это безусловно необходимо.

Суворин обещал выполнить наставление спасшего его врача, но, вернувшись в родную стихию и очутившись в водовороте своих дел, позабыл о требуемой осторожности: много говорил, порою, волнуясь, кричал, простужался, засорял ездой по улицам пылью горло. Наконец, он пропустил назначенный срок явки во Франкфурт и, когда с опозданием на две недели прибыл туда, то оказалось уже поздно: опухоль снова появилась, и бывшая болезнь сделала резкий прогрессирующий скачок. Опять применено было выщипывание, но на сей раз этот метод врачевания не удался, так как горловые ткани оказались сильно воспаленными. Больному грозило удушье, и пришлось сделать трахеотомию, лишившую Суворина речи уже до последних часов его жизни. После этой операции общее, однако, состояние его здоровья стало улучшаться.

Покойный вновь начал интересоваться газетой, снова начал много читать, много гулять и подолгу беседовал с близкими ему людьми.

Прожив несколько месяцев во Франкфурте, Алексей Сергеевич пожелал непременно возвратиться в Петербург, куда и вернулся в апреле месяце.

Пользовавшие Алексея Сергеевича врачи говорили, что могучий организм успешно борется со страшным недугом.

До конца июня Алексей Сергеевич жил в Эртелевом переулке в своем доме. Он не хотел покидать Петербурга. Но недуг развился, и, по настоянию близких, Алексей Сергеевич переехал в Царское Село на дачу.



Здесь он почувствовал себя много лучше. Он много гулял, читал и принимал близких, по несколько часов сряду катался в автомобиле. 8-го августа Алексей Сергеевич почувствовал приступ слабости. Прибывшие к нему врачи признали осложнение со стороны легких. К 10 часам вечера Алексею Сергеевичу стало значительно лучше, сознание, несколько омрачившееся во время начала болезни, возвратилось, и он беседовал с окружающими.

К ночи, однако, находившийся при нем врач заявил, что положение внушает значительные опасения, так как появилась слабость сердечной деятельности.

Вскоре выяснилась безнадежность положения, и в ночь на 11-е августа знаменитого публициста и общественного деятеля не стало.

Весть об этой кончине, хотя и не явившаяся неожиданностью для широких кругов русского общества, произвела, однако, и на друзей, и на врагов покойного глубокое впечатление. Все поняли, что отошел в вечность крупный исторический человек, с именем которого тесно связаны были многие и многие страницы отечественной жизни. Выражения скорби семье и редакции «Нового Времени» посылались со всех углов России и заграницы, и по сию пору, когда пишется эта срочная статья, продолжается опубликование соболезнующих телеграмм; газеты продолжают посвящать почившему ряд статей, и общий голос печати, подводящий ей суммарный итог, тот, что Россия понесла тяжелую утрату.

Брненное тело Алексея Сергеевича уже 11-го августа было перевезено из Царского на квартиру в Эртелевом переулке, и непрерывные панихиды по почившем «болярине Алексии» стали наполнять своды белого зала. Толпы народа приходили поклониться праху усопшего, свидетельствуя о том значении, которое он имел для этой толпы. Гроб утопал в цветах и зелени, и бесконечные вереницы депутатов, одна сменяя другую, возлагали к подножию катафалка роскошные венки с разнообразными трогательными надписями.

14-го августа состоялись торжественные похороны, носившие, несмотря на глухое летнее время, величественный характер. Согласно описанию «Вечернего Времени» (№ 222), это печальное торжество протекало в следующем порядке.



Величественную картину представлял собой Эртелев переулочек к моменту выноса тела А. С. Суворина.

Тысячная толпа загрохотала тротуар, далеко выдвинувшись на мостовую.

Среди этих живых стен стояли в два ряда роскошные белые колесницы, сплошь увешанные венками, среди которых и скромные металлические венки от служащих различных учреждений покойного, и драгоценные серебряные венки от разных общественных организаций и высокопоставленных лиц.

Столь же разнообразна и толпа, загрохотавшая улицы: тут и жены рабочих в скромных платочках, и артистки разных театров в траурных туалетах; малозаметная фигура разносчика газет с бляхой на блузе рядом с генералом, грудь которого украшена орденами.

И никто не замечает этой разницы положений и состояний: все стоит, как равные, одинаково желая почтить память почившего.

Около девяти часов утра в квартиру в Эртелевом переулке, где жил покойный Алексей Сергеевич, стали съезжаться представители печати, театра, общественные деятели и многочисленные почитатели покойного.

Тут были старейшие сотрудники «Нового Времени», которые вместе с покойным основали газету: В. П. Буренин, Б. В. Гей, Л. К. Попов (Эльне) и некоторые другие.

Проводить покойного явились все артисты Литературно-Художественного общества (Малого театра).

Артисты Александринского театра Юрьев, Корвин-Круковский и многие другие. Редактор «Света» И. А. Баженов и издатель камер-юнкер Г. В. Комаров, редактор «Петербургского Листка» г. Мамонов, редактор «Обозрения театров» г. Осипов, Л. Л. Толстой, известная женщина-врач Волкова, помощник редактора «Исторического Вестника» Б. Б. Глинский, член совета главного управления по делам печати тайный советник Муромцев, главный режиссер Панаевского театра Е. П. Карпов, бывший долгое время главным режиссером Малого театра, писательница Жуковская, А. А. Плещеев, В. А. Прокофьев, А. А. Пиленко, С. И. Смирнова и корреспондент «Times» и «Matin» Вильтон.



Тут также находился товарищ министра торговли и промышленности тайный советник Барк, командир сотни конвоя Его Величества Тускаев, профессор Кайгородов, главный режиссер Малого театра П. П. Арбатов, директор «Палас-театра» и «Буфф» И. И. Мозгов и уполномоченный этих театров И. Г. Ярон, драматург Островский, известный издатель Голике, сотрудник «Исторического Вестника» К. А. Военский, представитель «Русского Слова» в Петербурге А. В. Руманов, секретарь Союза драматических писателей Б. И. Бентовин, лейб-медик двора Его Величества Л. Б. Бертенсон, поэт В. А. Шуф, корреспондент парижской газеты «Temps» Риве, писательница Загуляева, директор института гражданских инженеров В. А. Косяков, камер-юнкер Высочайшего двора Гарфельд, писательница Гриневская, управляющий книжным магазином «Нового Времени» Кормилицын, редактор «Земщины» Глинка-Янчевский и многие другие общественные деятели и представители литературы и публицистики.

Тут находились все сотрудники «Нового Времени», редактор М. Н. Мазаев и секретари редакции Н. И. Афанасьев и Н. И. Жухин.

Распорядительная часть по похоронам была поручена сотрудникам «Нового Времени» Ю. Д. Беляеву, А. И. Ксюнину, П. П. Конради, К. Я. Шумлевичу, сотрудникам «Вечернего Времени» В. С. Зыбину и Ф. И. Молодзинскому, а также представителям типографии: управляющему И. О. Богданову и его помощнику В. М. Терскому.

Около половины десятого собралась такая масса народу, что было трудно протолкнуться; вся лестница была занята лицами, явившимися отдать последний долг усопшему Алексею Сергеевичу.

У гроба усопшего Алексея Сергеевича собралась вся семья: вдова покойного Анна Ивановна Суворина, Михаил Алексеевич, Алексей Алексеевич, Борис Алексеевич Суворины, Анастасия Алексеевна Мясоедова-Иванова, внуки покойного и другие члены семьи.

Началась лития, которую совершали протоиереи Сперанский, Любославский, Орнатский и Антонов при протодиаcone Солярском и двух диаконах.



Во время литии пел хор Преображенского полка.

Без десяти десять часов утра лития окончилась.

Гроб с останками покойного Алексея Сергеевича вынесли на руках: Михаил Алексеевич, Алексей Алексеевич, Борис Алексеевич и Борис Михайлович Суворины и внук покойного капитан Д. А. Коломнин.

Толпа народа, расположившаяся по всему Эртелеву переулку, обнажила головы.

За гробом следовали супруга покойного Анна Ивановна, дочь ее Мясоедова-Иванова и другие близкие.

Число лиц, сопровождавших прах покойного Алексея Сергеевича, все увеличивалось.

Печальный кортеж растянулся на огромное расстояние.

В тот момент, когда голова процессии с Жуковской улицы сворачивала на Надеждинскую, хвост процессии был еще у Басейной.

За гробом — одиннадцать колесниц с венками.

В самый последний момент почитатели покойного Алексея Сергеевича проносили венки.

По дороге к процессии присоединялись многие видные представители петербургской журналистики, литературы и артисты.

Выйдя на Знаменскую площадь, процессия широким морем разлилась вокруг памятника Александру III. Гроб пронесли правой стороной мимо Николаевского вокзала. На ступенях последнего снизу доверху толпилась публика.

Тысячные толпы народа стояли по обеим сторонам Невского проспекта и в пересекающих улицах, с живым интересом следя за шествием. Окна домов также во всех этажах были усеяны зрителями. В одиннадцать часов процессия наконец подошла к воротам Александро-Невской лавры — места вечного покоя усопшего Алексея Сергеевича. Количество публики здесь было так велико, что народ проходил через узкие Благовещенские ворота в течение полчаса.

Около лавры огромная толпа. Издали доносится трогательно-торжественный напев «Святой Боже», траурное шествие все ближе и ближе.



Вот и в лавре.

Сыновья, сотрудники, друзья вносят гроб в церковь Святого Духа и устанавливают среди церкви на возвышении, утопающем в зелени и цветах, внизу и по бокам располагают те венки, которые присланы прямо в церковь. По толпе проносится говор: сейчас привезен на гроб покойного роскошный венок из белых цветов от Государя Императора.

У церкви образовалась громадная толпа, всем хочется попасть внутрь, но пропускают только близких, родных и служащих. Начинается литургия, служат архимандрит Макарий, благочинный столичных монастырей, иеромонахи Вячеслав и Александр, при иеродиаконе Романе. Поет полный митрополичий хор, под управлением г. Тернова.

На отпевании в Александро-Невской лавре присутствовал товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием камергер Д. Н. Любимов.

В церковь постепенно прибывают писатели: В. П. Буренин, П. П. Гнедич, И. М. Потапенко, А. Т. Аверченко, Б. Б. Глинский, В. А. Мазуркевич, А. Н. Чехов, С. Н. Сыромятников, драматург Острожский, Б. В. Гей, Ю. Д. Беляев, Г. Т. Северцов-Полилов, А. А. Плещеев, В. Я. Светлов, И. А. Гриневская, Н. И. Кравченко, М. М. Иванов, Н. В. Снессарев, В. Е. Рудаков и многие другие; артисты: Ю. М. Юрьев, Ю. В. Корвин-Круковский, Нерадовский, Стронский, В. Ю. Вадимов, Э. А. Миронова и Чижевская; товарищ министра торговли и промышленности Барк; приехали: В. И. Ковалевский, сенатор Бельгард, генерал Винтулов, командир гвардейского экипажа свиты Его Величества контр-адмирал граф Толстой, капитан Подгурский, полковник Елец, член городской управы Болиско, сенатор Васильев и многие другие.

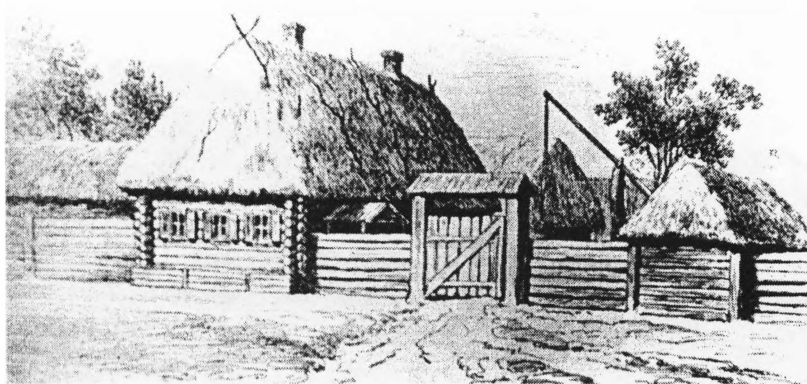
Только в два часа кончились отпевание и надгробные речи духовенства. Сквозь тысячную толпу с трудом пробивается процессия с прахом почившего, и тело опускается в семейный склеп. За решетку могилы пропускаются только представители семьи и лица, собирающиеся почтить память усопшего надгробным словом. Говорят А. А. Пиленко, член государственной думы Н. П. Шубинский, Н. А. Энгельгардт, Б. Б. Глинский, И. П.



Табурно, Н. В. Никаноров (от думской фракции союза 17-го октября), представитель редакции «Times» Р. А. Вильтон, наборщик А. Тюхтяев, А. А. Филиппов, сотрудник «Русского Чтения» г. Мисюрович; в заключение произнес свое краткое слово протоиерей Орнатский, приглашая окружающих продолжать дружно дело А. С. Суворина, на благо России.

В начале четвертого часа печальная церемония кончилась и на фоне голубого неба, утопая в зелени и цветах, возвысился новый белый могильный крест, на котором было начертано историческое имя: «Алексей Сергеевич Суворин».





Усадьба в селе Коршево, в которой родился А.С.Суворин (реконструкция).



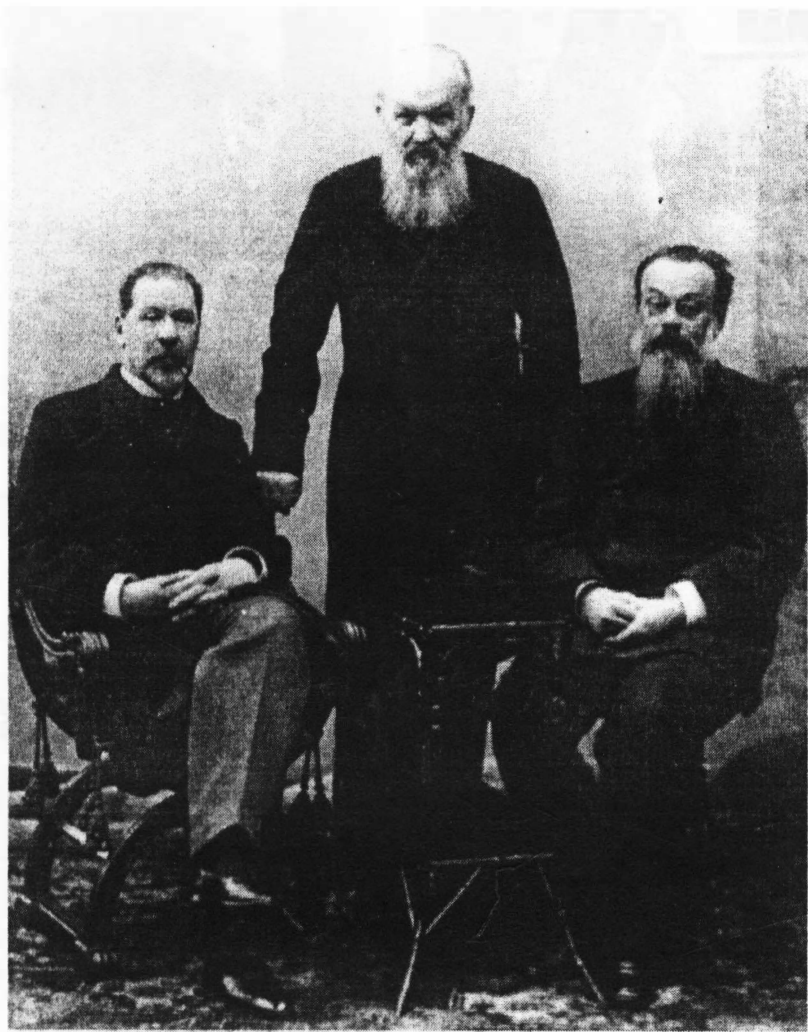
Храм Вознесения в селе Коршево, где был крещен А.С.Суворин. Построен в 1818 году, ныне действующий. В ограде храма сохранилась могила брата А.С.Суворина Петра Сергеевича (1836-1913). Фото 1999 года.



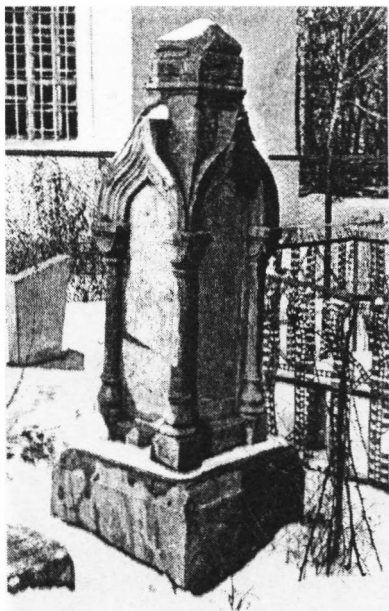
Воронежский Михайловский кадетский корпус, где учился А.С.Суворин. Здание уничтожено в годы Великой Отечественной войны гитлеровцами.



А.С.Суворин, 60-е годы.



В.В.Гей, А.С.Суворин, В.П.Буренин, начало XX века.



А.С.Суворин,
один из последних снимков.

Надгробие на могиле матери А.С.Суворина Александры Львовны (1808-1889) на бобровском городском кладбище. Восстановлено в 1998 году.



Здание четырехклассной школы в селе Коршево, построенной на средства А.С.Суворина в 1907 году. Эксплуатировалось до начала семидесятых годов XX века. Находится в аварийном состоянии. Фото 1999 года.

В. В. РОЗАНОВ

ИЗ ПРИПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОБ А. С. СУВОРИНЕ

 Не хочется говорить ничего систематичного. Буду говорить отрывками. Это соответственнее даже лицу, о котором говорю, соответственнее теперешней минуте.¹⁾

Прежде — человек, физика, фигура. Почти всегда это впечатление:ходишь по невысокой лестнице (2-й этаж); открываешь бесшумную дверь; (Василью):

— Можно?

— Пожалуйте! Пожалуйте!

Проходишь из большой передней в темноватый проход между спальней и библиотекой. Библиотека — огромная комната, с огромным столом посередине, на котором лежат книги и «так» и корешком вверх: и около них что-то копошится маленькая, почти крошечная старушка, Н., — сестра сотрудника Богачева. Она всегда тут. Имени ее никогда не запомнишь. Но она до такой

Розанов Василий Васильевич (1856-1919), писатель, публицист, сотрудник «Нового Времени». Статья В. В. Розанова «Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине» печатается по: Розанов В. В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине (предисловие Н. Н. Лисового). М., Патриот, 1992.

¹⁾ Начало этой статьи, с некоторыми пропусками, было помещено в «Новом Времени» в ближайшую по смерти А. С. Суворина неделю.



степени всегда «тут», что ее знаешь давним знанием — и, вместо здорованья, поцелуешь в темя. Она поднимет глаза: это — тихие глаза, и все лицо — умное, просвещенное. Она «убирает» библиотеку Алексея Сергеевича, распределяет по классификации и составляет каталог. Библиотека — великолепна. И огромна, и интересна, — по изданиям, по предметам. Вся почти из истории литературы. Хотя я раз странным образом встретил там «Творения Кирилла Александрийского». Вообще там много по «духовенству»: А. С. Суворин по матери — сам из духовных. Идешь, иходишь в полусветлую (сзади) комнату. У самых дверей большой прекрасный портрет Новикова, с этим его пальцем, так характерно отогнутым. Против дверей сейчас же огромный стол с новинками книг и журналов. Сколько раз скажешь, чем-нибудь заинтересовавшись:

— Алексей Сергеевич, я возьму эту книгу (т. е. в собственность).

— Возьмите, батюшка.

Отсюда (из прохода — налево) кабинет, передняя стена которого заменена одним огромным стеклом. Все-таки от множества книг и вещей в кабинете — в нем полутемно, вернее — недостаточно светло. Влево — бронзовый бюст Пушкина, работы князя Паоло Трубецкого, — ему понравившийся на выставке и подаренный сотрудниками. Множество столиков — все заставлено чем-то, в большинстве книгами. Книг — множество, они везде — частью громадные фолианты. Бросается в глаза Шекспир — его любимец. Огромные портреты — его первой жены, умершей дочери (Коломниной), Шекспира, Пушкина, Тургенева и Толстого. Еще чьи-то портреты, множество. Вообще «множественность» всего ложится на душу давящим впечатлением. Слева, на половине длины кабинета — всегда пылающий камин. А вон, дальше, и он.

Всегда я его помню собственно в единственной позе: спина колесом и он внимательно ушел «в стол» (письменный, перед стеной и окном), читает или (несколько реже) пишет. Если пишет — «Маленькое письмо», но чаще читает лист завтрашнего набора (корректурa завтрашнего номера) или корректуру книги печатаемой.



Очень часто я его заставлял почему-то за корректурными листами Пушкина, и тут «сверочные» издания: он копался около строк Пушкина, его выражений, и проч. Пушкин был его Солнцем литературы. Он с ним совершенно никого не сравнивал, никого не приближал к Пушкину. Из множества мелькающих разговоров о Пушкине я мог бы, мне кажется, вывести это впечатление о *мотиве* такого исключительного отношения к Пушкину:

«Пушкин *все* знал и *все* понимал. В уме его не было ничего дробного, частного и пристрастного. Полная *закругленность*, полная *всеобъемлемость*. Столь же замечательно редко его *сердце*. Пушкин есть полная правда, и у него нет ни одной строки, а в жизни не было ни одного отношения, куда примешивалась хотя бы частица вольной и даже невольной лжи, притворства, ломанья или позы. Величие правды Пушкина заливает все».

В это определение я не вношу ничего своего, «розановского». Это, по припоминаниям, мелькнуло мне разрозненно в речах Алексея Сергеевича. Я только крупинки смел вместе, в кучку (в определение).

В Шекспире его поражала колоссальность творческого воображения, Шекспира он ставил гораздо выше Толстого, и умнее, и гениальнее. Я не помню его речей о Гамлете; помню, что как иллюстрации шекспировского гения мелькали у него «Король Лир» и вообще трагедии действия, а не размышления, характеры мощи человеческой, а не человеческого ума.

Байрона, Шиллера и Гете, — самых имен у него в разговорах со мною не мелькнуло. Как бы их не было. Это или случайность разговоров, или сущность его отношения. Вероятнее первое. Очевидно, однако, что эти «державшие лиру» гении человечества не зачаровали ума его тем неотстанным очарованием, из которого льются невольные, неудержимые речи, — как зачаровали Шекспир и Пушкин.

Отношение его к Толстому было резко двойственное. Он считал как бы русскою историческою святынею его «Войну и мир», и считал таковою не только за великие художественные качества, но и за душу Толстого в «Войне и мире», т. е. за чувство любви к России в этом великом романе. Здесь, за эту великую



любовь к Родине, он поклонялся Толстому до земли. Вне этого исключительного, выделенного отношения к исключительному произведению, лежало — этажом ниже — его отношение к другим художественным произведениям Толстого. Там был алтарь, здесь — обыкновенное литературное отношение, «жилой дом», «базар», суeta, печать, литература. Восхищение Суворина было восхищением мастера слова к мастеру слова. Затем, еще ниже этажом, лежало отношение к «общему в Толстом», к его жизни и лицу. Здесь было удивление к силе и разнообразию этого лица, к интересу и сложности этой жизни. Суворин во множестве разговоров около Толстого передал мне очень много конкретного, частного, единичного; слов покойных братьев Толстого, им слышанных; переданных ему разговоров сестры-монахини; Софьи Андреевны и проч. Эти-то единичные рассказы о незаметных, исчезающих штрихах в личности Толстого заключались в конце концов, или обобщались в конце концов, в отрицательное и иногда негодующее отношение к Толстому. Суворин считал его, так сказать, на дне всех глубин, в самом «колодце» души, необъятно честолюбивым человеком, человеком необъятного самолюбия, с каким-то всепожирающим «я», которому он готов был принести в жертву, и фактически принес в жертву, Родину, ее святыни, ее историю, ее заветы. В Суворине же постоянно сквозило это: «Мы все относительно сравнительно с Россией, наше дело — *служить* ей, а не *господствовать* над нею». Почти: «самое право наше учить Россию очень ограничено, и мы должны очень осторожно пользоваться этим правом»... «Мы можем предлагать России, но не можем ничего ей навязывать».

Опять я здесь «собираю в кучку» то, что мелькало у Суворина. Толстой был, конечно, гений, но и Суворин — очень умный человек, с которым «посчитаться следует». Суворин был со страшно зорким глазом человек, притом с тою особенностью, что он эту «зоркость» никому не навязывал и скорее держал про себя. Но и не это только. Он слишком много «видел на веку» — людей, положений, страстей, грехов. И, видев громадную панораму, ничему (кроме «целокупной России») не отдал души и ума в плен. В *resumé* всех многочисленных бесед о Толстом, у меня осталось впечатление, которое я выражу, сказав



то, что у меня не раз мелькало в уме, когда я выходил задумчиво из его кабинета:

«Как странно!.. В Ясной Поляне — великий отшельник, с непрекаемым во всем свете нравственным ореолом. Здесь... что такое этот «кабинет Суворина»: суета, шум, перекрещивающиеся впечатления, разговоры, точно «битва пигмеев» (существо газеты, существо «ежедневности») в вихре всемирной растолченности, всемирной раздробленности, всемирной пыли, грязи и ветров. Но в этом «кабинете» тоже сидит имеющий свой тихий час человек, который только кажется, что отдает суете «всего себя», но на самом деле вовсе не отдает «всего себя» одной суете. Оттого, что около этого человека вращается всемирная суета, составилась почти всеобщий взгляд, да даже и решительно всеобщий взгляд, что и он сам — суета, жрец «временного», с душою не глубокой и грешной. До чего же поразительно это открытие, которое вот я делаю в этих уединенных беседах, почти подслушал, почти подсмотрел, что на самом деле «суета сует», человек без нравственного выдающегося признания за ним, гораздо превосходит чистотою простого и доброго, простого и благородного отношения ко всем вещам мира, того угрюмого и святого отшельника, того всемирного порицателя, отвергателя и критика».

Это было удивительно. «Что такое мнение Суворина перед Христом и Богом?» Казалось — ничего. «Мнение Толстого перед теми же Судиями?» — «О-о-о!» Во всяком случае — «Много». Но я хочу, чтобы запомнился этот мой определенный взгляд, что это мнение «странника в суете мирской» на самом деле ближе к Богу, ибо оно было неизмеримо человечнее и как-то именно благороднее всемирными сочувствиями, а самое главное — своею натуральностью, своею правдой, своею естественностью, нежели то мнение пророка, глашатая и постника (вегетарианский стол и прочие «опрошения»). И вышло это потому единственно, что один в тайне все молится *себе*, может быть, от преизбыточества гения, а другой, и считая себя *относительным*, — служит Неведомому Богу, который конкретно перед ним мелькает как *Родина, Земля, Суета* (даже).



Да — Суворин поклонился *пыли*. Пыли, как частицам, отделившимся ото всего в мире. Это был, пожалуй, пантеизм суеты. Но в этом пантеизме суеты есть кое-что и из христианского смирения. Тот же как-то невольно поклонился Одиночеству и Угрюмости; в которую, если навести подзорную трубу в ее религиозную даль, то увидишь одну огненную букву: «я», «Я».

Вот в чем дело. Видел и свидетельствую. Много удивлялся и прихожу к этому заключению.

Совершенно исключительная была какая-то нежная любовь Суворина к Чехову. К другим он питал интерес; считал их полезными России, и т. д. Из всех этих сложных отношений выделялась его любовь к Чехову как личности — и только; больше — к личности, чем к литератору, хотя он очень любил его и как литератора. Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро ходил), все браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон... Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка, или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал... хотел, хотел... гроб!!

Удивительно. Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему: «Пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах, покое и жене», — то Суворин бы сказал ему: «Располагайтесь во всем у меня». Буквально. Да я что-то такое и видел в кусочках, подсмотрел.

Чехова, в литературном мире давнем и новом, он больше всех любил.

Манера беседы — всегда одна: услышав (заглушаемые по ковру) шаги, он загибал голову... Сидел еще минуты две-три. Вставал — и разговор был на ходу, взад и вперед по большому кабинету. Манера — величайшая живость... смех, тихий, небольшой, смех какой-то «в увлечении»... припоминания, факты, мно-



го фактов... факты в ответ на мысли, факты как аргумент мысли и пропедевтика к мысли. Он совершенно никогда *не рассуждал*, не делал умозаключений. Силлогизм был создан без Суворина и не для Суворина. За 12 лет я не помню ни единого его «суждения», ни разу не слышал слова «следовательно». И уверен, что слово «следовательно» не встречается нигде в его сочинениях. Что же это была за речь? Великолепие знаний, наблюдательности, «приглядывания к людям», сурового суждения людей. Он бывал суров:

«— И сколько раз, когда они гнели (угнетали) меня, хотели закрыть мою газету, я говорил в себе: «Мерзавец! *Я умнее тебя и я переживу тебя!*»

Со страшной силой удара в «умнее» и «переживу».

Я удивился. Никогда таким не видал его.

— Звонок (телефон). Приказание: «явиться в кабинет министра внутренних дел в восемь часов утра». Я старик: в восемь часов утра!!

...Вы поймете, что я не спал всю ночь. В восемь часов утра вхожу к Сипягину. Черный, гневный:

«*Это что такое?!!*»

Подает *Приложение* к «Новому Времени».

Беру. Смотрю. И говорю: «Приложение за субботу» (или «среду», не помню в разговоре).

«А что это?!»

Указывает на портрет.

«Портрет».

«*Почему* вы его поместили?»

«Не знаю, почему. Редактирует «Приложения» N. N., я их и не смотрю. (Прочел подпись.) Да это же (такой-то принц или принцесса), должно быть, в связи со свадьбой поместили. Вообще — не знаю «почему», но без сомнения есть основание».

Долго смотрит на меня. Действительно убеждается, что я не знаю «почему», а злоумышления, очевидно, не было. Оказывается: с этим заграничным принцем была какая-то история, неприятная и для Петербурга, и Сипягин вообразил, что я поместил портрет его, чтобы оскорбить того-то и того-то, посмеяться над тем-то и тем-то.



Они вообще набитые дураки. В (таком-то) году, в подвальном этаже дома, где тогда помещалась редакция, отыскиали не то заговор, не то бомбы. Что вышло из этого!!! Министерство внутренних дел верить не хотело, что это без моего ведома, даже верить не хотело, чтобы я тут не принимал какого-то участия. Сколько мне стоило усилий развязаться с этим. Они вечно ищут впотьмах и хватают кого попало. Существование же газеты в прежние времена было так хрупко».

И он передавал много случаев: один раз только заступничество графа Дм. Ан. Толстого перед Государем Александром III спасло «Новое Время» от требования кар, чуть ли даже не закрытия, по настояниям берлинского правительства и германского посла в Петербурге. Толстой сказал Государю: «Я не нахожу возможным наложить на «Новое Время» никакой кары, потому что германский министр внутренних дел не налагает никаких кар на немецкие газеты (такие-то), тоже позволяющие себе неосторожные выражения по отношению к особе Вашего Величества».

Кажется, тогда был задет германский государь.

В суждения свои он влагал иногда нечто физиологическое: — Витте, я слышал, преспокойно может забыть, что у него не переменены (за неделю, должно быть) носки, и проходить две недели в грязных носках. На себя и свою обстановку он не обращает никакого внимания.

Это было в общем разговоре (со многими), и он привел черту прыткости, беспокойного движения все вперед и вперед этого министра, где он забывает свой комфорт и удобства. Суворин привел это с большим одобрением, и с натиском в мысли, что в движениях министра и должно быть нечто «головокружительное», «напролом», «на штурм, хотя бы без сапог». Что министр «сладкоежка» и любящий мягкие кресла — уже не деловой министр.

Кстати, сам Суворин в прежние годы ходил в сероватом пиджаке, довольно заношенном; последние годы — в пунцовом ватном халате, надетом на белье. Лучше бы — синий. Но это «как сшили».



Куда он ни отправлялся, ему в чемодан, в белье, клался образок. «Вынимаешь белье и всегда найдешь этот незаметно вложенный образок», — говорил он мне как-то любяще и благодарно. Уверен, этот «образок» сыграл свое значение в том, что он вообще не любил, когда говорят против Церкви. Допускал на страницы своей газеты, — но этому молча не сочувствовал. «Русь как стоит — пусть стоит». Это в нем говорил и государственный крестьянин (дед), и воин (отец), и это осталось в журналисте.

Года четыре назад он сказал как-то мне:

— Как хороши *утра* в Петербурге. Эту зиму я встаю рано и выхожу гулять на Литейный. Попадается множество гимназистов и гимназисток: и бегут, бегут! Какие милые, здоровые, веселые лица.

Я почувствовал в тоне: «Хороша наша Россия, и врут те, что говорят, будто она гниет» (или опускается).

Как-то, вернувшись из Москвы, куда он ненадолго зачем-то ездил:

— Там носят *картузы*!! Москва ни о Петербурге, ни о всей России ничего знать не хочет, и носит *картуз*, который, я помню, видал в юности своей, но вот уже лет тридцать ни на ком не вижу...

И он смеялся весело и одобрительно, и, как всегда, моментально увлекшись:

— Картуз! Картуз! Что такое шляпа? Это — чужое, подражание. Настоящая русская *шапка* — конечно, картуз...

О загранице:

— Приедешь в Россию: грязь, сор, вонь, неудобства. Проживешь недели две, махнешь рукой — «Ничего!» — привыкнешь и не чувствуешь.

Еще:

— Салтыков приехал из-за границы. Я поехал к нему узнать впечатление. Говорит: «Народу нет!» — «Как *народу* нет?!» — «Человека нет!» — «Как *человека* нет?!» — «Какие же это люди — мелюзга! Нет большого, крупного человека. Народ пошел мелкий. Против нас куда же это?» И передал, что при всей нелюбви к жандармам он как доехал до границы — подошел к громадному жандарму на русской границе-станции и подарил ему три рубля,



ничего не объясняя. «Потому что он большой». И Суворин заливался его прелестным, хочется сказать — детским, смехом.

После прочтения Менделеева «К познанию России»:

— Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удается, во всем мы отстали. У Менделеева я перечел цифры возрастания территории России (и, кажется, цифры промыслов и населения): за мою жизнь, вот 50 лет, как я оглядываюсь сознательно, Россия до такой степени страшно выросла, увеличилась в землях и во всем, что едва веришь. Россия — страшно растет, а мы только этого не замечаем за хмуростью своей и «ежедневностью».

И мне показалось это отсветом многих дней и ночей, тысяч дней и ночей — когда этот по-видимому «тихий старик» следил из Эртелева переулка:

— «Растем ли?» И даже — «Скоро ли?» И горевал, и радовался, и унывал, и надеялся.

Он был весь «в росте»: пожалуй, это его господствующая идея. Не «добро», не «нравственность», не «идеал совершенства», а это физиологическое, солдатское и бабье, как бы брюхатой бабы, чувство:

«Больше! Больше ребят, больше хлеба! Больше всего: еды, довольства, движения, человеческих голов, земли, богатства, всего решительно!»

Это — чувство хозяина; экономиста не «за книгами», а «в деле». Это есть то хлебное чувство роста, против которого никогда не выстоять худощавому «прогрессу», который тараторит слова о нем, и, в то же время, как чахоточный кашляет от всякого движения Родины, злится на всякий успех ее.

Вне этого чувства «роста России» и *соотношения с ним* нельзя понять Суворина и он не представим в самой фигуре своей, в ежедневности своей. С этим я связываю одно замечание, почти под нос себе сказанное, — старого его сотрудника:

— Суворин *всегда был прогрессивен...* Как могут говорить о его ретроградности: до сих пор, до таких лет, он только и думает о прогрессе всего, решительно всего; думает об этом в подробностях, в частностях, в поименности, — а не в общих фразах, ни к чему не относящихся.



Это было глубоко верно. У «сотрудника» это сказалось как отложение 35-ти лет почти ежедневного видания Суворина; я же, знающий его полтора десятка лет и гораздо реже видая, схватил во внимание эти слова, как прекрасное и полное определение. Сказано это было после юбилея Суворина, — когда везде печаталось, что «писатели не пришли к нему сказать доброе слово, потому что он *ретроград*». Нужно сказать, что и Суворин отнесся глубоко спокойно к этому «не пришли», и «сотрудник» сказал эти слова без всякого вида раздражения, а только в недоумении.

С «хлебным прогрессом», я думаю, связаны и такие его издания, как «Вся Россия», «Весь Петербург», «Вся Москва»: они с такой *необходимостью* вытекают из всего его отношения к России, из суммы его чувств к России. Ведь тут вовсе не «адресы»: а *указана, исчислена и переименована* вся торговая, промышленная, деятельная, вся *хозяйственная* Россия. А «быть хозяином», дышать «как хозяин» — это суть Суворина. В его изданиях показан каждый переплетчик и весь «переплетный промысел», каждый обойный мастер и все «обойное мастерство». Мне он передавал как-то затруднения и почти капкан, сделанный ему Департаментом торговли и мануфактур в деле издания «Всей России». Я не очень помню и даже тогда не очень понял; но помню эти слова:

«Ну, где же можно получить все эти *сведения* — конечно, их имеет один только Департамент торговли, который обещал» и проч. и проч. «Я сделал уже огромные затраты, до 15.000 рублей, когда вдруг получается приказание: «Не выдавать сведений». Я поехал — туда-то, к тому-то». Интересно, что Департамент торговли ставил препятствия к изданию столь необходимого для торговых людей справочника. «Им что Россия», — слышалось в раздраженном тоне С-на...

Вообще нашу бюрократию, с ее вековым космополитическим духом, с ее черствым формальным либерализмом, — бюрократию, глухую ко всему русскому, ко всякой чести и славе России, даже к пользе и счастью России, он хорошо знал и никогда не переоценивал. Как-то он говорил мне о давнем желании своем издать учебник, кажется, по истории, и вообще о желании издавать учебники: это так вытекало опять из «всего Суворина». И



заклучил ответом, какой услышал от Полубояринова (миллионер, издатель учебников):

— Оставьте, Алексей Сергеевич!

— Почему?

— Вы не знаете, не сумеете. Ну что, что вы напечатаете отличный учебник: его никто не купит, он не пойдет.

— Почему не «пойдет»?

— Потому что не будет «одобрен».

— Почему же, если он отличный?

— Все равно. Ведь нужно «провести одобрение», а вы этого не сумеете. Не знаете ни лиц, ни ходов. Оставьте это дело *нам*. Как «проводить» — мы вам не скажем, сами же вы встретите «неожиданные препятствия», которых ни обойти, ни победить не сможете и не сумеете.

— Я должен был бросить дело.

«Прогресс в России» или «освобождение и свет в России» и заключается, конечно, в медленной и упорной, в стойкой и, наконец, победной борьбе с такими «заграждениями» на всяком шагу перед русским трудом и духом, перед русским человеком; заключается в медленном распутывании всех этих паутин, этого мочала около наших ног и рук. И вот эту-то борьбу десятки лет нес на своих плечах Суворин, чрезвычайно много сделал для нее своей могущественной газетой; и с таким грузом невидимых или мало видимых, не шумных, дел за спиною мог спокойно слушать, когда газетные и журнальные сороки стрекотали кругом его: «Суворин не либерал».

О знаменитом генерале, отправившемся «в поход Мальбрука» на Восток:

— Знаете, когда я перед самым его отправлением из Петербурга видел его последний раз, то, смотря на его тусклые глаза, при небольшом росте, подумал с тревогою: он — *тупой*. Так и вышло.

Он махнул рукой. Мне приходилось в редакционных кругах спрашивать, почему сам Суворин так его рекомендовал, на него указывал (за это *потом* многие упрекали Суворина). Мне отвечали очень основательно:



— Рекомендация, действительно, была ошибочна. Но скажите, кого бы *в то время перед войной* указали вы сами? Указать было некого; на виду, из не дряхлых, был только он. И ореол Скобелева, около которого он когда-то стоял, — все как-то обмануло...

И все-таки у Суворина, по чисто физиологическому основанию (глаза), мелькнуло в последнюю, увы, слишком позднюю минуту: «он — *тупой*».

Помню, перед самым отплытием (или отъездом) на Восток у Суворина обедал и провел вечер тоже знаменитый и потом опозорившийся адмирал. За обедом он сидел рядом с умным Кладом. Тут я был опытнее Суворина:

— Знаешь, — сказал я жене, вернувшись домой, — он *трус!*

Не было никаких признаков: адмирал, еще почти молодой красавец, лет 40 — 50, был с виду «волк»... Но он все обращался (за обедом) к Кладу, державшему себя с достоинством, и было что-то неумовимо заискивающее в его речах, в живом и уже слишком подвижном голосе и манерах; как и потом было что-то «смахивающее муху» в рассказе о своем полуудавшемся подвиге на Дунае (в Турецкую кампанию). И неудержимое впечатление нравственной ничтожности и именно с оттенком боязливости легло на мою душу. Потом я встретил его на одном «состязании», где было множество публики и был Суворин. Вспомнив «прощальный обед», я удивленно спросил одного из друзей:

— Почему же они не здороваются?

— Алексей Сергеевич избегает встречаться с ним (или «избегает кланяться», «отворачивается» — не помню).

Мука войны прошла у Суворина как отвращение ко всем, виновным в поражениях; и следовательно, тут не было, в «рекомендациях», ни тени личного отношения, личной службы, личного угождения: потому что можно было и при «неудачах» как-нибудь оправдывать, оговаривать неудачи, «вызволять» дружка. Газета слишком подвижна и слишком могучее орудие, чтобы с помощью ее нельзя было оказывать поддержки и «человеку в несчастье». Но Суворин *указывал*, потому что *надеялся*: и когда «люди надежды» обманули Россию, в них все для Суворина умерло.



Разговоры на быстром ходу все ускорялись — и у меня лежит в душе впечатление от них, как от дыма и искр, стелющихся за пароходом, когда он шумит на взморье «за границу». Так и в разговорах — «все вдаль» и «уносясь». Почему-то всегда наши слова перебивались смехом. Он много припоминал, рассказывал. О Воронеже, о Никитине и де-Пуле, о первой «интеллигентной книжной лавке», которую завел Никитин и которая в то же время была вроде «клуба на ходу» для местной молодежи тех дней. В воспоминаниях его чувствовалась веселость и счастье. Впечатлительность Суворина была безмерная. Уже много лет его зная, начиналось думать: «А ведь он никакому впечатлению *не отдается слепо*». Это очень позднее соображение и наблюдение: но, помню, первые годы знакомства я удивлялся: «что же это за Суворин — точно мальчик! Как подвижен, смеющ, и все искры, искры: где же *фундамент?!*» Но фундамент был. Только Суворин его никогда не указывал, не паялся фундаментальностью и основательностью своих убеждений. Он был слишком для этого благодарен, правдив и прост.

Через годы лишь знакомства, через какие-то побочные штрихи в разговорах, я увидел, что у него есть великое молчание в душе — о России. Не помню ни одного случая, чтобы он *прямо* говорил о России, о качествах ли ее, об интересах. Ведь вся речь его была дробна и конкретна, а в конкретном он все как-то поругивал. Но замечалось, что все «поругиванья» имеют, однако, один склон: все клонилось к тому, все проистекало из того — «ах, зачем России не так хорошо, как *могло бы*». Я себе могу представить Суворина, пробирающегося, как тать, тоже в нестиранных чулках, в темный чужой дом, где живет язвящее Россию существо, — и что он в сердце его ударяет ножом. Это я могу представить. Я уверен, что добрый, мягкий, уступчивый Суворин, так, по-видимому, рассыпающийся в речах, имел молчаливый, черный гнев на врага России, безымянного и темного, пожалуй, неопределенного и неведомого, который грызет ее кровь и мозг. Где имя этому *врагу*? Где его *место*?.. Суворин не знал, не мог бы назвать одного име-



ни. Но что вот гнев этот есть у него, я *через много лет* увидел, догадался...

То, о чем я говорю, никак не перешло на столбцы газеты. Те бури и гнев, которые там раздавались, — все лежали этажом ниже; все это были «конкретности» и «пустяки», «так» и «этак», один год и другой. Это был «глухой гром» за горизонтом, разные громы, с разных сторон горизонта. Суворин и больше любил, и больше гневался, чем как умел это передать в газете. Вообще, как ни сложно «Новое Время», Суворин *сам* был сложнее и разнообразнее его; был неуловимее его. Так называемые «колебания газеты» (мнимые) лишь отчасти и слабо выразили душу Суворина, всю сотканную из «муара», особенной материи, на которую глядишь «так», и она отливает иссиня, повернул иначе, и вдруг она кажется с пунцовым отливом, посмотрел «от света» — блестит, как белая сталь, повернул к свету — она черная, как вороново крыло. У Суворина была огромная, любящая душа; нет, великие деятельности — а он, конечно, был великим деятелем — не создаются из душ «так себе». Эта огромная душа не была рассмотрена за пылью, которая кругом его кружилась (существо газеты). Но она была, эта большая душа, в нем; и она была вся чистая, «сама в себе», одна и никогда никому да не подавалась.

Это — самая удивительная его особенность. Он казался весь податливым. В сущности — он был совершенно не податлив. Говорил одно и другое. И — думал одно. В 12 лет близкого знакомства я видел его «во всех мнениях», и хорошо знаю, что вижу *того же* Суворина, *без йоты перемены*, как увидел в первый раз. В его «переменах» (кажущихся) был как бы закон этих перемен, все их объединявший и вводивший в одну формулу. Удивлялся я многим пометкам на его корректурах, и всегда выводил одно: «он хочет, чтобы ты не говорил ничего, кроме того, что у тебя на душе...» Это «у тебя на душе» могло быть враждебно Суворину, и он это пропускал, т. е. печатал то, с чем был не согласен. Напротив, бывало то, что «вполне согласно с газетою» и «мило самому Суворину» (знал по разговорам), но в тоне изложения ты допустил неправду против *собственной души*, сказал чрезмерно то, что по существу обыкновенно, и Суворин



каким-то инстинктом это вычеркивал. Каким? В *слоге* он подмечал неправду: и не хотел никакой. Как-то мне случилось излишне патетично сказать об Александре II — не помню, с семейной или религиозной стороны. В тоне было преувеличение и слащавость (кажется, просто в одном эпитете, т. е. в одном слове). Суворин написал сбоку карандашом: «о, Господи!» Это сейчас вернуло меня к трезвости, и место, конечно, было вычеркнуто (мною).

Это поразительное явление, что он не хотел «суворинской правды», сказанной не таким слогом («стиль — душа вещей»), и без малейшей в себе болезненности пропускал в свою газету то, с чем был вовсе не согласен ни по существу, ни для пользы России, если опять же по слогу («душа вещи») видел, что тут горит твоя индивидуальная душа. Это явление было прекрасно и благородно. Из крупных и памятных вещей приведу весь вопрос о разводе, который я много лет проводил в «Новом Времени». Суворин много о нем говорил со мной, и у него сочувствия к разводу не было. Он был к этому спокоен или чуть-чуть даже враждебен. Уже потому враждебен, что это задевало Церковь, которую он любил по памяти матери-протоиерейши (о ней он много рассказывал). Но, видя, что это меня «очень забрало», да и убеждаемый (в разговорах) примерами, случаями, какие я ему рассказывал, он пропустил на страницах газеты многолетнюю борьбу за развод. Это один пример. Но есть и еще несколько, когда он пропускал «кампании» в своей газете, стоя далеко с ними не в согласии, потому что видел одушевление сотрудников, что они лезут в борьбу, в отстаиванье, или — в нападение. Старик улыбался благородной улыбкой и не говорил, а будто думал: «Что же, не я один умен. По мне, вы дураки и ничего не видите: но когда вы так хотите, то тут, может быть, Божий перст». Так вся «кампания» в пору аннексии Боснии и Герцеговины была проведена без его желания. «Германия есть самая основательная страна в Европе, и германцы самые основательные люди в Европе. А мелкие разные народности и наши сердечные чувства к ним, то ведь что же это значит в истории и политике, которые прежде всего есть громада и вечность, ну не вечность — то века. Нельзя уходить от века, гоняясь за днем».



Так, помню, он говорил в кабинете. А внизу, в «редакции», шумели проклятия против Германии. Передаю, как это пронеслось около моего слуха.

Суворин старел и рос. Из таланта «Незнакомца», который весь горел и по молодости был полон своим «я», он вырос в мудрого и благородного старца, который понял, что «если жить для эгоизма, то вообще не стоит жить». Не интересно жить для славы, для богатства. Вся эта позолота «я» не дает настоящего удовлетворения. «Незнакомец»-Суворин, конечно, был бы богаче, много знатнее, а главное, был бы неизмеримо более прославлен, чем как все есть теперь. Если бы Суворин остался Чацким-«Незнакомцем», трудно передать тот ореол и значительность, какой бы он достиг. Каждая его острота повторялась бы стоустою печалью, и он пожал бы всю жатву прославления и денег, пошедшую в короб Горькому и Л. Андрееву, но только умноженную еще на силу первенствующей и европейской газеты. Вот этот-то миг, точнее — тянувшиеся 5-6 лет колебания, и были святыми в жизни Суворина. Весь, по-видимому, «в изъявлениях» мыслей и чувств, он о самом главном в жизни и в душе был «вовсе без изъявлений». Кажущееся противоречие здесь — муар Суворина. Крестьянский и солдатский сын, он сказал в себе — «не изменю отцу и деду». «Не изменю, а стану вести крестьянскую соху, буду держать солдатское ружье, буду это — никому не говоря, не советуясь ни с женой, ни с сыном, и как бы меня ни судили». Вот этот миг созревания Суворина — был великий. Повторяю: слишком очевидно, что «Незнакомец» был бы втрое богаче и влиятельнее «Суворина». Но он из «Незнакомца» родился в «старца-Суворина», чтобы запрыгав в огромный и тяжелый воз, именуемый «Россиею», — воз еще на неопределившейся дороге, в темноте, мраке, среди разбойников на дороге, и в топкой грязи. Он, никогда почти не упоминая о «Боге» и «Христе», имел когда-то тихую часовеньку, в которой сложил в угол блестящие аксельбанты Герцена, просившиеся естественно на плечи «Незнакомца», и надел серую солдатскую шинель своего отца, чтобы идти в трудный и опасный поход, идти всюду, где пойдет Россия. Он пошел парал-



лельным фланговым ходом около лошадей, везущих воз — правило, — разглядывая еженощно путь (ночная работа газеты, эти вечные его корректуры ночью), понукая, не давая заснуть, ободряя, поддерживая. Давая пойла — усталому, стегая кнутом — ленивого, отгоняя вовсе — хищного или злого. Никто, конечно, не в силах указать, чтобы был хоть один случай, когда Суворин слился с «направлением лошадей и возницы, везущей воз» — слепо, мертво, не рассуждая. Никто не сможет указать, где бы он, *сознавая будущий вред*, — стоял за вредную меру для России. Суворин был зоркий человек, но меры предвидения и для него ограничены. Никто не знал, что Куропаткин окажется так неспособным, никто не мог предвидеть, что так окончится война с Японией; в те краткие, но сильные минуты, когда длилась революция, никто не думал, что она не будет в выигрыше. Суворин был совершенно нравственно прав, думая, что для будущего прироста населения в России не мешает земля в Корее. Это — хищничество, но тоя, которое от Рима до Германии позволяли себе все государства. В эпоху революции я помню его слова. Он созвал всех сотрудников и поставил вопрос: с кем идти газете? Куда ей идти? Все ушли «в неведомую даль». Поднялись рассуждения, споры. Поднялись «следовательно». Вдруг Суворин, кажется, вошедший в совещание (совещание было без его присутствия), сказал, что «неведомыми далями» нельзя отговариваться от тревожной минуты сейчас и сотрудники должны решить один конкретный вопрос, который лежит перед всеми русскими, перед целою Россией: станем ли мы на сторону революции и будем добиваться учредительного собрания, или мы становимся на сторону правительства? Я, зная «муарчатость» Суворина, был поражен предложением столь конкретным, отчетливым, не смутным ни в одной букве. Вообще в великие минуты Суворин не знал колебаний. Сейчас — не помню решения, которое вынесли сотрудники. Хорошо помню, что все они, столь страстные и пылки в других, более мелких случаях, здесь обнаруживали гораздо более Суворина неясности и колебания. Всем хотелось «идти вперед» и с «ура»: но ответить, как спрашивал Суворин, становимся ли мы *на сторону революции и революционеров*, никто не решился. А вопрос был именно в определенном слове, в *одном слове*.



Всем также ясно, что ни в какие решительно годы «газета Суворина» не становилась на сторону безраздельно всего правительства, всех правительственных лиц; всем памятно и все знают, что количество жестокой критики, высыпаемой на правительственные мероприятия, всегда почти на правительственную вялость, неумелость и бесталанность, — превышало количество одобрений. А раз это *так* — не может быть никакой речи о «Суворине, *идушем* за правительством». Этого вообще никогда и не было. «Тон делает музыку»: и есть нечто неведомое «в кулуарах газеты», чтобы у кого-нибудь, у крупных или у второстепенных сотрудников, была хотя малейшая озабоченность о том, «не разойтись бы с правительством», или «как думает правительство». Хотя невероятно, но было так: никто не заботился и о том, «так ли думает Суворин». Установилось как метод и дух, что сотрудник должен писать то, что видит, что знает, — как думает. А уж там, «наверху» (в кабинете Суворина), или предварительно в одном из редакционных отделов, — отъемлется то, что лишнее. Как я раньше объяснил, «лишним» оказывалось все неправдивое, все неискреннее, всякое преувеличение, грубость тона, слащавость тона; пороки души и никогда пороки политики.

Как известно, в финляндском вопросе происходили иногда колебания *целого* правительства. И вот я помню, опять же больше ухом, чем умом, фразу, темной ночью, внизу редакции: «Ну, прекрасно (был назван величайший авторитет в этом деле, «повернувший корабль»): *он* хочет так, а мы будем говорить свое». Слова эти, сказанные редактором постоянному по финляндским делам сотруднику, т. е. решавшие «кампанию» на эти месяцы, показывают абсолютную независимость газеты от правительства и правительственной политики, от какого бы авторитета эта политика ни исходила.

Еще одно обвинение, более забавное, чем серьезное, но которое необыкновенно часто повторяют: «А объявления?» Сокрушенно мне писал один врач с Петербургской стороны: «Писал Меньшикову, писал Столыпину, теперь пишу вам: обратите же внимание редакции»... приблизительно на то, что много бары-



шень ищут «приюта у одиноких» и что в Петербурге есть хорошенькие «натурщицы». Я ничего наивному врачу не ответил, но скажу однажды навсегда, что в городе с двухмиллионным населением, где сосредоточены все высшие учебные заведения и стоит гвардия, неотъемлемо есть и будут «натурщицы» и «по хозяйству», что это было еще во времена праотца Иакова и сынов его («блудница, сидевшая у ворот», которой Иуда «дал перстень») и что вообще это есть порок человечества, а не порок Суворина. «Но зачем объявления?» Да затем и «объявления», что есть торг, есть унижительные и порочные социальные положения, социальные формы средств жизни, со своей нуждою «спроса» и «предложения», и спорить против «объявлений» — значит спорить против пустяков, против бумажек напечатанных, а не против существа дела, которое непобедимо для пророков, мудрецов, для царей и законодательств. «Отчего Суворин не борется с тем, чего не может побороть Вильгельм германский?» Понятно, «отчего». «Но зачем же он пачкает газету?» А вы хотите, чтобы пачкались заборы объявлениями? Чтобы без «объявлений» натурщицы брали вас за рукав на улице и т. д.? Все это — просто глупо, и я бы не оспаривал этого, если б оно так часто не повторялось. «Объявления» эти, впрочем, не играют никакой роли, не занимают никакого места во внимании редакции; и в финансах газеты, при громадной массе прочих объявлений, не играют также роли. Параллельно этим платным объявлениям всегда печатались в газете (при единоличном владении Суворина) многие объявления *бесплатно* — о труде и от тружеников, между прочим, от бедных учительниц и курсисток «по урокам». Если бы дело было в денежной стороне порочных объявлений, то, для устранения порицаний, стоило бы редакции выбросить параллельно и блудные и «скорбященские» объявления, и она, не потеряв ни одного рубля, избавилась бы от многолетних бешеных и язвящих укуров. Это — вообще. Но и прибавлю кое-что личное. Как писатель, я скажу: а разве не страшно любопытство — пробежать глазами столбцы этих объявлений, «самых тех, которые бесстыдны», и задуматься, и сообразить *по ним* клокочущую и мрачную панораму жизни, и ужасную, а порой — и трогательную («последний рубль — помогите, кто может!»). «Объявления в *«Новом Времени»*... Читайте их, читайте все, всякие: пока



гремят «передовики» и блещут в красноречии фельетонисты — смотрите *подлинную жизнь* в этих «объявлениях», жизнь в ее ужасных «зовах», в ужасных восклицаниях, призывах к жалости, призывах к разврату и тысячекратно более в призывах к труду, в поисках должности, службы, работы. Какие это звуки, и сколько под ними картин! Каждое объявление — что экран или ширма: им закрыта и через него просвечивает длинная повесть, длинный роман; просвечивает трагедия, просвечивает водевиль!

Ах, «объявления»... Они — *нужны*, и нужны — *в полноте*. Что там лакомиться кусочками действительности; мы — не дети.

Что «объявления» никого и никогда не ввели в соблазн — это ясно из существа «объявления». Оно говорит тому, кто его *смысл* понимает, кому этот «зов» нужен. И никого неведущего ни к чему не влечет. «Неведущим» смысл их даже непонятен.

Значение Суворина мало-помалу было разобрано, где следует, и само собою установилось, что люди, тревожные в совести около великого «воза-России», стали искать его совета. Приблизительно в 1900 году, или около этого, он давал мне читать свой *отзыв*, напечатанный в единственном экземпляре, — не помню, в ответ ли на просьбу Витте или скорее — Плеве. Я помню, дело касалось всех сторон государственного управления и что по всем рубрикам Суворин сказал свое: «Нет *творчества*». Критика существующего была сурова. Через его «Записку» (страниц 30 — 40 небольшого книжного формата) была проведена мысль, что общество не может не волноваться и даже разные «инциденты» не могут не происходить, пока вся правительственная деятельность заключается в одной борьбе со студентами и курсистками, т. е. в отсутствии всякой *собственно-государственной* деятельности; ибо студенты — не Россия, а только студенты, забота о которых не есть забота о России. «Дел правительства вообще *никаких нет*»; «правительство ничего *не предпринимает*», «правительство ничего *не начинает*» — эти указания и укоры звучали во всяком абзаце. Вот такие «записки» Суворина, которые будут же разысканы в его архивах и когда-нибудь напечатаны, объяснят очень многое. Но, в общем, они объяснят то положение,



какое создал сам себе Суворин: как бы негласного и невидимого министра же, к голосу которого, *к опыту и уму* которого хотелось прислушаться каждому министру, — мнение которого вообще хотелось знать правительству, даже *нужно* было знать правительству; ибо для очень многих лиц легче было услышать что-нибудь между четырех глаз, нежели выслушать то же самое, едва ли даже всегда смягченное, перед миллионом глаз, и судящих и смеющихся. Можно говорить или думать, догадываться о зависимости — идейной или какой-нибудь «в оттенках» — правительственных лиц от Суворина, но ни о какой зависимости Суворина ни от всего правительства в целом, ни от отдельных его лиц, конечно, не может быть и речи.

Среди частных на эту тему. Однажды он спустился вниз (в редакцию), но не нашел, кого искал, — и, случайно увидев меня, разговорился. Было после собрания 1-й Думы несколько месяцев. Все шумело и горело. Никого в комнате, кроме нас двоих, не было (день, сравнительно рано). Опершись левой рукой на стол, как бы придерживая бумагу или «план истории», он сказал резко, скорее *при* мне, чем *ко* мне: «*Новое Время*» всегда *сюда* и *вело*. Оно *вело не прямо* («муар» Суворина), оно *передвигалось то вправо, то влево*, но, *передвигаясь*, всегда имело в виду *эту самую* точку. И все *пришли сюда*, и Россия имеет то, что ей раньше или позже все равно *пришлось бы дать*». И он чертил пальцем правой руки *ломаную линию* — все *подвигавшуюся* выше и выше на столе.

Еще раньше этого (до *объявления* о Думе), очень резко:

— Я буду требовать Земского Собора и *далее этого не пойду* (т. е. в революции). Если пойдут или захотят идти и дальше, пусть идут. Но *мое* требование — *не меньше Собора*. Дальше, я думаю, идти не нужно.

Не понимаю, как все это назвать — «консерватизмом» или «подпеванием» кому бы то ни было.

Он весь был *сам и целый*. Он знал свой ум. Таланта — его удивительного по *разнообразию* входящих составных частиц таланта — «хватило бы на все». И он тоже это знал. Наконец, он знал, что у него есть то, чего не хватает слишком многим «правительственным лицам»: великое чувство России, чувство Матери, которую разрубить нельзя, которую нельзя судить.



Портреты Суворина, решительно все, не передают совершенно его лица, и потому именно, что не *передают разговора*: а Суворин был «весь в речи» и ничего — «в позе». «Суворина говорящего» — и так экспромтами, с тихим веселым смехом (нельзя представить его себе *расхохотавшимся*) и всегда в увлечении — естественно нельзя выразить в фотографии; хотя, я думаю, мог бы передать его хороший и *долго знавший* художник. Единственный портрет *схожий* — это *исчезающего* Суворина, навеки умолкнувшего, во Франкфурте-на-Майне. Тут — нет обмана. Все прочие портреты, я думаю, *неестественны*: до такой степени, что я, например, стараюсь не смотреть на них, если случайно встретит глаз на листе газеты. «Это вовсе не *то* и не *тот*». И объясняется тем, что всякий раз Суворину приходилось «усаживаться» перед пластинкой и хоть минут на пять (приготовления) остаться неподвижным: это до того выходило «из рамок Суворина», что он естественно скисал, делался моментально нетерпелив и «не в духе». Тогда как «не в духе» я его вовсе не помню, и едва ли он бывал, — разве что в инфлюэнце.

И можно, смеясь, сказать, что все его портреты — «с инфлюэнцией».

Но есть один не «с инфлюэнцией», как и, бывало, одно положение в нем, когда он «держался» и «сидел»: это когда сидел перед министром. Сюда, я думаю, относится большая фотография, в черном сюртуке, где он весь осторожный и напряженный. Таким я его никогда не видел — но представляю, что именно таким он входил к министру, как и бывал на разных «больших заседаниях», куда, я знаю, бывал приглашаем. Правый его глаз тут совсем не такой, как левый: он весь сожмурен и черен, не доверяющий и презрителен, — глаз весь в борьбе, и хищной борьбе. Он твердо знал, что сам он — не «момент» и что не во власти никакого человека — превратить его в «момент»; напротив, каждый министр есть по существу своему «момент» и цветет, лишь пока на него любуются. Эта разница в долговечности и в точке опоры («сам» и «другой») сообщала ему, как сообщает и каждому писателю, чувство огромного своего превосходства и пря-



мо властительности²⁾. Но «на этот час», на этот «недолгий век твой» — «я от тебя завишу», однако лишь настолько, насколько «пренебрег бы быть осторожным». Тут есть качание властей, ментальной и очень сильной, и — бессильной в данный момент, но зато долговечной. Но и не это одно: при «неосторожности» министр, конечно, может причинить бездну неприятностей газете, «истрепать ее нервы» и сделать большие денежные убытки, хотя отнюдь не фатальные при том положении, какое заняло, напр., «Новое Время». Но ущерб в несколько десятков тысяч рублей не составлял «кровоточивой раны» для «Нового Времени». Взамен этого, совершенно легально и не подвергаясь ни малейшему риску, газета такого положения, как «Новое Время», может наделать величайших неприятностей всякому «Ведомству» и отравить министру «час его цветения». Есть тончайшие иголки, которые мучительно колются и которые по тонкости и гибкости своей непреломляемы ни для какой власти. «Щедрин весь прошел» (цензурно), и тоже «Гоголь весь прошел»: этим все сказано. Человек такого гибкого ума и неуловимого в тонах пера, как Суворин, конечно, был большою угрозой для всякого сановника, приемлющего власть и о «распоряжениях» которого он будет «почтительнейше докладывать публике» каждый день.

И вот, мне кажется, этот «черный с провалом» глаз Суворина, на том парадном портрете, выражает это недоверчиво-неприятное осматривание друг друга, когда он сживал в «кресле vis-a-vis». Таких речей, без сомнения осторожных, я от него никогда не слышал. Напротив, он весь был «в неосторожности», со мною и, кажется, вообще в редакции. Но бывал и осторожен: и портрет *этот* дает о таких минутах и часах понятие.

²⁾ Служа при Третье Иване Филиппове и находясь у него «весь в руке», помню — я, тогда еще начинающий писатель, при личных разговорах всегда чувствовал, что «я массу *могу*», чего «ты совершенно *не можешь*»; и это дает, при всем неравенстве служебных отношений, прямо осознание своей *власти* писателю. Это невольно и безотчетно, это просто «есть в кармане». У Суворина, при *своей* газете, и такой газете, каждый звук которой *слышен всей России и значительной части Европы*, — понятно, что такое чувство своей власти в разговоре с министрами — было огромно.



Вытянув губы, весь хмурый, темный, Суворин сказал мне:
— Ничего нельзя печатать. Сипягин рвет и мечет и только ждет придирки, чтобы закрыть «Новое Время».

Я полушутя и уклончиво просил Суворина провести какую-то «с риском» статью о церкви. Слова эти и значили: «Нет».

— Что он, умен или как?

В большие подробности политики я не входил.

Рассмеялся:

— Он находит, что до него русские министры были чиновниками, а он хочет быть «боярином». Не понимаю, что из этого выйдет и почему это понадобилось России.

Все шумело о Трепове («Звездная палата»):

— Да *кто* он и что? — спрашиваю.

— Понятия не имею, и никто не знает.

— Должно быть — умен!! (утвердительно).

— Нет. По крайней мере — не говорят. Ничего определенного, как-то появился вдруг. Я спрашивал Витте. Он сказал: «Тоже не знаю». Но припомнил только, как на похоронах Александра III было пасмурно, он (Витте) стоял около эскадрона. Солдаты приспустились, и тогда офицер, оглянув строй,скомандовал:

— Смотри веселей!!!

«Это был Трепов», — договорил Витте; Суворин смеялся тихим смехом («веселей» на похоронах).

И люди, и исторические положения вообще не имеют полных аналогий, а только приблизительные. В природе и во всем органическом, живом — нет повторений, все живет особо. Но когда думаешь о крошечной крестьянской избе, крытой соломой, где родился Суворин, — и думаешь, как он пришел из Воронежского городка на север, вовсе безвестный, вовсе маленький, — и все, что он потом сделал, статьями, газетою, бесчисленными изданиями полезнейших книг, то невольно навертывается на ум аналогия с Ломоносовым — с одной стороны, и Новиковым — с



другой. Есть сходство здесь и там. Ученые были и до Ломоносова: был учен Феофан Прокопович, был очень учен и Тредьяковский или Татищев. Но повелось говорить: *«науку начал у нас Ломоносов»*. Также и журналы у нас были, и очень много книг до Новикова. Был «С.-Петербургский Вестник» Сумарокова, ученые «Ежемесячные сочинения» академика Миллера. Но Новиков первый *зашумел журналами*, он бросал в Россию потоки книг. Суворин в необыкновенном разнообразии его деятельности, как прямых, так и вспомогательных, — был *Ломоносовым русской ежедневной прессы*; тут — и театр, тут — и газета, и «Маленькая Библиотека», и календарь, и магазины. К чему ему было *столько*? К чему, например, магазин редактору? Все *невольно* у него *закруглялось* в целое, *закруглялось* в *обобщенность*; без «календаря», все «по дням» и все «со справками», какой же журналист? Он сам едва ли знал, *почему*, собственно, то или иное начинает: а нужно было. И нужна «Вся Москва», «Весь Петербург», «Вся Россия». Все — «само собой», все — природа, великая «природа» журналиста, сложная, как лес, дремучая, как лес, мудрая, как лес.

Только участвуя в «Новом Времени», — и участвуя параллельно или в другие годы в разных *других* газетах и журналах, можно понять, что такое эта газета. «Так...», кажется, «стоят на углу газетчики и продают разные газеты», между ними и «Новое Время», и «Листок», «Голос», «Слово». Как-то мне сказала одна бедная и деятельная благотворительница: «Пожалуйста, напишите в «Новом Времени» заметку о приюте-школе, устроенном мною на Васильевском Острове, для уличных, всеми брошенных детей». Тогда этого я не умел; и в великом затруднении сказал, почему ей, филантропке, у которой даром учат и воспитывают детей курсистки из бестужевки, а молоко и хлеб откуда-то собирает она из лавок, — отчего ей не обратиться в другие газеты? Совсем отказал. Она печально задумалась и сказала: «Да, но *это — совсем не то...*». Я ссылался, что «Новое Время», за множеством материала и теснотой в газете, не даст напечатать более 15 строк (этого-то, т. е. так *кратко*, я и не умел), тогда



как в «Биржевых», в «С.-Петербургских Ведомостях» можно поместить большую и, следовательно, серьезную статью. Чуть ли я и не готов был поместить *там* обстоятельную статью. «Я уже испытала это. Большая статья в другой газете, как бы сочувственна она ни была, в материальном смысле ничего не даст или даст кой-что. Но в «Новом Времени» если появится заметка в 5-6-10 строк: отовсюду начинается движение, шлют деньги, вещи, спрашивают, интересуются, пишут письма». Я был удивлен. Не предполагал этого. Но затем, «публицистичничая», и сам испытал. Вот, например, тема развода. Вы написали фельетон, два, три, — вы подняли «целую кампанию» в другой газете, притом с 100.000-ной *подпиской*. Ничего. Литераторы читают. Одобряют. Читает купец, приказчик. Тоже одобряют. Шлют письма, сочувствующие и безграмотные. Что же получилось? Все читают, но ничего не получилось. Ваши произведения раздались «сердечным аккордом», на которые тоже отдались «сердечным аккордом», и это еще в лучшем, самом благоприятном случае. Но это музыка, а не жизнь. Между тем кровавое и слезное дело развода, конечно, требует не «музыки о себе», а ищет рычага, на который бы опереться; требует лома, требует *материального движения*, говоря словами механики. Теперь я говорю о том, что мне лично известно: тогда же, еще путешествуя в Крыму и увидев там душевнобольного (как странно!) лебедя, я написал «О непорочной семье и ее главном условии» (разводе): но, чувствуя странность сочетания лебедей и развода, не решался отдать в печатание. Думал, странно покажется читателю и публике. В то время «исправлял обязанности» (это — по очереди) Алек. Алек. С-н: и как-то, кончив разговор, я вынул из бокового кармана рукопись и вяло отдал ему. Ни на что не надеялся. Через 2 дня напечатано: и по всей печати пошел такой шум, а затем — митрополит, а затем еще — все попы, и власть, и администрация Церкви — все затревожились и встретили (первые месяцы и даже года два) такой пальбой «против», что не было никакого сомнения, что «дело сделано». Оно «сделано» было тем, что «поднято к общему вниманию». *Кого? чьего? Всех* и, под давлением «всех» — к «вниманию» тех, кто *делает жизнь*. Уже не «кто *делает музыку*», а «кто *жизнь делает*». Это один пример. Но



также — школа. Также — классическая система. Церковь. Духовенство, что угодно. Должно быть — война, походы. Инженерство. Мосты. Нефть. «Непорядки в водопроводе» и «наша скверная управа». Я не знаю дел, вне моей точки зрения лежащих, но в тех *нескольких линиях*, в каких пишу, писал, — неизменно испытывал то же, что мне сказала, и тогда я едва верил, благотворительница: «несколько, 5-6 строк в *«Новом Времени»* играют больше роли, чем столбцы в других газетах».

Чем же это достигнуто? Отнюдь не числом подписчиков, так как есть более распространенные, нежели «Новое Время», газеты: но вот *35 лет уже*, как «Новое Время» сделало своими читателями все *видное в России*, в каком бы отношении оно ни было «видно»; все в ней *сильное*, все в ней *влиятельное*, все в ней образованное и *реально идущее вперед*, все в ней что-нибудь *задумывающее, предпринимающее и решающее*. Этого «подписчика», раз им сделался человек 35 лет назад тому или менее (кто моложе), решительно неоткуда еще достать другим газетам, и просто потому, что он «уже читает *«Новое Время»*». Таким образом, так рано, как можно было (1/3 века тому назад), «Новое Время» получило в свои читатели все высшее, одухотворенное и нервное общество и всю в нем реальную силу, ведущую силу; овладело «паром» и «колесом» парохода, оставив другим «винтики», «шлюпки», «мебель кают», «лакировку» палуб того же парохода: каковых «вещей», естественно, больше, чем паровик и печь, да что в том дела? И изменить этого нельзя: в том ужас газет. *Уже 35 лет!!!* Нужно, чтобы «Новое Время» обидиотилось. Чтобы оно вдруг «побежало за декадентами»³⁾. Вдруг начало «со всею печатью» славить Леонида Андреева. Но

³⁾ А. С. Суворин не относился отрицательно к «целому» декадентству — и мне иногда говаривал, отчего я не возьмусь выяснить новое и интересное в нем. Ему нравилось в декадентстве *молодость, движение и жизнь*. Нравился смех и драки (полемика). Но он не принимал на себя бороться со всею редакцией, бывшей крайне враждебной к декадентам. Равно я знаю из одного разговора с ним, что ему нравился Максим Горький, и он сочувственно говорил о его живой и *новой личности* в литературе и сочувствовал всему поднявшемуся около него движению. «Бывало, прочтешь вещь Горького и чувствуешь, что тебя поднимает со стула, что прежняя дремота невозможна, что что-то *нужно делать!* И это *«нужно делать»* в его сочинениях — было нужно» (слова А. С. С-на).



в том и секрет: «печать-то», и притом без какого-либо исключения, «пела хвалу Андрееву», но *ведущие вперед Россию силы* столь же «понятно» не придавали никакого значения Андрееву. И когда после десятка лет «дрыгания ногами в воздухе» Л. Андреев повис в нем, как мертвец, — все увидели, что было право только «Новое Время». Точнее: увидели то огромное достоинство, с которым оно не поддавалось всеобщему увлечению явно глупым явлением. Вот здесь одна из причин, почему «Новое Время» читается всем серьезным, а потому и оценка его донельзя нужна всякому серьезному человеку, даже такому человеку, который «по убеждениям» смертельно с ним расходится: огромная гордость в мнениях и совершенная невозможность «купить» это мнение взаимными комплиментами, деньгами, ухаживаньем, чем угодно, и в том числе «общим приговором». И это ничего, что там «шутит об актрисах» Беляев, еще кто-то пишет почти неприличный «Маленький фельетон» или вдруг раздражается почти скандал в «Письмах в редакцию». Все это побочное. Все это не пар и не колесо. «Без маленького неприличия какой же №?» И если нет «веселой шутки» — то «читатель заснет от скуки». Все целесообразно — и скандал, и шутка — введено в газету, чтобы она была «общераспространенною», «первою по величине, живости и подписке»: дабы «колесо и пар» работало над *грузом*, а не над пустяками. Итак, «груз» есть: он приобретен «Маленьким фельетоном»; и когда на этот громадный груженный корабль взбирается человек, чтобы сказать *дело*, сказать *скорбь*, сказать *нужду*, то он и получает в громаде корабля, в громаде всего движения около него, то *внимание*, тот *особый*, тот *деловой резонанс*, какого он никогда не мог бы получить, говоря ли со страниц малообразованной распространенной газеты или засушенного академического органа печати. Таким образом, сочетание «Юрия Беляева» и, положим, «Водовоза Водовозовича», рассуждения о смерти и бессмертии и, положим, «кто упал с трапеции в цирке» — совершенно целесообразно, необходимо, удачно и могущественно. А так как «*Новое Время*» «всеми читается» — не только 100.000 дворниками, как некоторые очень распространенные газеты, но «*всею Россиюю в деле*», то мне опять же известно, до какой степени серьезнейшими людьми, людьми огромного и теоретического, и практического значения, искалось



сказать свое слово со столбцов *именно «Нового Времени»*. Ну, вот пример: передает мне рукопись редактор: «Ваша тема, посмотрите». Читаю: о баптистах, тогда шумевших на всю Россию, ректора одной из Духовных Академий, т. е., во-первых — архиерея, и, во-вторых — ученого. Предмет 1) живой автор, 2) известный авторитет. Конечно — рекомендую. Не печатается. Не печатается дни, недели. Спрашиваю: «что? отчего?» — «Да ведь это *величина фельетона, куда же тут?*» Лицо «со стороны» не может поместить более 200 и, самое большее, 300 строк, какая бы подпись под статьей ни стояла, каким бы весом ни пользовалось лицо в администрации, каков бы ни был его ученый авторитет. Шутка, веселое, талантливый рассказ — да, пройдет в 1.000 строк (однако не более), ибо увеличивает груз (обширность волнения вокруг) и ничему *серьезному и нужному не мешает назавтра*. Но если статья неуклюжа и корява, если это замаскированный «служебный доклад» (выражение глав редакции о многих манускриптах) — все подобное отстраняется, несмотря на подпись. Ибо 2-3 таких «доклада» в 2-3 дня подряд — и газета начнет тонуть (скука «вообще читателя» — сокращается волнение, сокращается *обширность читающего мира*). Если принять во внимание, что, вследствие дороговизны бумаги и массы бумаги в каждом номере, каждый «годовой экземпляр газеты дает *два рубля убытку*», т. е. каждому годовому подписчику редакция дает то, что *себе стоит на два рубля дороже*⁴⁾, то, явно, в этот отказ «томительно-деловым статьям с важными подписями» не входит ни малейший денежный расчет, а только общий план газеты и то самое особенное значение, какое ей дано. Значение это: 1) обширнейший круг читателей, вся образованная Россия, 2) возможность этой «всей России» сказать ценное, исторически значащее слово, но непременно *кратко, ясно, литературно талантливо*, по крайней мере, *литературно не худо* (ученые сплошь и рядом совершенно не умеют литературно писать).

Ничего — *специального*, ничего — *частного*, ничего — *личного*, ничего — *особенного и партийного*; вся — для *всей Рос-*

⁴⁾ Это возмещается *только объявлениями*.



сии, для «Целой России», обобщенно — что «требуется народу и государству», требуется «русской истории, как она *сейчас живо совершается*»: вот лозунг и молчаливо принятый всеми сотрудниками маршрут. Это (в газете) в редакции «то, что само собою разумеется», и о чем «никто не говорит, потому что все знают». Отсюда почти несносность, с какою газета, например, вынесла всю мою полемику со Струве: «В. В., пощадите, кому *это нужно? вам и Струве?*» Это было «злоупотреблением места», т. е. отнятием столбцов «просто ни *для чего*». Ответ мой Пешехонову («Социал-демократическим сутенерам»), наделавший мне столько бед в печати, прошел (по газетной терминологии) как «затычка». Написав сгоряча и послав в типографию, я все ленился день за днем подойти к телефону и сказать метранпажу «разобрать». Просто — кейфовал, отдыхал, кончив полемику со Струве. Вдруг за кофе дочь говорит: «П-ка, что же вы это написали?» — «Что?» — «Пешехонову. И не хорошо. Да и съедят вас». Я схватился. Напечатано. Прихожу в редакцию. «Почему напечатали?» — «Да вы же не разобрали, а в наборе стояло. Было ночью пустых 1/2 столбца, большие статьи не вошли бы, и пустили вашу маленькую». То, что называется «затычка». Потом громы, ругань — и редакции, Сувориных — поименно; показываю редакторам, и молодым, и старым. «Да ну их...», и не читают. «Никакого значения, никакого дела, и не хотим читать». По смерти Каткова профессор Любимов написал в книге, что «в редакции был прием — *скрывать от Михаила Никифоровича злобные печатные о нем выходки*». Помню отчетливо, что, ради пропуска статей (моих) в ответ Струве, я показывал редактору слова Струве «против газеты Суворина». Я думал: «заденет — и дадут место». Но ни старик Суворин, ни молодой *не стали читать*, и «дали место» по всегдашней ко мне любезности. «Ну, хорошо, пишите, — вы всегда *пишете хорошо* (не уменьшает воза), а что он говорит — дела (нам) нет». Еще пример: евреи, вероятно, думают, что «Новое Время» только и думает о них. Входит как-то ко мне еврей, ученый (он показал мне свое имя в «Энциклопедическом словаре» — о нем почти столбец), и говорит, что, в силу тяжелого преследования, какому его (за одну услугу русскому учреждению) подвергли «свои», он решил им



отплатить, разоблачив некоторые ужасные еврейские тайны. Еврей этот, уже пожилой, производил впечатление тихого кабинетного ученого. В то время печаталась моя «Иудейская тайнопись». Эту «тайнопись» я вел к обрезанию и, всегда им интересуясь, заговорил о нем и вообще об еврейской ритуальности. Но, как и Переферкович (переводчик на русский язык Талмуда), он ничего в нем (обрезании) не понимал; понимал не более, чем, напр., Белинский или Кавелин — в православии. Как и Переферкович в юдаизме определенно и ясно глуп («Кавелин в православии»), так и этот еврей определенно и ясно «бессмыслен», «бездумен» в «Авраамах», «Ривках», во всей толще этой мглы и многозначительности. «Обрезание установилось в гигиенических целях и было кроме евреев еще у кафров», а «Иегова — просто дурак» (приблизительно, я немножко шучу и преувеличиваю). Я оставил. Но меня тронул (как трогал и у Переферковича) этот тихий и милый вид ученого, как бы сидящего на горе манускриптов и книг, который натывается на стулья, ничего не помнит и точно живым видит своего «Маймонида». Спросил о подозрении касательно ритуальных убийств (тогда все говорили об этом). Он сказал: «Ритуальных убийств, безусловно, нет». (Помолчал): «Но в юдаизме есть ужасные вещи, которые если разоблачить — то они гораздо хуже, тяжелее ритуальных убийств». Очевидно, однако, «разоблачения» должны были быть длинные, «документальные», «с цитатами», — и я, сказав, что сейчас мне некогда, записал его адрес и сказал, что ему напишу в досужную минуту или приеду к нему сам (пожилой и почтенный человек). Прощаясь, он сказал:

— Я был уже у г-на Столыпина и (кажется) Меньшикова, и они тоже сказали, что «потом». Я удивляюсь: «Новое» же «Время» антисемитическая газета, и я, естественно, иду туда с моим гневом и мстью; но меня никто и выслушать не хочет.

Я улыбнулся: и мне показалось удивительным. Оно и действительно удивительно — и соткало еще ниточку, которая привязывает мою душу и уважение к этой газете: «Да — *ничего специального!*» — и вовсе никакой нет *ненависти* даже к людям, партиям, течениям, направлениям, смертельно враждебным самому «Новому Времени». Об евреях на столбцах газеты



просто говорят шутки, и говорят о том очевидном для всех вреде, какой они наносят России и русским своим жадным стремлением захватить в свои руки все⁵¹. И только. Но это одна из тысячи «вредных вещей», какие есть в России, и только евреям кажется (с перепугу и нервности), что «Новое Время» денно и ночью думает их утопить, а на самом деле «Новое Время» и думать о них забыло, ни малейше им не членовредительствует и только с шуткой не отказывает тому сотруднику, который принесет 99-ую статью, где опять высмеиваются «лапсердак и пейсы». То же самое отношение к социал-демократам. Я сам писал несколько передовых (без подписи) статей, где с уважением говорил о «левой бедности», — «точущей зубы» (о кадетах никогда не говорил с уважением в статьях без подписи): и никакого не было возражения в редакции, редакция и сама знает, что в «левом зубе» есть много правды, а главное — есть почва для борьбы, гнева и мести. Но «левые» часто бывают дураками. И то же напишешь, без подписи или с подписью, в этом духе: и редакция опять пропускает. *Индиферентизм ли это?* Ни — малейше!! Редактор думает совершенно как и я, а я думаю совершенно как и редакция, что «левые» бывают часто дураками — но это одно, и что в них есть правда и основательность — и это *другое*, и также должно быть отмечено. Суворин, когда арестовали социал-демокра-

⁵¹ Однажды мне Суворин (А. С.) сказал: «Гостиный Двор в Петербурге еще *на моей памяти* состоял из голландских и русских лавок, и даже немцев почти не было. Теперь немцев словно нет, русских — половина лавок, а другая половина еврейские». Вот — и вся вражда, и только. Случайно узнав, что в доме Суворина живет одна еврейка, когда-то дававшая уроки музыки в его семье, я подошел и, смеясь, сказал ему: «А. С., у вас живет еврейка!» Она небольшого роста, он — высокого. Взяв ее за плечи, всю весело смеющуюся (она всегда смеется), он прижал ее к себе и весело сказал: «Я ужасно ее люблю. Она такая милая!» Это было среди большого собрания гостей. И столько было *отцовского* и *любящего* в его голосе, что я был поражен. Таким образом, ни в *нем*, ни в *газете «антисемитизма»* никакого решительно нет, а есть — *дело*, есть — *очевидность*, и именно «захвата» русского в России. Если бы евреи немножко были поумнее, если б они не были в *печати* лишь бессильными крикунами и безличными писаками, то не приняли бы в отношении «Нов. Вр.» той пошлой и безнадежной позиции, какую теперь занимают.



тов 2-й Думы, не «подпевал правительству», а сказал в «Маленьком Письме» лучшее похвальное слово их вождю, Церетели: сказал, что как он произнес с кафедры лучшее слово при открытии Думы (2-й), так теперь он пропел лебединую песню ей и один сказал мужественно и правдиво то, около чего другие виляли и ввали. Церетели же говорил: «Да, мы пытались возмущать народ против правительства, такого-то и такого-то, и нам нечего скрывать этого, потому что это наша гордость и девиз». Я был — помню — удивлен, прочитав эту прямо лирику в отношении Церетели. Действительно, Церетели был почти мальчик (по образованию и годам), но давал удивительно благородное впечатление и как живое лицо (в Думе), и как оратор. Вот вам и «изменивший себе Незнакомец»: конечно, ни К. Арсеньев, ни Изгоев, ни Рубакин, ни Струве ничего не *почувствовали к Церетели* — и в защиту его, и в память его не промямлили никакого слова, не только хорошего, но и плохого. «Забыли внеочередный момент». *Не забыл* один Суворин, видите ли, «прихвостень правительства», «заискивающий у власти», в газете «Чего изволите» и «кабаке» или «кафе-шантане». Но Суворин есть именно Суворин, а Изгоев-Струве-Арсеньев-Рубакин суть именно Изгоев-Струве-Арсеньев-Рубакин: мелкие не столько умы, как *мелкие души*, а мелкой душе прежде всего чуждо *благородство, великодушие и справедливость*. Никогда Суворин не переставал жать руку врагу, когда *в отношении собственных его тем* он видел у него благородство. Что такое Лев Толстой и что такое Церетели? Один такой «мирный», а другой — революционер: но от Суворина я слышал истинно негодующие слова о Толстом за то, что колеблет Россию, «не прощающие» — и по мотиву понятному, ибо Толстой уже старик; а о Церетели он не только не сказал ни одного порицательного слова (например, устно бы), но проговорил с любовью, почти с нежным чувством, как мог бы проговорить отец о погибшем, заблудившемся сыне, ибо он был еще юноша и его «глупости» нельзя было ему поставить «в строку». А Церетели был революционер и хотел «все низвергнуть». Но он сказал хвалу революционеру не как «Незнакомец», вторя тону Герцена, а вот как «трудовой солдат» около Руси. «Бедный юноша — ты погиб, и все, что ты делал, — было глупости. Но ты



не мог этого видеть именно по юности. Ты умер как герой и с сердцем героическим... Мы все можем заблуждаться в мысли, и заблуждаюсь я в другом, как ты тоже заблуждался в другом. Но наш всех долг — до конца верить в себя, и говорить правду, как кто ее понимает. Эту-то честь человека никто не отнимет от тебя. И был ли ты врагом или не врагом Родины — никто не вправе лишить тебя триумфа похорон». Вот отношение. Это не «браво! браво, Церетели!», пока он громил Столыпина (ответ его на первую речь премьер-министра), и — «всеми забыт», когда речи кончились и он пошел в тюрьму. Это отсутствие аплодисментов тогда, «в апогее», и скорбное сожаление и похвала, когда он повернул к миру арестантский халат — это и есть настоящее отношение настоящего человека, отношение и отца, отношение и гражданина. Оно не только лучше и полнее «Незнакомца», оно неизмеримо его благороднее. В собственном смысле, конечно, никакого «перелома» не было в Суворине ⁶⁾, он был все тем же и все таким же. Но он неизмеримо против «Незнакомца» улучшился — улучшился против его односторонности, против его капризов молодости, против его дурачеств молодости, «игры таланта» и прочих ярких, но малоценных (нравственно) вещей. Ему захотелось отдохнуть душой в подвиге. Ему захотелось выкупаться в свежей воде труда, терпения, медленного подымания вперед самого дела, а не своей личности; он кончил «каникулярные дни» «Незнакомца» и принялся за «учебный год» сурового, ответственного ученика ли, учителя ли. Этот «второй Суворин», выросший из «первого Суворина», залил его всеобъемлемостью, многообразием, умом, но главное — он залил его благородством вот этого не мальчишеского, а отцовского, не бунтующего, а служебного отношения к вещам, к лицам, ко всему. «Жить — значит служить, и Бог — служит миру, а все люди — служат друг другу, и мы — служим России, а Россия — служит всем». В этих «службах» и их узоре есть ошибки, и избежать их никому не дано: однако важно, и это одно важно, чтобы не утра-

⁶⁾ Дурак Рубакин пишет: «Суворин до перемены убеждений», «Суворин после перемены убеждений». Конечно, сам Рубакин никаких решительно убеждений не ломал и никогда не имел и не имеет.



чивалась идея самой «службы», чтобы она не исчезла из мира, ибо без нее мир погибнет в бесчестности. Вот в эту-то «честность» Суворин и вошел, выйдя из «Незнакомца»: он принял бесчисленные оскорбления, принял лютый вой всей печати на себя, принял комки грязи, полетевшие на него от безумной и обманутой молодежи (если только не *павшей молодежи*), заслонив от уймы подлости и пошлости большое тело России. Раны Суворина — раны телохранителя России. Позор Суворина (в печати) — это как мать «берет на себя грех дочери» и несет его молча. Эта сторона Суворина, это его терпение, эта его нерастерянность в труднейшие минуты, это его спокойное господство умом над обстоятельствами и при всем том сохраненная доброта, незлобивость, безмстительность (я бы ни за что многое не простил) — удивительны. «Незнакомец» — мальчик. Талантливый. Остроумный. Но ведь это — *ничто*. Ведь все дело — в серьезности. Ведь жизнь же, наконец, серьезна, господа! Но вот, подите: «пусть серьезным остается правительство, ибо оно *бездарно*, — а мы, *талантливые люди*, покутим!»...

Вдруг от «талантливых людей» отделился талантливый из талантливых, и сказал:

— Нет, господа! *Россию жалко*. Я — *не с вами*.

И весь «кутеж» повалился на него:

— Задавим! Разорвем!

Но он был именно «талантливый из талантливых» и ответил:

— Не разорвете, господа. Поборемся.

История этой 35-ти летней борьбы с «талантливым русским кутежом» и есть история «Нового Времени».

Если бы он был суров, как Катков, он был бы побежден (не читают).

Если бы он был односторонен и однотонен, как Аксаков, — опять был бы побежден (читают только «свои»).

Но помог «Юрий Беляев»...

Помогла актриса...

Помогло «все»... «Да! — *водевиль есть вещь, а прочее все — гниль*».



Вся Россия оглянулась. «Этого нельзя не прочесть». Все, что угодно, можно *не* прочесть, Платона, Спинозу: но если *скандал* — то как же этого не прочесть?? — «Подавай сюда *скандал*».

Все «давай», чтобы одолеть этот угрюмый и печальный *скандал* в душе людей, заключающийся в неискренности людей, в притворстве людей, в индифферентизме людей, в невообразимом тщеславии людей, в силу которого каждому есть дело до своей «славишки», до своего «хлебца», до своей «канфетки», и никому нет дела до заверченной в чаду угара больной и старой Родины.

— Шалишь. Не свалишь! — сказал угрюмый солдат в Суворине, и позвал «актрису»...

«С актрисой ты меня не свалишь». Тут помог и универсализм Суворина, и его скромность. «Не презирай никого в мире и никакого состояния» — вот его благородное и смиренное отношение к вещам в мире. Катков и актриса что-то невообразимое в сочетании. «Савина и Аксаков» — тоже не идет. Если бы Суворин притворился — ему бы *ничего не удалось*. Но он *не притворялся*, «любя актрису»: он ее воистину полюбил, да и всегда любил артистической и человеческой душой своей⁷¹). Будучи в то же время государственным человеком. Вот эта тайна и сделала то, что не удавшееся Каткову, не удавшееся Аксакову, и что, казалось, вообще никому не удастся в России, т. е. в стране и в истории, где «есть веселие пити и не можем без того *быти*», — удалось Суворину.

— Да, государственные нужды — это не пустяки.

⁷¹ Раз он мне шутливо сказал — «на народе», в театре или на одном из юбилеев: «Как *неправильно* живет Толстой, и какую ему *скверную жизнь* устроили окружающие; какие-то странники, студенты и монотонность! Он и без того стар, а ему еще старости наваливают на плечи. Я *бы его окружил*, напротив, молодыми, веселыми (не в дурном смысле) женщинами, девушками, их играми, танцами и всякими удовольствиями вообще молодежи, и — детьми». Кто лично знал С-на — знает, до какой степени «флирт» и «вино» были исключены из его обихода, до чего он весь приник к *работе*, и слова эти имели смысл: «давайте — юности, добра, и — поменьше облаков; и, особенно, — поменьше и даже совсем не нужно *дождя*» (духовного, социального, бытового).



— Да, народность наша... ну, что же, это факт, и нельзя на него плевать.

— Русская история...

— Вообще вся Россия...

«Позвольте, — ему возражают, — но ведь Карл Маркс сказал, что это вообще все надо послать к черту...»

«Что вы, Алексей Сергеевич: вы изменяете *Русскому идеализму*. Великие русские писатели, еще Белинский, потом Герцен, а еще Щедрин и Чернышевский — все учили проклинать эту «нашу Рассею», осмеивать ее, ругаться над нею; и — подводить фундамент под гармонию человечества, первый камень которой был положен Фурье...»

«Мы же за это *страдали*...»

«Мы тоже за это *ссылались в Сибирь*...»

«Мы *оплатили кровью* право презирать отечество, а вы учите его уважать, ценить и работать для него...»

Об эту стену разбились не то что Катков с Аксаковым, не то что Гиляров-Платонов и Хомяков, но начал разбиваться и Пушкин (судьба его «Клеветникам России» в последующей литературе).

— Хорошо, мы немножко потанцуем... — был ответ Суворина.

«Танцевать» всем хочется. Это совпадение с «Русь есть веселие пити...» Мастерство, и притом какое-то *врожденное мастерство*, соединять «веселие пити» (не в буквальном смысле) с угрюмой мечтой отшельника — и составило победный залог Суворина. Без этого ничего бы не вышло. Без «и Юрий Беляев» — ничего не вышло. «Не вышло» бы без энтузиазма к Сальвини, своего театра, «Татьяны Репиной» и «Царевны Ксении» — без «Вопрос» и «Любовь в конце века» (не читал). Все искусственные вещи не удаются, а натуральные вещи все удаются. Может быть, никогда не повторится этого совпадения в одном лице такого множества, казалось бы, несовместимых призваний, какое мы видим у Суворина: или, если не «призваний» в смысле чего-то «одного в жизни», то — влечений и увлечений, горячих, пылких, долголетних. Ими он и выиграл победу. Никогда нельзя забывать, что *первым его, еще ученическим, на школьной скамье,*



трудом был «Словарь замечательных людей Русских», а учителем уездного училища он пишет: «Ермак Тимофеевич, завоеватель Сибири». Темы и книги эти — не «Незнакомца», это темы и книги — издателя «Всей России» и «Нового Времени». Значит, 18-ти лет, 23-х лет, он был «стариком Суворониным»; вот где его *настоящий* идеализм: серая, повседневная работа для благоденствия, славы и величия России. Солдатская работа, солдатская и инженерная.

Этим все решается — самыми ранними мечтами. Потому что на ученической-то скамье он, конечно, был только мечтателем; и мечта эта — не комедийка, не стишок, не сатирический рассказец «на нашего губернатора», а (смотрите, *трудолюбие!*) «Словарь людей, потрудившихся для России»: работа бесславная, безличная, работа собирателя сведений по книгам. В этой ученической работе вылился «весь Суворин», «до могилы». Мало к кому так, как к нему, подходит прекрасное определение какого-то француза: «Что такое великая жизнь? Это — *мечта молодости, осуществленная в зрелый возраст*». А «Незнакомец» был исключением, выпадом, очень понятным. Во всех «делах русских» действительно замешано столько глупого, столько замешано, наконец, воровского и мошеннического, что не быть сатириком и насмешником тоже невозможно. «Голова не засмеется — живот засмеется». Только ведь, вот, судя по отношению Некрасова к жене Огарева, судя по отношению к Белинскому того же Некрасова и Краевского, все эти вещи, увы — «во всех лагерях», в том числе — и «страдальцев». У Белинского вырвался почти предсмертный вопль: «Да то, что делают со мною мои друзья и покровители (речь шла о Некрасове и Краевском) — это гораздо чернее всего, что делали Булгарин и Греч в нашей литературе». То-то и оно-то. На неумной картинке Наумова («Умиравший Белинский») надо было нарисовать не жандарма, показывающегося «символически» в дверях бедной квартирки, при плачущей жене и маленькой дочери умирающего критика: а кладущего в боковой карман пиджака толстый бумажник со сторублевками сытого либерала Краевского — и протягивающего больному сотруднику «синицу» (3 рубля). Вот правда! Вот она *где!!*.



«Но мы потанцуем, — сказал идеалистам-мошенникам Суворин. — А там подумаем и поговорим».

Он не принял прямого, «на сей день» сражения, перевел его в инженерную, долгую, затяжную борьбу. Вот — *Маленькая Библиотека*, по 15 — 20 коп. книжка. Почитайте, господа; пусть *читают ваши дети!* Шекспир и Шиллер — по 15 коп. пьеса. Вы читаете Писарева и Блюхера, но дети ваши будут читать Шекспира, потому что нельзя же его не читать за 15 коп., когда Стасюлевич и его «Вестник Европы» дал то же в учебно-маленькой «Библиотеке» *не полное* «Горе от ума» за 75 коп. (я читал студентом).

Суворин — везде.

Суворин — в справочной книжке.

Нужно отыскать кухарку: «возьми газету Суворина».

Суворин — в газете.

Авиация — и там Суворин.

«От Суворина некуда деваться».

Взвыли «страдальцы до Любани» (Михайловский административно был выслан на станцию Любань, ближайший буфет от Петербурга).

— *А мы?!!*

— Господа, свободная конкуренция! Я же вам не мешаю распространять философическую «Материю и Силу» и «Кругооборот жизни» (Бюхнер и Молешот): но они стоят по 1 руб. 50 коп., а я даю по 25 коп. томики «Истории Карамзина». *Мое — читают больше!!* Нисколько я не против пропаганды идей Лас-саля и как он интересно застрелился из-за русской социал-барышни: а только я даю «Федора Иоанновича» в исполнении Орленева, и уж не моя вина, не моя и не ваша, что публика ломится в театр на сотое представление той же пьесы. *Ко мне идут больше.*

Суворин победил.

Он победил тем, что все к нему повалило.

— Да. Но потому, что это — кафе-шантан!!

— Позвольте, какой же это «кафе-шантан», когда дается Пушкин по 10 коп. за том. Когда он дается не только без выго-



ды, но и с некоторым убытком⁸⁾. Это просвещенная благотворительность.

Дело в том, что ленивая и развращенная публика не берет уже и «просвещенной благотворительности», если *в то же* время около нее нет шума, движения и чего-то веселящего нервы. И Суворин, в обширном и спокойном уме все понимая, все видя, — призвал в помощь и этот шум, и эту печатную наркотику. В XIX-м веке он действовал как в XIX-м веке. Особенность века, почти главная особенность, самая мучительная, самая скорбная, самая опасная, заключается в том, что если бы, положим, в Берлине или Париже, в Лондоне или Петербурге появился восставший из гроба апостол Павел, со всем огнем своего слова и убедительностью мысли, то, конечно, «ученики Бокля и Чернышевского» на него бы даже не оглянулись. И вот нужно было в эту-то толпу уже падших людей «капнуть Пушкина». Суворин капнул и *капля растворилась в толпе и своей пахучестью хоть несколько облаговонила людей.*

Этого не мог сделать апостол Павел: но «хитроумный Улисс» это сделать мог.

В деятельность и личность Суворина, в его «1001 талант», конечно, входила эта хитрость, которую я позволю назвать благородною хитростью, потому что она была направлена на благо, и притом благо *общее*, но никогда решительно не устремлялась в свой мешок. Это — хитрость стратега в войне: она спасает армию. Это — изумительные «хитрости» Аннибала, когда он

⁸⁾ Первое дешевое издание Пушкина, превосходное по тексту и чрезвычайно удобное по формату и печати, было отпечатано Сувориным не только без барыша, но с небольшим убытком против стоимости бумаги и печатания. В день, когда оно («50 лет после кончины Пушкина») появилось в магазине, кинувшаяся за покупкою толпа своей массой сломала прилавок и мебель в магазине «Нового Времени». Поразительно, что Литературный Фонд, прикармливающий социал-демократов, поступил как Плюшкин. Он не оценил нисколько, не поставил ни во что дачу *рублевого Пушкина*, но содрал с Суворина что-то около 40.000 рублей, понудив его жалобами купить все *свое издание* к этому дню (в редакции Морозова) на том основании, что Суворин в маленькое свое издание ввел те поправки текста (*конечно, незаметные и неоценимые массовым читателем дешевого Пушкина*), какие своими работами над рукописями сделал Морозов. Вообще русский радикал везде сорвет свой пятачок.



боролся с Римом: они отводили гибель от отечества. Это — та хитрость не *домашнего*, а *городского* человека, наконец, человека *страны, земли своей*, которая совершенно неизбежна; ибо и город, и страна имеют свои улицы и свою жизнь, от индивидуума не зависящие, и которые *уже хитры по своему устройству прежде* рождения всякого человека. Здесь закон не *личной совести*, а закон *совести исторической, городской, земской*; и эта совесть заключается в одном: *все — для города, и ничего — себе*. Если этот закон выполнен, то оправдана и личная совесть. Но Суворин его выполнил: от «Словаря» и «Ермака» до «Всей России» он думал только об отечестве. И я не видал еще человека такой сложной общественной деятельности, у кого душа постоянно была бы так ясна, проста и удовлетворена в смысле именно «внутренних угрызений», как у Суворина. В нем никогда я не замечал полосы уныния, тоски и тайной скорби, какая непременно скажется, если «совесть не чиста».

Единственное с досадой и требовательно сказанное слово, за более чем в 12 лет услышанное мною от него, было:

— Если вы *опять* принесете написанное на обеих сторонах — я прикажу в типографии, чтобы не набирали.

«Опять» — значит, он раньше говорил. Но я не помнил. Да и что такое «на одной стороне»: а куда же другая? Наконец я разобрал, точнее — он мне разъяснил на этот раз подробнее, что *нельзя писать на правой и левой стороне страницы*, а нужно *только на одной правой*, ибо у наборщика руки потные и в краске, и когда он держит пальцами «оригинал», набирая первую сторону, то другая пачкается, захватывается и *написанное становится неразборчивым и наборщику трудно набирать, страдают глаза*. Наборщики же в «Новом Времени» строптивы, я раз слышал где-то около плеча или за спиною под нос: «Мы когда-нибудь Юрия Дмитриевича (Беляева) отколотим за рукописи; ничего нельзя разобрать». Наборщик *медленно работает и теряет на времени (убыток)*.

Это и прочее. Всегда наблюдалось одно: «этот человек *не обижен ли?*» И тогда Суворин терял свое лицо, всегда спокойное и уравновешенное.



Из мелочей: работая 12 лет постоянно, часто приходя в газетную наборную, я все же не помню метранпажей (4) по имени и отчеству. Всегда: «здравствуйте, Сафронов; здравствуйте, Петров». Но *главы редакции* (2 — 3) всегда называют их по имени и отчеству.

Как-то я ночью, но рано, пришел в наборную. Набор еще не готов, и вообще ничего не готово («к номеру»); и метранпаж (Петров) был свободен, и я свободен. Разговорились. Рассказал о жене, детях и всей работе — начатой наборщиком в книжной наборной с 25 рублей в месяц (теперь 175 рублей в месяц, в средних годах). Характеризовал «все начальство», сменяющихся (в году) вице-редакторов и всех Сувориных. Один «вспылчив, но добр»; «ну, *этот* — совсем рубашка» («человек-рубашка», поговорка), а тот «покричит, и ему через полчаса жалко станет, — и он сделает что-нибудь исключительно доброе, чтобы загладить окрик». И, кончая, повел головой:

«Суворины вообще все чрезвычайно добры».

Мне послышалось в этих словах рабочего, который стоит у дела 20 лет, что-то вроде ключа к пониманию всего дела. Нужно говорить о «генерации Сувориных». Конечно, никто не имеет геня (по разнообразию) отца, но во всех есть это стержневое качество рода, вероятно, пошедшее от «деда с бабкой»...





В. М. ГРИБОВСКИЙ

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С А. С. СУВОРИНЫМ

(По личным воспоминаниям)



По прекращении гайдебуровской «Недели» сотрудники ее разбрелись в разные стороны. Некоторые, например, М. О. Меньшиков, М. Н. Мазаев и др., перебрались в «Новое Время», в том числе и я.

С Алексеем Сергеевичем Сувориным меня познакомил влиятельный член редакции Б. В. Гей, который предложил мне явиться к издателю «Нового Времени» в весьма странный приемный час — около полуночи. Меня ввели в громадную комнату, ярко освещенную электричеством. Мельком я заметил ряды заставленных книгами полок или книжных шкапов по стенам, различные предметы искусства, между прочим удивительно тонко выполненное мраморное изваяние женщины. Внимание мое было устремлено на то место, где у стола, заваленного книгами, газетами, глубоко опустившись в кресло, сидел и делал какие-то заметки на лоскутке бумаги создатель и руководитель влиятельнейшей русской газеты.

Грибовский Вячеслав Михайлович (1866-1924), прозаик, публицист, сотрудничал с А. С. Сувориным. Статья В. М. Грибовского «Несколько встреч с А. С. Сувориным (По личным воспоминаниям)» перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1912, № 10, с. 181-190).



Протягивая руку, А. С. Суворин подал вид, будто бы хочет привстать со своего места и взялся даже за свою отделанную серебром палку, на которую слегка опирался, когда ходил. Ни тени какой-либо важности или делового настроения не выражалось на его лице. Его старческие черты светились приветливостью: он слегка улыбался, приподнимая брови и углы рта.

— Очень приятно, садитесь, вы курите? — начал он. — Вы читаете в университете, вас что-то поругивают?

— Да, — отвечал я, — к сожалению, моя магистерская диссертация вызвала тридцать шесть бранных рецензий...

Суворин засмеялся, брови его поднялись еще выше, а лицо стало еще приветливее.

— Это хорошо, когда ругают, — заметил он, — немцы говорят: много врагов, много чести... А сколько меня ругали? Кто меня не ругал? Обидно, когда свои ругают... Не ругают только того, кто или очень сладок, или очень пресен, в ком толку нет. А как ваша диссертация называется?

Я сказал.

— Не читал, — продолжал Суворин, — не знаю, вы писали о Византии — это очень интересно... Вот рассказы ваши в «Неделе» читал... Свежо, свежо... там, где о французских студентах, Мопассана напоминает... Вы попробуйте... Художественная жила и журналисту не мешает... Наоборот, она полезна... Хорошо, когда журналист думает образами... У французов и ученые думают образами, вот хотя бы Ренан, — это немцы засушили историю...

Суворин говорил отрывистыми фразами, то взглядывая на собеседника, то бегая взглядом по сторонам. Он хотел продолжать, но в это время вошли покойный Скальковский и ныне благополучно здравствующий А. П. Никольский. Скальковский сразу внес жизнь в эту громадную комнату. Он только вернулся из театра и шумно, остроумно и образно передавал свои впечатления. Суворин слушал его с интересом и с удовольствием. Я заметил, что, смеясь, он всегда наклонялся немного вперед, причем брови концами вверх поднимались почти под прямым углом, а губы собирались в сборку, как будто бы хозяин не хотел давать им воли. В эти минуты лицо Суворина становилось необычайно



мило и привлекательно: ум, добродушие, некоторое лукавство сквозили в его прищуренных смеющихся глазах. В этот вечер мне не удалось больше беседовать с великим русским журналистом, но зато я присматривался к нему. После веселых разговоров о театре Суворин заговорил с А. П. Никольским, который писал тогда в «Новом Времени» свои горячие и глубоко продуманные статьи против общины, предупреждая позднейший закон 17-го июня 1910 года.

Здесь мне пришлось увидеть Алексея Сергеевича в другом настроении. Очевидно, он живо переживал и чувствовал то, что думал. Суворин был тоже против общины.

— Община, община, — сердился он, — нам, изволите ли, нужен был немец Гакстгаузен, чтобы изъяснить, что община — наше спасение, наше национальное изобретение. Кому же нам и верить, как не немцу... Уверовали, в остаток крепостного права... Вы там несовершенства, недостатки общины указываете, — говорил он Никольскому, — все это хорошо, верно, правильно, да не в том дело... Наше народничество остатки крепостничества защищает и не понимает этого, и вы не понимаете...

— Нет, понимаю, — слегка улыбаясь, возразил Никольский.

Только что сердившийся, морщившийся и стучавший о пол своей палкой Алексей Сергеевич вдруг поднял голову, улыбнулся прекрасной добродушной приветливой улыбкой и произнес:

— Ну, вы-то понимаете, да дело не в этом... Тогда напишите об этом в газете.

Несколько времени спустя после первого знакомства с Алексеем Сергеевичем я встретился с ним на одном из «беллетристических обедов», устраиваемых покойным Даниилом Лукичем Мордовцевым в ресторане Донона на Мойке у Певческого моста. Эти обеды, представлявшие собою в некотором роде свободную беллетристическую академию, собирали тесный круг участников, пополнявшийся товарищеским выбором. Они описаны П. П. Гнедичем в одном из последних номеров «Исторического Вестника» за 1911 г. На этих обедах Суворин бывал редко, но



его приезд был всегда шумно приветствуем и вызывал большое оживление. Мы сидели уже за столом, когда Алексей Сергеевич вошел; с шумными восклицаниями все встали ему навстречу. Его усадили между Случевским и Каразиным. Разговор до появления Суворина шел о допущении на «беллетристические обеды» дам-писательниц. На этот счет участниками были установлены отрицательные строгие правила, которые несколько раз порывался отменить поклонник дамских дарований В. И. Немирович-Данченко. По этому поводу заведывавший распорядительской частью Мордовцев поручил одному молодому даровитому художнику изобразить в особом альбоме обедов башню, окруженную со всех сторон водой; к башне на лодке едет Немирович-Данченко с большим грузом дам-писательниц, а из бойниц башни со всех сторон грозно высовываются в виде копий писательские перья, с которых капая ядовитые чернила. Суворину показали это изображение, и он начал громко смеяться.

— И вы против женщин? — спросил у него через стол Немирович.

— Я не против женщин, — смеясь отвечал Алексей Сергеевич.

— Нашего полку прибыло, — с торжеством воскликнул Данченко, но Случевский его остановил.

— Мы говорили о допущении в нашу башню дам-писательниц, — заметил он, — я сам не против женщин, но мы говорим, желательны ли они на наших обедах?

— Конечно, нет, — отвечал, по-прежнему смеясь, Суворин.

— Да почему же? — горячо воскликнул Немирович-Данченко.

— Да так.

— Нет, да почему же?

— Да не к чему...

Никакие дальнейшие расспросы и настояния не привели ни к чему. Алексей Сергеевич смеялся, шурился и о чем-то тихо переговаривался с Каразиным, с которым, по-видимому, у него была близость. По крайней мере, Суворин несколько раз ласково покрывал своей ладонью верхнюю часть кисти руки Каразина. Алексей Сергеевич ничего не ел за обедом, и бокал с шам-



панским тоже все время простоял опорожненным лишь до половины.

К концу обеда произошло маленькое происшествие, насмешившее всех. На Случевском был форменный камергерский виц-мундир с плоскими пуговицами и добавочными маленькими пуговками на ложных продольных карманах фалд. Константин Константинович приехал прямо с какого-то официального собрания.

— А где же ваши ордена? — спросил Суворин Случевского.

— В кармане, — спокойно отвечал тот, вынимая из боковых карманов виц-мундира два владимирских креста и две звезды, — это по форме: там они при виц-мундире, а здесь — в виц-мундире.

— А правда, говорят, будто бы у чиновников под каждым крестом в груди покоится одно доброе чувство? — шутя продолжал Суворин.

— У тех из чиновников, — с деланной серьезностью отзывался Случевский, — которые берут кресты не с добрым чувством, а таких много, потому что за эти кресты и звезды приходится платить довольно дорого.

Со Случевским тоже, по-видимому, Алексей Сергеевич был ближе, чем с другими, и они вместе уехали после обеда, кажется, в театр.

Когда вышло в свет изданное Сувориным сочинение покойного Шильдера «Император Александр Первый», Алексей Сергеевич поручил мне написать в «Новом Времени» статью об этой книге. Предварительно мы имели с ним по данному поводу продолжительное собеседование, причем Алексей Сергеевич высказывал свои взгляды на эпоху царствования Александра Благословенного и вообще на русскую историю императорского периода.

— Какая загадочная личность Благословенный, — говорил он, — ведь он знал о декабристском заговоре... Зачем же он не принимал никаких мер? Пускай, думал, попробует тоже один из братьев, что значит царствовать. Или он хотел, чтобы конститу-



ционные мечтания его молодости сбылись после него или в конце его жизни ненасильственным путем, без его участия? Может быть, он боялся недовольства среди крепостников из высших классов! Вот тема для романа. Ведь дал же он конституцию Польше и Финляндии; почему же не дал коренной России? Он боялся? Он боялся придворной интриги, погубившей его отца? Он думал, пусть само собой... будет соблюдена видимость... Вынудили... Я, мол, не сам... обстоятельства заставили... Ведь тоже трудно им... царям-то... Николай Павлович боялся освободить крестьян, хотел, но боялся... Кого? Сановников и рядовых крепостников... А разве Александр II не боялся? Не даром он уговаривал дворянство, что если не начать сверху, начнется снизу... Ведь это наше дворянство презирало народ... Ну, конечно, я говорю только о крепостническом дворянстве и чиновничестве... Ведь для них Россия — это имение, откуда получаются доходы, а настоящая родина там, за границей, где эти доходы проживают... Говорят, евреям трудно, их преследуют... Хорошо... А какво нашему мужику?.. Ведь евреев не порют, а наших порют, этого самого камаринского мужика... (Это говорилось до того времени, когда высочайшим указом было уничтожено телесное наказание в волостных судах)... нашего сеятеля и хранителя...

Алексей Сергеевич был большой поклонник Алексея Петровича Ермолова, вследствие чего поручил мне в статье о книге Шильдера остановиться на личности Ермолова и из царствования Александра Благословенного по этому поводу сделать заход в царствование Николая Павловича. Когда статья была написана, тогдашний редактор «Нового Времени» Ф. И. Булгаков из-за Ермолова забраковал всю рукопись.

— Вы пишете о Ермолове, а надо об Александре, — заявил он.

— Но я только попутно...

— Тогда вычеркните Ермолова...

Я пошел к Алексею Сергеевичу. Тоже уже царила глухая ночь, но Суворин разбирался в каких-то бумагах, а свежеразрезанная книга лежала около стола на стуле. Я объяснил ему упрямство Булгакова. Суворин долго не отвечал, по-прежнему роясь в бумагах. Наконец он нашел, что было надо, прочел и отло-



жил в сторону. Потом встал, запахнул халат и, постукивая палкой, пошел вниз в редакцию. Я следовал за ним.

Он прошел прямо в комнату Булгакова. Наступил любопытный момент, что скажет и как поступит Суворин. Я думал, что он потребует разъяснения, почему не печатается написанная карандашом по его распоряжению статья, но Алексей Сергеевич поступил иначе.

Булгаков, болезненный, издерганный, раздраженный человек, сидел спиной к топившемуся камину, с каким-то рваным оренбургским платком на плечах, и безжалостно марал чью-то статью. Суворин сел около него в кресло, загородившись каминным экраном.

— Тут есть один фельетон, голубчик, — начал он спокойным тоном, — об Александре... Он когда у вас пойдет?

Булгаков злобно сверкнул на меня своими очками.

— Он не пойдет, — резко отвечал он.

— Так вы лучше всего поставьте его в субботу.

— В нем более пятисот строк, — опять огрызнулся Булгаков.

— Он обстоятельно написан, — также спокойно продолжал Алексей Сергеевич, — а что вас на четверговых обедах не видно?

— Еще меня там не доставало!

Суворин сохранял невозмутимое спокойствие. Я много слышал об его вспыльчивости и несдержанности и был прямо поражен необычайной выдержкой.

— Ну, прощайте, голубчик, — произнес он на прощанье и направился к выходу.

Еще Суворин находился в коридоре, когда Булгаков у себя поднял целый скандал.

— А-а, — кричал он, — вы жаловаться... Тут в редакторское дело вмешиваются, тут редактировать не дают... Черт побери всех... Я уйду, я сейчас уйду... Не будет ваш фельетон напечатан, ни одной строки не напечатаю...

Булгаков продолжал бесноваться. Я вышел в коридор. В редакции было почти пусто. Алексей Сергеевич стоял в переходе и, опершись на палку, слушал выкрики Булгакова.



— Как расходился, ишь ты, — произнес он, добродушно улыбаясь и качая головой, когда я, проходя мимо, ему поклонился.

Он умел ценить старых служащих и мирился с их строптивостью, пока она не переходила границы.

Статья была напечатана с небольшими сокращениями в ближайшую субботу.

Когда в 1904 году Н. Н. Перцовым было основано «Слово», я примкнул к кружку его сотрудников, стал редко бывать в редакции «Нового Времени» и долго не видал Алексея Сергеевича, пока не встретил его при особых обстоятельствах.

Как известно, накануне 17-го октября 1905 года в среде представителей повременной печати возникла мысль о необходимости общими силами бороться за осуществление явочного порядка издания газет и журналов. Я слышал, что Суворин сам высказывался за желательность такой борьбы. Союз изданий самого различного направления, объединившихся с указанной целью, наконец организовался, и заседания газетных и журнальных представителей происходили в помещении редакции «Слова» и «Нового Времени» во втором этаже суворинского дома. Организация собраний заключалась в том, что от каждого издания присутствовали редакторы и по двое представителей, избранных сотрудниками. От сотрудников «Слова» представляли я и С. Ф. Савченко-Бельский.

Когда в первый раз мне пришлось очутиться на собрании в редакции «Нового Времени», наборщиками была объявлена забастовка. Насколько помнится, это было 19-го октября. Я вошел в зал, где было очень накурено и шумело множество голосов. Масса народа толпилась в помещении. Мелькали знакомые и незнакомые лица. Знакомились и разговаривали друг с другом без того грубо сектантского предубеждения, которым обыкновенно отличаются взаимные отношения русских людей неодинаковых политических воззрений. Точно забыта была вековая русская рознь и восторжествовала наконец мысль, что настоящее дело можно делать только сообща.



Открылось заседание. Между прочим собранию были представлены два представителя от наборщиков, которых вызвали, чтобы с ними поговорить о забастовке. Кажется, это были члены совета рабочих депутатов. Многие из числа собрания полагали, что после 17-го октября, в такую горячую ответственную минуту печать не могла молчать, она должна была говорить и знакомить читающую массу с положением вещей. Наборщики же еще действовали по инерции; чего они требовали, я не помню, чуть ли не учреждения «демократической республики» и введения «всеобщей, равной, прямой и тайной» подачи голосов. Тогда уже это было в моде.

Наборщикам-депутатам пытались изъяснить суть дела, но они оставались непреклонны. Любопытно было наблюдать, как эти два испитые, неуклюжие, медлительные человека в синих косоворотках и мешковатых пиджаках импонировали собравшемуся цвету тогдашней журналистики.

К ним обращались с необычайным почтением и смирением. Несмотря, однако, на все обращения к ним просьбы и разъяснения, наборщики оставались непреклонны. Тогда последовало еще одно предложение. Представитель «Журнала для всех», какой-то господин прекрасной интеллигентной наружности, с волнистыми каштановыми кудрями и серой барашковой шапкой в руке, заявил наборщикам:

— Господа, я понимаю, что вы не позволяете выходить консервативным изданиям, но неужели вы не позволите нам, либеральным, отстаивать дело народа?

«Консервативные» журналисты переглянулись. В зале сразу сильно запахло старым духом главного управления по делам печати, только наизнанку. Видимо, сами «либеральные» смутились. По крайней мере, сидевший рядом со мною весьма симпатичный и умный журналист, сотрудник, кажется, «Сына Отечества» или «Нашей Жизни», Ганфман с неудовольствием покрутил головой и отвернулся от автора предложения. Прочие тоже молчали.

Господину с прекрасной интеллигентной наружностью дал урок один из рабочих:

— Ежели, — начал он тихо и с запинками, но вместе с тем и с уверенностью, — ежели мы вам позволим, либеральным, а



тем не позволим, так оно будет несправедливо, нехорошо. Одним позволить, так и другим тоже, а без того оно нельзя, невозможно. Вот, скажут, одним позволяют, другим не позволяют... а уж если... там всем равно — по справедливости...

Эта справедливость, живущая в груди простого наборщика и отсутствующая в интеллигентном журналисте, умилила тогда многих.

Затем собранию для обсуждения был поставлен следующий вопрос: как обеспечить единство борьбы за новые права печати? Было предложено установление круговой поруки, применение которой должно было заключаться в том, что статью, за которую страдало одно издание, обязывались перепечатать у себя все остальные участники союза и таким путем, так сказать, распылить ответственность.

По этому вопросу много говорил сотрудник «Русской рабочей газеты» Воробьев. Этот еще очень молодой, но и очень самоуверенный человек лепетал скороговоркой о значении пролетариата, о том, что пролетариат не допустит, что пролетариат не нуждается ни в ком... Слово «пролетариат» выпаливалось через каждые три-четыре мгновения.

Пролетариат, как известно, был тогда в моде. Поэт Минский издавал пролетарскую «социал-демократическую газету», где сотрудничала «пролетарка» Тэффи, талантливый Сологуб писал социал-демократические стихотворения, ломая в пролетарских виршах свое недюжинное дарование... Неудивительно, что петушиный задор Воробьева не встретил достойного отпора старших, а видевший на своем веку виды Номо Novus г. Кугель все-таки умилился и со вздохом произнес:

— Какая убежденность, какая свежесть чувства!

Я пытался возражать юному социал-демократу, но он не слушал и только повторял «пролетариат», «пролетариат».

— Заладила сорока Якова и честит им всякого, — заметил кто-то из «консервативных».

Я встал и отошел к двери, ведущей в соседнюю полутемную комнату. Кто-то оперся сзади на мой стул. Я оглянулся. Это был Суворин. Я встал, предлагая свой стул Алексею Сергеевичу.



— Сидите, сидите, голубчик, — прежним приветливым тоном произнес он.

Я еще раз указал ему на стул. Суворин сел и с дружеской лаской, как это он делал с Каразиным на «беллетристическом обеде», взял своей ладонью верх кисти моей руки. В это время в зале происходили шумные прения. Представителями «Нового Времени» являлись А. А. Столыпин и А. А. Пиленко. Оба они горячо доказывали, что слепая перепечатка всего, что бы ни было напечатано в пострадавшем издании, не может быть вменена в обязанность всем членам союза. Со свойственной ему талантливостью Пиленко развивал ту основательную мысль, что такие газеты, как «Новое Время», которые представляют собой миллионные предприятия, не могут идти на риск закрытия с таким же легким сердцем, как только вчера возникшие летучие сатирические листки вроде многочисленных тогда «Пуль», «Стрел», «Пулеметов» и т. п.

В самом деле эти листки представляли собой своеобразный журнальный пролетариат, решительно ничем не рисковавший в материальном смысле и потому способный на всякую выходку.

Несмотря на всю ясность положения вопроса, многие из «либеральных» спорили до слез и доказывали, что представители «Нового Времени» нарушают товарищеское единение и равноправность. Среди общего шума и гвалта Суворин вдруг поднялся со своего места и твердым, хотя тяжелым шагом подошел к столу и положил на него свою палку. При появлении его вдруг все смолкло.

— Вот что, — слышался его уверенный голос среди общей тишины, — Пиленко говорил правильно: «Новое Время» — миллионное дело, с ним связаны судьбы сотен людей, и оно не может рисковать так, как разные грошовые листки. Но мало того. Вы для чего сюда собрались? Делать общее большое дело... Так надо его делать, как следует, не по-мальчишески, не так, как вон этот (Алексей Сергеевич кивнул на «пролетария» Воробьева). Нужно выбрать такие пути и средства, чтобы совместно идти к цели, нужно делать дело разумно. Мало ли что напечатает какой-нибудь листок в горячечном бреде или просто по глупости... Неужели все это должно «Новое Время» да и все другие перепечатывать? Ведь это же смешно... Не надо срамиться...



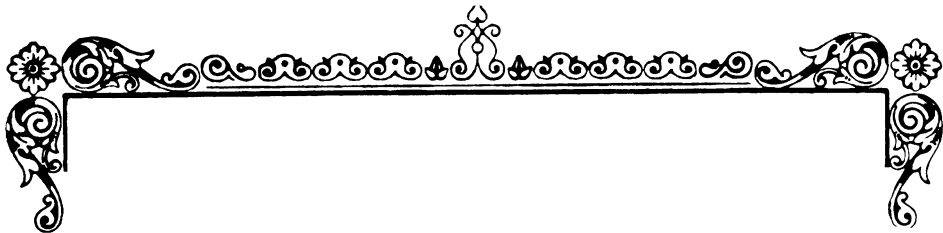
Суворин говорил, не прося ни у кого слова, не справляясь о том, имеет ли он право говорить, и его слушали, не перебивая и даже не проронив ни одного слова. Речь его звучала уверенно и властно. Видно было, что говорил человек, привыкший к тому, чтобы его слушали.

Суворин кончил и снова отошел к двери, где сидел ранее. Его окружила группа лиц. Кто-то высказал предположение, что иной листок нарочно напечатает глупость, чтобы подвести многим ненавистное «Новое Время» под обух.

— Я этого не думал и не думаю, — отвечал Алексей Сергеевич, — идет большое святое дело, надо сделать его, мы переживаем исторический момент и теперь не время мальчишеским выходкам... Нужен здравый смысл...

Возобновившиеся прения не привели ни к чему, и Суворин, недовольный и раздраженный, тяжелым шагом ушел во внутренние комнаты.





П. И. СОКОЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. СУВОРИНЕ



Когда умирает большой человек, деятельно участвовавший в создании истории страны, о нем пишут всевозможные воспоминания, касающиеся его личной жизни. Все они, конечно, очень дороги и интересны для биографии личности, но полезно бывает для современности вспомнить те черты, которые рисуют его отношение к государственной жизни родины в моменты ее потрясения.

Я вспоминаю 1906 г., когда мне пришлось иметь дело с Алексеем Сергеевичем Сувориным, и вот по какому поводу.

Было тогда время общего смущения и, можно сказать, растерянности власти, когда «своя своих не познаша», время самых всевозможных проектов и течений мысли, время самых дерзких экспроприаций и помещичьих иллюминаций, вся жизнь сложилась в какой-то мрачный клубок, из которого, казалось, не было выхода. Людям, не забывшим заветы истории и русские устои, жилось плохо. Их давили случайные выходцы, временно овла-

Соколов Петр (Павел?) Иванович - экономист, писатель, краевед, чиновник особых поручений Министерства земледелия и государственных имуществ. Статья П. И. Соколова «Воспоминания об А. С. Суворине» перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1913, № 1, с. 136-140).



девшие жизнью и задававшие фальшивый тон. И в казенные ведомства проникали эти течения — и не только что проникали, но и господствовали.

Во главе главного управления земледелия и землеустройства тогда стояло лицо (хотя и не долго), представившее в совет министров «знаменитый» проект отчуждения земельной собственности от помещиков. Его правой рукой был чиновник «нерусского» происхождения, удалившийся теперь в «научные сферы», который, по свидетельству самого Алексея Сергеевича (в «Маленьких письмах»), был один из главных составителей этого проекта. Идея переселения крестьянской массы в Сибирь была антиподом этого разрушительного проекта. А между тем, до реформы переселенческого управления, это лицо много лет влияло на переселенческую политику и в конце концов стало доказывать, что в Сибири удобных земель так мало, что и хлопотать правительству о них для переселенцев не стоит, а следует обратить взоры на помещичьи земли, которых весьма много и всем хватит... Получилось отрицание всех будущих, а теперь настоящих действий переселенческого управления, развившегося в огромное учреждение и давшее водворение 2 1/2 миллионам душ и 27 миллионов десятин под переселение в период 1906 — 11 гг., как раз после появления этого замечательного «проекта».

Возвратившись из Сибири, где я был в числе рядовых работников министерства земледелия, занимающихся отводом переселенческих участков и исследованием сибирской тайги, и погрешивши «Записками колонизатора», изданными при содействии «Нового Времени», за что мне сильно досталось от ведомства, — я глубоко возмутился этой антигосударственной идеей, разрушавшей, можно сказать, в корень все наши прошлые и будущие работы по расширению переселенческого дела и устройству безземельного крестьянства, поджигаемого на всякую свару и смуту, а написал подробную записку «о земельном фонде в Сибири» (которая не пришлось тогда ко двору ведомства) и прочел ее в виде доклада в географическом обществе. За эту записку ухватился Д. И. Пестржецкий (помощник управляющего земским отделом), написавший контрпроект, напечатанный в «Вестнике Финансов» и частью в «Новом Времени», и показал ее В. И. Денисову.



Прибывший в Петербург деятель по экономическим вопросам, затем член государственного совета, Василий Ильич Денисов вел тогда борьбу против представленного г. Кутлером проекта в совет министров и, в свою очередь, представил ряд записок бывшему премьер-министру графу С. Ю. Витте, министру внутренних дел Дурново, князю Кочубею и не находившимся в составе министерского кабинета В. Н. Коковцову и И. Л. Горемыкину. Сущность этих записок, заключающих в целом земельную программу, обнимала вопросы, касающиеся выхода из общины, отрубных владений, землеустроительных комиссий, переселения, организации торговли и сбыта сельскохозяйственных продуктов, холодильного дела, приобретения частновладельческих земель при помощи крестьянского банка с уменьшением платежей по ссудам этого банка от $5\frac{3}{4}\%$ до 4% и проч. Будучи противником мнения, распространяемого составителями проекта, о недостатке земель в Сибири, годных для переселения, В. И. Денисов очень рад был ознакомиться с моим докладом, прочитанным в императорском географическом обществе, «о сибирском земельном фонде» и привез его к А. С. Суворину, прося его напечатать в «Новом Времени».

Однажды вечером я получаю краткую записку Алексея Сергеевича: «П. И. Приезжайте ко мне сегодня же в девять часов вечера переговорить о важном деле. А. Суворин».

Ранее я имел единственный разговор с Алексеем Сергеевичем по поводу моей пьесы «Мертвая зыбь», поставленной в театре Немецки, которую он изрядно-таки раскритиковал. Сотрудником «Нового Времени», если не считать небольших заметок, я не был, а поэтому это приглашение было для меня неожиданным. Встретил он меня любезно, держа в руках мою записку (доклад географическому обществу), и усадил за маленький столик, стоящий около большого его кресла.

— Я вашу записку прочитал, — сказал он, ее перелистывая, — и вижу, что она открывает своими данными широкие горизонты для большого государственного дела. Она является противовесом и даже противодействием безумному антирусскому проекту ограбления помещиков, сочиненному министром Кутлером и его чиновником Кауфманом. Надо ей дать ход и пус-



тить в свет — и сейчас же, не теряя времени... Политический момент очень опасный... Если осуществится экспроприаторский проект, произойдет ужасная путаница и неразбериха в России, гибельные последствия которой даже предвидеть невозможно. Всякая мера, принятая вовремя, ценна. Необходим громоотвод надвигающейся туче. И этим громоотводом является переселение в Сибирь безземельного крестьянства. Вы, как видно, знаете Сибирь, работали в ней, жили... Но как пустить в ход вашу записку?

И Алексей Сергеевич на минуту задумался.

— Для газеты, — продолжал он, — она громоздка, займет много номеров, и не все ее осилит. Если издать отдельной брошюрой, она провалывается в книжных складах, наша русская публика не привыкла к серьезному чтению, а тем более — к брошюрам. Вот что, П. И., вы когда-то писали талантливо и живо «Записки колонизатора». Напишите мне, П. И., в размере фельетона в кратком изложении записку, ее сущность, главные тезисы...

— Это очень трудно, Алексей Сергеевич. Здесь много цифр, — ответил я.

— Для очень способного человека нет трудностей в писании. Сущность огромной книги, а не то что вашей записки, можно изложить на двух-трех страницах. У нас привыкли много и зря писать, главное искусство писателя — быть кратким. Попробуйте, и я через три дня напечатаю.

Я был подавлен трудностью задачи. Как уместить в фельетоне, хотя бы даже в 500-600 строк, сущность записки с большими выкладками и массой данных. Алексей Сергеевич на меня смотрел своим проникающим взором, как бы угадывая мои колебания.

— Не трусьте, смелым Бог владеет, помните, что в данный момент такой работой вы окажете услугу не мне, не газете, а делу, делу государственному громадной важности, родине...

— Хорошо, попытаюсь, — сказал я, решившись, — но ведь вы знаете, Алексей Сергеевич, какое течение царит в ведомстве, в котором я служу.

— Ну, это не так страшно, будущее неизвестно, да я еще от себя кое-что прибавлю и напишу по поводу «этих господ», — и он поднялся во весь свой могучий рост.



Он отпустил меня, как бы благословляя на опасную работу.

На другой или третий день появилось его «Маленькое письмо», потом другое, разоблачающие всю политику и совместную деятельность обоих администраторов. Я написал фельетон, который был через два дня напечатан.

В ведомстве поднялась целая буря против меня. Два «Маленьких письма» Алексея Сергеевича приписали моей якобы инспирации, особенно выражение его в одном из писем: «я кое-что об этом знаю, но нахожу излишним говорить о секрете полишинеля».

Меня признали «вредным» для ведомства, идущим по своим взглядам вразрез главному течению. Много я пережил тогда скверных и горьких минут.

В довершение всего я был призван к тогдашнему главе, который без дальних фраз предложил мне подать в отставку. Я имел смелость ответить, что я служу не министрам, а делу, в которое верю, и государству, а потому не подам прошения об отставке, а пусть меня уволят без прошения.

Через несколько дней картина переменилась. «Вверх» поняли «проект», и сам глава с его помощником оставили ведомство, уйдя в отставку.

На первом приеме вступивший в управление министерством земледелия (главным управлением землеустройства и земледелия) А. П. Никольский встретил меня весьма любезными словами:

— Очень рад с вами познакомиться. О вас много говорил Алексей Сергеевич, и я читал ваш фельетон еще в наборе и вполне ему сочувствую.

— А как же мне теперь быть? Мне ведь предложено уйти со службы вашим предшественником...

— Ну, нет, об этом забудьте; напротив, вы нам нужны для очень ответственного поручения...

Через несколько дней я был командирован представителем в комиссию по исследованию района проектируемой Туркестан-Сибирской железной дороги, что дало мне возможность сделать путешествие более чем в 14.000 верст по Сибири и Туркестану и представить солидный труд.



Выходя раз из редакции «Нового Времени» вскоре после описанных событий, перед отъездом в далекое путешествие, я встретил на крыльце Алексея Сергеевича. Он меня узнал и, по своему обыкновению, сразу все припомнил.

— Вот видите, как все удачно вышло, — сказал он с улыбкой, — а вы еще опасались.

— А были моменты, Алексей Сергеевич, очень скверные.

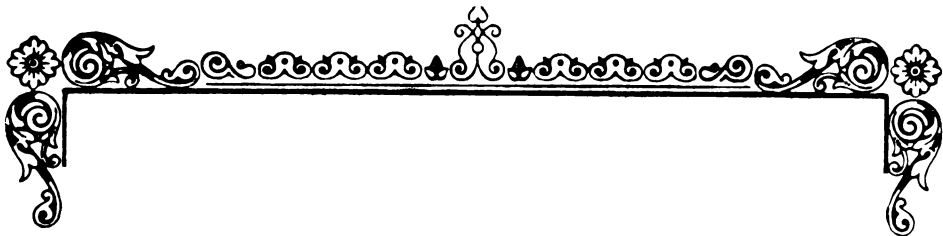
— Без скверных моментов не бывает хороших в жизни. А главное — смелость и твердость в каждом деле, большом и малом.

Я ему сказал о предстоящей поездке в Сибирь.

— Прекрасно, что вас послали туда, а не кого-либо другого... Счастливого вам пути и нового успеха... Привозите побольше данных о богатом сибирском крае, который так еще мало нам известен...

Более его я не встречал живым. Пришлось поклониться только его праху.





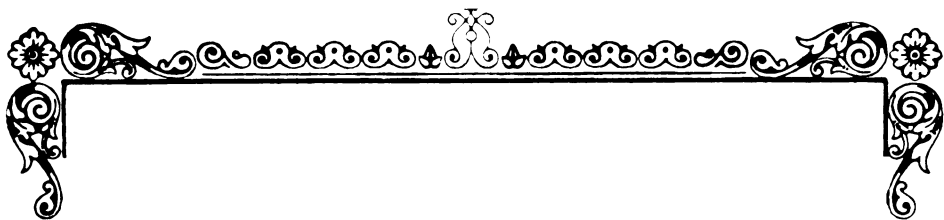
С. Н. ШУБИНСКИЙ

ПАМЯТИ А. С. СУВОРИНА



 три часа ночи с 10 на 11 августа скончался издатель «Исторического Вестника» Алексей Сергеевич Суворин. Для тех, кто близко знал его, эта потеря тяжела и невознаградима. В течение 34 лет я находился в самых тесных отношениях с покойным и мог оценить его ум, благородство, доброжелательность и готовность помочь всем, обращавшимся к нему с какой-либо просьбой. Тяжелая болезнь лишает меня возможности, в данную минуту, подробно охарактеризовать покойного, и я, к прискорбию, не мог даже проститься с прахом дорогого и искренно любимого мною человека, которому так много обязан. Только при его материальной и нравственной поддержке мог появиться «Исторический Вестник», а его всегда дружеские, дельные советы и отсутствие всяких денежных расчетов содействовали успеху журнала. Глубоко потрясенный, хотя и ожидаемой, кончиной Алексея Сергеевича, я в силах написать только эти немногие строки. В сердце моем навсегда сохранится благодарная память об этом выдающемся общественном деятеле и добром, прекрасном человеке. Без сомнения, он дождетя беспристрастной оценки, и я уверен, что его могила не останется забытой.

Шубинский Сергей Николаевич (1834-1913), генерал-майор в отставке, историк, писатель и журналист. Заметка С. Н. Шубинского перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1912, № 9, с. 1-2).



Н. М. ЕЖОВ

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ СУВОРИН

(Мои воспоминания о нем, думы, соображения)



«Я, вообще, того мнения, что выдающиеся люди должны обращать на себя внимание печати. Что же страна без них?»

А. С. Суворин.

I

Несколько предварительных слов

Большой, необыкновенно большой, но доступный и не скрывающийся, стоит передо мной этот замечательный человек, седой, обремененный славой, богатством, годами, а в последнее время его жизни — болезнью и тяжкими страданиями, сильный во всю свою длинную дорогу, молодой душой и сердцем. О нем хочется говорить и говорить долго. О нем хочется также много писать, но это гораздо труднее, чем вспоминать Суворина в товарищеской беседе. Уж, кажется, чего бы лучше, как не взять-

Ежов Николай Михайлович (1862-1941), прозаик, журналист. Статья Н. М. Ежова «Алексей Сергеевич Суворин (Мои воспоминания о нем, думы и соображения)» перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1915, № 1, с. 110-138, № 2, с. 450-469, № 3, с. 856-879).



ся за перо и начать... Но тут-то и нахлынут на вас сомнения. Верны ли ваши критические весы, есть ли зоркий глаз, умение и вкус постигнуть большого человека, произвести верную оценку его громадной и разнообразной деятельности? А. С. Суворин — после Л. Н. Толстого — уж очень перерос все наши представления об общественных деятелях. Впрочем, деятели бывают различные не только ростом таланта, но и качеством. К иному и сердце не лежит, хотя на вид это деятель эффектный, и портрет его хорош, и губы улыбаются, и веночек из роз на челе, как у пирующего древнего римлянина. Но фальшиво смеются уста, нет аромата у цветов, и какою-то мутией покрыты тайные вожделения этого деятеля, хотя иногда толпа его любит, и слава его раздута до чрезвычайности, хотя это и заблуждение.

Алексей Сергеевич Суворин не таков. Его открытое и серьезное русское лицо не улыбается приторной улыбкой, он не прихорашивается перед вами, не завивает в папиюльки своих фраз. Он живет лишь затем, чтобы сказать вам горькую правду, которую он умел говорить всегда. И сам он постоянно ждал правдивой себе оценки, честного к своим трудам печатного отношения. Но если бы вы знали, как не просто подойти к такому большому усопшему деятелю! Тяжелы они, русские золотые таланты-самородки. Я вот сейчас всей памятью моей, всеми итогами впечатлений от долгого знакомства с ним хочу приподнять этот ценный литературный массив, — и, простите, я принужден сознаться, что тяжело и больно стало моему плечу! Но у меня есть «архимедовы рычаги»: это моя любовь к А. С. Суворину и благодарность старого сотрудника, чуткого и оберегающего память своего наставника-редактора. При помощи таких рычагов я, несомненно, делаюсь сильнее и решительнее. И я попробую поднять этого тяжелого и милого старика и поставить его на пьедестал моей собственной постройки, моих архитектурных украшений... *Noli turbare circulos meos!*

А. С. Суворин представляет собой для биографа великолепный материал, ничем не затемненный. Суворин свободен от всякой позы и рисовки. Он «прост, как вычитание целых чисел» (сравнение, может быть, курьезное, но оно удивительно подходит!). Суворин виден весь, и делами своими, и словами он утверждает всегда одно и то же:



— Я вот какой: это люблю, это ненавижу, это вот мне нравится, а это я считаю пошлым!

Главным образом, он был истинный патриот своего отечества и любил его, и весь ему отдавался, отстаивал его во всю жизнь от напастей, сражался с его врагами, хранил его высокое достоинство, стоял за русский талант, за самобытность России. Истинный сын родины, он заслужил себе нерукотворный мавзолей!

Суворин носил имя «Алексей», что значит помощник.

Это было его истинной эмблемой: помощь ближним. Действительно, он только и делал, что всю жизнь и всем помогал. И в прямом, и в переносном значении этого слова. Он всегда смело отстаивал те реформы, какие находил полезными для России, которые нам помогали и нас возвышали; если же что-нибудь он считал вредным, то, не боясь, что возбудит против себя гнев интеллигентной толпы, громко заявлял:

— Это не для России! Назад! Не нужно этого!

Когда вспыхнули студенческие беспорядки (незадолго до Пушкинского праздника в Москве), Суворин первый сказал:

— Если студенты хотят заниматься политикой, а не учиться, пусть уходят из университета! На их место много кандидатов. Вся Русь рвется к науке.

По тогдашнему времени это было очень решительно и резко, но Суворин всегда в своих статьях теснил своей правдой и умом. Недаром Пушкин сказал:

«А ум, любя простор, теснит!»

Впоследствии стало общим лозунгом, что политике не место в храме науки. Правда восторжествовала. Но первый о ней открыто объявил Суворин. Он первым поставил «камень во главу угла».

В 1905 году Алексей Сергеевич оказался за границей. Возвращаясь, он слышал, что у нас «революция».

— Какой вздор! — сказал он. — В России не может быть революции, и все эти события в Москве — пародия на восстание...

Так оно и было! Он предвидел несерьезность и ничтожность «движения».



Суворин имел государственный ум. Как жаль, что он не дожил до нынешней войны, когда воскрес русский могучий патриотизм, вспыхнула былая горячая вера в Бога, явилось мужество, настали победы и над врагом, и над «зеленым змием»... То-то бы порадовался всему этому старый Алексей — этот большой помощник великой России!

II

В гостях у Антоши Чехонте

В 1914 году, в октябре месяце, исполнилось двадцатипятилетие моего сотрудничества в «Новом Времени». Таким образом, почти четверть века мне пришлось иметь непосредственные отношения к издателю этой газеты.

Чтобы говорить о знакомстве с А. С. Сувориным, предварительно никак не избежишь целого ряда лиц, служащих звеньями цепи, ведущими к главной фигуре моего очерка. Не без удовольствия, а подчас даже с прямой отрадой приступаю я к такому рассказу. Приходится вспоминать и живых, и усопших. Стоит только назвать иные имена, как сейчас же повеет юностью, былыми надеждами и очарованиями.

Прежде всего — один из симпатичнейших людей, любимец А. С. Суворина, им созданный или, по крайней мере, твердо поставленный на ноги, только что начавший тогда входить в славу Антон Павлович Чехов, еще не успевший утратить своего прозвища «Антоша Чехонте», популярного в маленьких кружках журнальной Москвы того времени. Под этим псевдонимом Чехов писал свои юмористические рассказы сначала в «Будильнике», «Осколках» и «Стрекозе», потом в «Петербургской Газете», у С. Н. Худекова. В наших кружочках так его и называли. Бывало, назовешь фамилию: «Чехов».

— Кто это? Какой Чехов?

— Да вот — Антон Чехов.

— Ах, Антоша Чехонте! Так и говорите, а то ведь есть еще другой Чехов, Александр, брат его, нашего-то, старший брат.

— Такой же хороший, милый? — спрашивал я у товарищей.



Редактор «Будильника» А. Д. Курепин, писавший также московские фельетоны в «Новом Времени» за подписью «А. К-ин», качал загадочно своей красивой головой и говорил ласково:

— Его псевдоним Агафопод Единицын...

Все смеялись, и только тогда я понял этот смех, когда увидел самого «Агафопода Единицына». Уж очень он разнился с братом! И наружно, и внутренно.

В те времена, т. е. в 1889-1890 гг., Антон Павлович Чехов был высокий, стройный и весьма красивый молодой человек, широкие плечи которого не говорили даже о тени болезненности. Лицо у него было живое, открытое, с прекрасными светло-кариыми глазами, «как копейки», очень умными, иногда задумчивыми, но чаще блестящими огнем веселого и добродушного юмора. Волосы на его голове, волнистые, темные и обильные, формой пряди напоминали волосы Антона Рубинштейна. Небольшая бородка и пробивающиеся усы каштанового цвета несколько упрощали это оригинальное, останавливающее на себе ваше внимание лицо.

Я рисую вам вполне точный портрет Антоши Чехонте двадцать пять лет тому назад. Прибавьте к этой симпатичной наружности не шумную, но очень живую и натуральную веселость Антона Павловича, его постоянное радушие, гостеприимство и любезность, и вы поймете, что такой хозяин только мог забрать в полон сердца своих гостей. Так это и было с нами, его частыми в те годы посетителями.

Чехов недавно прибыл из Петербурга и казался весь полон новыми ощущениями, когда я зашел его навестить (в 1889 г.).

— Ну, батенька, и городок! — сообщил Чехов, рассказывая о поездке. — Прелесть! Восхитительный город. Вы не были в Петербурге? Обязательно съездите. Познакомился я с Сувориным...

— Ну, что же, какое ваше впечатление?

— Впечатление чего-то крупного, совершенно неожиданно и хорошего! Только... представьте, я было совсем отложил свою визитацию в «Новое Время».

— Это почему?

— Да, видите ли, приехал я в Питер, захожу предварительно к брату Александру...



«А, Агафопод Единицын!» — подумал я.

— Он, знаете, в «Новом Времени» служит там, в редакции... Он меня встречает и говорит: «Читаю я твои рассказы... Черт знает, что ты пишешь! Вот, например, «Дома»... так, ерундистика и прочее... Ничего, говорит, понять нельзя! Это и в редакции говорят...

Тут Чехов прервал рассказ, как вещь для себя неприятную, но сейчас же его лицо прояснилось, и он продолжал с новым оживлением:

— А как пришел я в «Новое Время», смотрю, все так на меня и кинулись: «Чехов приехал! Это Чехов... Покажитесь, Чехов! Ах, какой вы молодой...» Пришел В. П. Буренин и тут же расхвалил мои рассказы... Потасили меня к Суворину... Слышу, и тот хвалит, даже в восторге, и все в восторге!

— А как же Агафопод-то Единицын... — начал было я.

— Н-да, Агафопод... Едипод... А знаете, батенька, сколько мне Суворин за рассказы назначил? По двенадцати копеек за строчку!!! (Цена по тем временам, действительно, редкая.)

Чехов радовался, как ребенок.

Относительно «критики» того же Агафопода Единицына я могу сказать, что, вероятно, это было простое брюзжанье, а не серьезная критика. Покойный ныне Александр Павлович Чехов был человек нездоровый, наклонный подчас сильно выпить. Он даже в письмах к брату Антону всегда как-то странно топорщился и несоответственно своему возрасту кривлялся. Например, помню одно такое письмо читалось вслух. Это было гораздо позже, когда Антон Павлович Чехов вернулся из своей поездки на остров Сахалин, т. е. уже настоящей литературной знаменитостью, а «Агафод-Едипод», вперед как литератор, увы, не пошедший, прислал ему из Петербурга такое послание (Чехов начал сам его читать при всех, потом, беззлобно рассмеявшись, бросил):

«Мой кругосветный брат! Говорят, ты, объездив множество земель, вернулся домой, растеряв по дороге последний умишко!»

Это письмо дочитывал, но уже про себя, другой брат Антона Павловича, Иван Чехов («протоучитель Иоанн Павлович Чеховенский», как в шутку именовал его знаменитый брат и даже книжку ему подарил именно с такой надписью).



Такой письменный «mauvais gout» Александр Павлович Чехов проявлял, кажется, постоянно. И главное, письма его были огромные и даже талантливо написанные. Помню, у Чеховых читали еще его письмо о собственной гувернантке, которая была пятидесятилетней немецкой девой с ушами летучей мыши, очень доброжелательной и всего больше на свете любившей картофель. Александр Павлович преуморительно описывал эту особу (все хохотали):

«Узнав, что картофель сильно вздорожал, она (немка) пришла в необыкновенное волнение, хотя за этот продукт плачу все-таки я, а не она!», — писал он и неожиданно добавлял по адресу младшего брата (Михаила Павловича Чехова, студента-юриста, тут же присутствовавшего на чтении): «Мишка, не хочешь ли на ней жениться?!..»

Это было покрыто общим хохотом.

Чтобы покончить с покойным Александром Павловичем Чеховым, я должен сказать, что это был беллетрист с большим талантом, но что-то помешало ему развиться. У него был напечатан в «Осколках» рассказ «Тарасик» (мальчик, сын кухарки, проявлявший любовь к техническому искусству, делавший разные колесики и т. п., за что мать постоянно драла его без милосердия) — этот рассказ, трогательный и живой, сделал бы честь самому Антону Павловичу. Да и много других хороших рассказов и статей напечатал он в разных изданиях.

В тот день, когда я навещал Чехова, в «Новом Времени» появился мой первый рассказ «Леля», и Чехов, вдруг что-то вспомнив, сказал мне:

— Только что получил письмо от Суворина. Там и о вас есть...

— Да неужели?!

Суворин писал немного:

«Леля» г. Ежова напечатана. Тема рассказа банальна, но в нем есть некоторая грация, это мне понравилось, и я поместил его в «Субботниках».

— Ну-с, — сказал Чехов, — теперь вам в «Новое Время» дорожка проторена! Вы говорили, что у вас есть еще темы... Не откладывайте их в дальний ящик, пишите, пишите направо и



налево... Да, вот что еще! Хотите познакомиться с Алексеем Алексеевичем Сувориным? Это вам будет бесполезно, он теперь состоит редактором «Нового Времени». Он будет у меня с женой обедать (Чехов назвал день), вот вы и приходите...

И говоря так, Чехов весело на меня поглядывал. Вообще он был в юности всегда весел.

Попутно скажу, что впоследствии, читая многочисленные воспоминания об усопшем Антоне Павловиче Чехове, я встречал много странных описаний, вроде, например, того, что Чехов имел особый какой-то язык и говорил, будто бы, так: «Да конечно ж», «да он же-шь», «да я же-шь» и т. п., точь-в-точь, как одна из приживалок из комедии Островского, говорившая: да что уж, да ну уж, да я уж! и т. д.

Ничего подобного в речи Чехова не было. Изъяснялся он вполне литературным языком и был, когда хотел, красноречив, что твой адвокат. Лишь изредка попадались у него «южные не-правильности», вроде: езжайте, рассердился и т. п., но и то он постепенно отучился от этого, исправил все свои провинциализмы. А из описаний «воспоминателей» можно подумать, что Чехов был какой-то Васильков из «Бешеных денег», говоривший чуть не по-чувашки.

Точно так же никакого не было у Чехова «баска», ни «характерного», ни обыкновенного. У него был голос слабый — и уж вовсе не басового оттенка. Смех Чехова, приятный и задушевный, говорил о том, что Чехов вообще не склонен сердиться. В нем было что-то тихое и чистое, и басовые звуки не идут к этому симпатичному образу. Я, по крайней мере, их никогда не слышал. Не было ли тогда у Чехова, когда его посещали будущие воспоминатели, бронхита? Это, пожалуй, и создало легенду о «баске».

В описываемое мною время А. П. Чехов переживал весну своего расцвета. Рассказы его в «Новом Времени» следовали один за другим, радуя всех, и В. П. Буренин первый из критиков заметил эти рассказы и написал о них одобрительный фельетон — честь, немногим избранным оказываемая.

Когда Антоша Чехонте, уступая место Антону Чехову, вошел в моду, в гостиной его стало тесно. Нас, маленьких сотру-



ников, стесняло общество артистов-премьеров, художников и т. п. Особенно часто стал бывать у Антона Павловича артист Малого театра А. П. Ленский и почти всегда что-нибудь читал. Надо заметить, что читал он много хуже, чем играл на сцене; и когда он громко «декламировал» какую-нибудь из чеховских одноактных пьесок, то все сидели и внимательно слушали, а супруга Ленского вязала, держа в одной руке коробочку с антипирином; тогда это средство только что вошло в моду, и им многие злоупотребляли, особенно дамы.

Чтобы обрисовать портрет «Антоши Чехонте» и проститься с ним (в следующих главах будет фигурировать только Антон Павлович Чехов, несколько иной человек), — я расскажу следующий эпизод. Эпизод о настоящей улыбке Чехова. Я его бережно храню в своей памяти.

Однажды, собравшись к автору только что выпущенной книги «В сумерках», я подошел к его квартире. Чехов тогда жил на Кудринской Садовой, в доме доктора Карнеева, и окна его кабинета выходили в палисадник и на двор. Я заглянул в окошко — и остановился.

Чехов сидел один, за письменным столом, и что-то быстро-быстро писал. Перо так и бегало по бумаге. Должно быть, он сочинял что-нибудь новое...

Я долго глядел на него. Красивые волосы волнами падали ему на лоб; он положил перо, задумался, и вдруг... *улыбнулся*. Это улыбка была особая, без обычной доли иронии, не юмористическая, а нежная и мягкая. И я понял, что это была улыбка счастья, писательского счастья, — беллетрист, творя, набрел на удачный тип, образ, фразу, и это доставило ему те радостные переживания, которые только пишущим понятны...

Я не захотел своим появлением помешать работе талантливого писателя. Я медленно отправился домой и думал, идя по улицам:

«Чехов будет большим писателем! Все за него: и талант, и умение подолгу трудиться...»

Я был тогда так взволнован, что даже сейчас испытываю легкий трепет сердца. О, молодость, время бесценное и незабываемое! Спасибо, что есть тебя чем помянуть...



Я искренно и глубоко любил Ан. П. Чехова и гордился дружкой с ним.

III

Алексей Алексеевич Суворин

Наше знакомство с А. А. Сувориным, имевшим огромное для меня значение в будущем, устроилось в назначенный Чеховым день. Я пришел несколько позже обеда и застал хозяина с гостем в кабинете, пьющими чай.

— Вот-с, Алексей Алексеевич, ваш новый сотрудник, — отрекомендовал меня Чехов, — автор «Лели», рассказа, который вы, наверное, не читали.

— Напротив, читал, и нахожу, что молодой автор недурно о барышнях пишет, — возразил тихо и очень вежливо А. А. Суворин. — Надо еще написать... и не только о барышнях. Не одни барышни на свете. Не правда ли?

Впечатление этой встречи было для меня более чем приятное. А. А. Суворин показался мне очень искренним человеком, и его корректность положительно очаровала меня.

Суворин и Чехов возобновили разговор.

— Я ее бросил читать, совсем бросил! — говорил, ероша волосы, Чехов (речь шла о журнале «Русская Мысль»). — Действует своей скукой усыпляюще, как сонные порошки!

— Да что вы? — улыбнулся А. А. Суворин. — Надо будет сегодня же купить последнюю книжку, а то у меня бессонница...

— Вы знаете, Алексей Алексеевич, — продолжал Чехов, — они меня недавно к себе заманивали работать... почву ощупывали... Но уж после отзыва о моей книге — нет, слуга покорный! И как не стыдно этому Лаврову... Строки не дам я в его «честную», но бесталанную «Русскую Мысль!»

А. А. Суворин спокойно заметил:

— По-моему, Лавров — это маленькая, незначительная флюгарка; сегодня так, завтра этак; согласись вы писать, он именно одобрит и напечатает то, что не похвалил у вас его Виктор Гольцев.

— Может быть. Только я туда ничего не дам!



— А скажите, Антон Павлович, правда ли, что профессор Гольцев, чувствуя, что после отставки он совсем утратит популярность, решил отправиться в участок и там просил, чтобы его «для славы» арестовали денька на три?

Мы засмеялись. Чехов просто покатывался.

— Это петербургская выдумка, но это прелестно! — сказал он. — И отчасти на Гольцева похоже...

— Нет, это ваша московская легенда, — возразил Суворин. — И, будто бы, полицейский пристав сказал Гольцеву: «Я бы, профессор, весьма рад вам услужить, но, ввиду вашей абсолютной невинности, никак не могу удовлетворить ваше ходатайство!»

Чехов опять расхохотался. Беседа эта продолжалась довольно долго. Я все сидел и жадно слушал А. А. Суворина. Меня безудержно «тянуло» к этому петербургскому журналисту, сыну славного писателя и редактору той газеты, куда проникнуть было, пожалуй, желание всякого начинающего литератора. А мне, как выразился Чехов, «дорожка туда была проторена»...

В те годы «Новое Время», как газета, имело ошеломляющий успех и в России, и за границей. Оно блистало талантами. Статьи А. С. Суворина будоражили русскую жизнь, и голос издателя слушали и высокие особы, и все образованное общество. Фельетоны В. П. Буренина производили сильное впечатление в литературных кругах. Печатали свои хлесткие памфлеты Житель. Все сотрудники газеты были молоды, энергичны, смелы. Этой великолепной литературной колесницей правили могучие руки самого А. С. Суворина. Он давал тон всему хору. Издание выходило в свет в такой филигранной отделке, какой никогда не отличалось ни одно из русских изданий, ни раньше, ни теперь. Уже тогда это дело так разрослось, что у издателя не хватало сил, ему нужен был помощник.

Таким помощником и соредактором появился именно А. А. Суворин. Этот молодой человек был весь в отца: он мог работать день и ночь, он ввел порядок, точность, аккуратность, а по отношению к сотрудникам также явился достойным заместителем отца. Его слово было твердым документом.



IV

Первые письма А. С. Суворина

Второй дебют мой в «Новом Времени» был неудачен: Суворин не принял моего рассказа (кажется, он назывался «Два взгляда»), вернул его мне обратно и написал длинное, на четырех страницах, письмо. Я долго ничего не мог понять в этих иероглифах. Почерк Суворина — это нечто недоступное... для новичка. Если же изучать его, понять «ключ», то дальнейшие письма читались раз от разу легче. Я привожу его письмо в сокращении:

«Этот рассказ мог бы итти, потому что он не хуже многих, которые появляются в наших журналах и газетах, но в нем, батюшка, столько психологической путаницы, что даже досадно становится. Отношения лиц романа, повести и рассказа, запомните это, должны быть ясны автору, а я уверен, что вы сами не даете себе отчета в некоторых поступках своих героев. Вы бы прочитали рассказ Чехова, где доктор ударил фельдшера. Посмотрите, как просто и понятно объясняет Чехов душевное состояние этих лиц после скандального происшествия. Читатель скажет: да, это верно, так бывает на деле... Но беда автору, если читающая публика, остановившись на каком-нибудь месте, заметит: что-то странно... бывает ли так в жизни? Вот и у вас такой случай: не верится, что так бывает... Да и любовный эпизод... гм... Не женщины в этом грешны, голубчик, а мужчины. Вы — автор молодой, талантливый. Берите какие угодно сюжеты, потому что бояться сюжетов — беллетристом не быть! Но надо описывать то, что вы сами способны представить себе ясно. Повторяю, поглядите, как все ясно в рассказах Чехова, а у вас, новейших дебютантов, темно. Писать вы можете, но надо трудиться. Ищите правды, остальное приложится».

Для начинающего писателя такое письмо¹⁾ — полная неожиданность.

¹⁾ Я выбрасываю остроумные фразы А. С. Суворина о любви чисто физической. Он цитировал «Фауста», «Дворянское Гнездо» и решительно был против реализма в подобных описаниях наших беллетристов. *Авт.*



Я понял ценность цитируемого письма, долго над ним подумав. А. С. Суворин, человек, которому не хватало на работу суток, будь в них хотя сорок восемь часов, вдруг удосужился и написал мне длинное письмо!

А так он и всем делал. Слабость других инстинктивно делалась ему понятной, и он спешил на помощь. Письма Суворина ко множеству людей — это и есть тот явный признак плодотворной суворинской деятельности, направленной на благо ближних. Что такое вся жизнь Суворина? Вся его работа? Великие и разнообразные труды? — Исполнение долга мудреца-гражданина перед лицом общества. Каждый его шаг — служение на пользу людей. Суворин не имел ни одного «пустого» дня. Он вечно был занят. Заметив малейшую неправильность, он спешил вас научить: «Не так! Это надо так!», — говорил он. Россия, учреждение, редакция или маленький сотрудник — для всех одинаково открывалась речь Суворина, а перо писало свои поучительные афоризмы. И так-то всегда торопился он помогать, учить и служить. По завету Пушкина, поэт должен «чувства добрые лирой пробуждать». Лира Суворина бряцала на прозаических струнах, но гимны ее были всегда составлены по этим заветам великого поэта. Суворин *не мог не быть полезным*. Как свеча, он освещал все темные закоулки; как пчела, он питал медом всех, кто достигал его улья. Таково было отличительное качество его сердца, души, ума, таланта.

За двадцать лет непрерывных отношений я много получил от А. С. Суворина писем, устных советов и указаний. Было не раз, что он сердился на меня. Про Суворина ходила слава, что он мастер на «ругательные» письма. А я скажу так, что даже самое его ругательное из ругательных писем было не ехидно, потому что оно происходило из доброго чувства принести вам же пользу. Явное, настойчивое и горячее желание жило в таких письмах: это добиться вразумления человека, чтобы он исправился к лучшему, и общее дело от этого выигрывало. Вообще, *бессмысленной брани* от Суворина, я утверждаю смело, никто не получал. Да и не мог этого сделать А. С. Суворин, каждое движение которого знаменовало смысл, разумное действие. А спокойные его письма одно восхищение было читать. Я ими всегда упивался.



Начав писать фельетоны из Москвы (по приглашению А. А. Суворина, которому понравился очерк о скачках), я повел войну с московским кредитным обществом. Суворин не мешал этой борьбе, но нет-нет да и делал свои замечания, находя, что я порой *врежу сам себе*.

«Вы все полемизируете с кредитными мздоимцами и защищающими их московскими литераторами, тогда как ваш очерк о них куда интереснее всего вашего московского городского кредитного общества, со всеми его ворами и приплясывающими газетчиками. В самом деле, вы в лирических описаниях очень сильны, и я вам прямо, *для вашей же пользы*, советую чаще выступать в том роде творчества, в котором вы сильнее. У вас замечается стремление туда, где ваше перо гораздо слабее. Вы умеете писать трогательно, душевно. Стоит ли говорить о газетчиках, о ***, о воришках, о плутах, которых судят и, вероятно, засудят? Я знаю, что ваш Н и глуп, и туп, но это и до вас было хорошо выяснено. Москва интересна местными особенностями. Вы городское хозяйство знаете, и несколько статей по хозяйству вполне уместны. Но у Москвы есть старообрядцы (это область мало затронутая), есть театр и биржа. О театре вы исправно оповещаете. Так и нужно, конечно. И хоть я и не поклонник фельетонов с цифрами и конторскими выкладками, я даже вашу «кредитку» предпочту полемике с Р-ными. Опишите мне Грачевку, ее переулки, известного сорта «дома»... До сих пор этого нам из Москвы еще никто не писал, по крайней мере не писал с толком. Вообще, ратуйте не против журнальных дурачков, а против безобразий жизни, против рутины, застоя, вреда житейского. Все, что писатель пишет, должно быть ярким протестом против искажений нормы человеческого существования...»

Вот как воспитывал всех нас, начинающих журналистов, старик Суворин, наш лектор в письмах и профессор в статьях!

Суворин никогда не насиловал ничьих убеждений. Он не боялся разницы во взглядах, но требовал от вас правдивости, искренности. Он не терпел лишь одной фальши, да и трудно было ее скрыть от него. Многие пробовали подделаться к Суворину, усиленно нападая на какие-нибудь его антипатии, — Суво-



рин сразу понимал, что человек кривит душой, и тут же откровенно высказывал ему свои основательные догадки...

V

Личное знакомство

Впервые приехав в редакцию «Нового Времени» (я тогда еще не писал фельетонов и корреспонденций из Москвы), я встретил Виктора Петровича Буренина.

«Да неужели это граф Алексис Жасминов?!» — думал я, созерцая этого джентльмена-писателя, одетого франтовато, с мягкими манерами и мягким спокойным голосом.

— Вам нужно издать книжечку ваших рассказов, — говорил он, — я думаю, Суворин согласится это устроить. Вы еще не виделись с ним?

Я ответил, что нет.

— Идите, сейчас же идите, теперь самое удобное время...

Я отправился (редакция и квартира Суворина тогда помещались на Малой Итальянской улице, ныне улица Жуковского). Кабинет Алексея Сергеевича показался мне какой-то гигантской храниной. Из-за письменного стола поднялся большой и взъерошенный человек, он потянулся, поглядел, кто вошел, и тотчас же зашагал ко мне навстречу, говоря:

— Вы из Москвы приехали? Вы мило пишете. Привезли еще что-нибудь?

Я сказал, что привез и отдал В. П. Буренину.

— Ну, и отлично. Я теперь беллетристику не читаю. Как здоровье Антона Павловича?

Я только собрался ответить, как вошел лакей и подал письма, бандероли и сообщил, что Алексея Сергеевича просят по делу в редакцию.

— Кто там?

Лакей назвал чье-то имя.

— А, хорошо! Я сейчас... Вы, голубчик, заходите, пишите, очень рад! — сказал Суворин, на ходу протягивая мне руку, а другой рассматривая какое-то письмо.

Говорят, первое впечатление бывает самое яркое. В данном случае я этого не скажу. Я почти не рассмотрел А. С.



Суворина. Что-то крупное, волосатое, напоминающее художника Шишкина, что-то озабоченное и, главное, чрезвычайно занятое.

Я застал Суворина среди кипучей редакторской деятельности. Но ничего сурового или антипатичного не было и тени. Я вышел от Суворина в довольном расположении духа, хотя он сказал мне всего несколько слов, был как будто небрежен.

Впоследствии Чехов, выслушав, как я познакомился с Сувориным, сказал:

— Что вы, Николай Михайлович! Он вас отлично принял. Суворин не лицемерен. Кому он не рад, тому не скажет, что рад, и уж заходить и писать не попросит... Жаль, что вам не удалось потолковать об издании книжки! Ну, да я как поеду, скажу на сей счет...

Следующее мое свидание с Сувориным состоялось, когда уже моя книга «Облака и другие рассказы» готовилась к печати. Я поехал к Суворину в то время, когда у него гостил Чехов. Меня к нему и провели. У Чехова сидел в какой-то принужденной позе рыжеволосый молодой человек, отчасти похожий на еврея. Разговор его с Чеховым, что называется, не клеился, и Чехов, увидя меня, сказал:

— А, приехали! Это очень хорошо, у меня есть дело к вам. Вы не знакомы, господа? Морской беллетрист г. Чермный (настоящая фамилия — *Черман*), а это... (он назвал мою фамилию).

Мы раскланялись, после чего Чермный скоро ушел. Он мне показался надутым и не общительным.

— Вы читали его рассказы? — спросил Чехов.

— Читал. По-моему, великолепные вещи. Как хорошо море описано, моряки...

— Да, это правда. А не приходит вам в голову, что это только хороший перевод, а не оригинал?

Я затруднился ответить. В эту минуту дверь отворилась, быстро вбежал лет 10-11 мальчик и, вежливо мне поклонившись, сказал:

— Антон Павлович, папа хочет к вам зайти, можно?

— Можно, Боря, можно! Мы оба ждем папу... А что, он здоров?



— Ему лучше!

Мальчик опять вежливо и ловко поклонился и вышел. Это был Борис Алексеевич Суворин, нынешний редактор «Вечернего Времени».

Скоро раздались тяжелые шаги, и показался Алексей Сергеевич Суворин. На нем был надет зеленый бархатный халат (после мне Чехов объяснил, что сам Суворин к одежде — равнодушнейший человек в мире; что ему подадут, в то и оденется; халат зеленого цвета, очевидно, подарили ему родные — он равнодушно надел и зеленый халат).

Тут я впервые рассмотрел его лицо, и мне показалось, что он похож на графа Толстого. Только он был повыше, погрузнее, и брови были какие-то особенные — дугой, наискось. Взгляд его был спокойный, простой и не вопрошающий, а как бы ожидающий. Он ласково протянул мне руку и сказал:

— А мы вашу книгу пускаем! Вот он (Суворин кивнул на Чехова) берется корректуру прочитать.

— Да, да, я просмотрю, — услышался голос Чехова. — У меня тут Чермный был и несколько ваших книг унес... Я вот спрашивал Николая Михайловича, не напоминают ли ему рассказы Чермного перевод с английского?

Суворин улыбнулся.

— Да, есть что-то... этакое... А если и переведено, то очень недурно!

— Ужасно странный человек. Осведомлялся, знаю ли я по-английски! Я сказал, что знаю.

Суворин опять улыбнулся и спросил:

— Читали «Новое Время»? Я сегодня доволен ответом князю Мещерскому. Благородно ему ответил, с душой...

Этот спор с князем Мещерским из-за какой-то статейки в «Новом Времени» обошелся Суворину ровно в 1000 рублей. Князь Мещерский говорил, что подобная заметка есть в газете Суворина, а Суворин отрицал. Сотрудники все переискали и сказали, что князь Мещерский по обыкновению лжет: такой статьи не было помещено.

Тогда Суворин предложил издателю «Гражданина» пари на 100 рублей, в пользу благотворительных дел.



Хитрый Мешерский сказал:

— Что за сумма 100 рублей, не хотите ли 1000 рублей?

Суворин пари принял... и проиграл. Его сотрудники плохо искали в собственной газете. Алексей Сергеевич немедленно внес, куда следует, 1000 рублей и вот тут-то «с душой» и ответил Мешерскому.

И даже легкой досады не выразил А. С. Суворин, говоря о своем поражении! Впрочем, разве это было поражением?

VI

Обед беллетристов

В книжном магазине «Нового Времени» в Петербурге была в те годы особая комната, где собирались сотрудники, и куда приходили и другие писатели, не сотрудники суворинской газеты. Туда водил меня дважды А. П. Чехов, познакомил с Вас. Ив. Немировичем-Данченко, И. И. Ясинским (Максимом Белинским) и др. На одной беседе Чехову пришло в голову:

— Господа, давайте устроим обед беллетристов? Соберемся в ресторане, по подписке, съедим уху, кулебяку... вина выпьем, побеседуем...

Мысль понравилась. Чехов сейчас же решил произвести «перепись» беллетристов, которых следовало пригласить, меня заставили писать, а сами (Чехов, Ясинский и Мамин-Сибиряк) стали припоминать и диктовать имена.

Вот, кажется, полный список участников этого «первого обеда беллетристов»:

Д. В. Григорович, С. В. Максимов, И. Ф. Горбунов, А. С. Суворин, А. П. Чехов, Вас. И. Немирович-Данченко, В. А. Тихонов, П. П. Гнедич, И. Н. Потапенко, И. И. Ясинский (Максим Белинский), С. Н. Терпигорев (Атава), Н. А. Лейкин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. С. Баранцевич, В. Г. Авсеенко, А. Н. Черман (Черный) и я.

Собрались в «Малом Ярославце».

Григорович несколько запоздал. Слышу: кричат и аплодируют!



— Григорович, Григорович! Бра-а-во! Бра-а-во!

Дмитрий Васильевич Григорович, элегантно одетый старичок, вошел при общих ликованиях. С Сувориным он сейчас поцеловался и спросил:

— Кому пришла в голову хорошая идея созвать беллетристов? Кого нам благодарить за это?

— Чехову, вот кому!

— Чехову? Где он! Дайте, я поцелую этого умницу!

И Григорович обнял Антона Павловича.

Все уселись за стол, а раньше, по обыкновению, закусывали. Н. А. Лейкин, любивший поточить на своих сорудниках зубы, увидал меня и, схватив за руку, подтащил к Атаве.

— Сергей Николаевич, Сергей Николаевич! — задребезжал он. — Вот это Ежов, вы знакомы с ним?

— Знаком, знаком, — отвечал Терпигорев, протягивая мне руку.

— Я говорю: хоть бы вы, Сергей Николаевич, внушили ему... Вообразите, сколько я у него рассказов ни читал, всегда его герои закусывают семгой! Как будто нет другой закуски!

Но скоро Лейкин умолк. Да и все бросили разговоры «кучками». Встал И. Ф. Горбунов, со своим типичным лицом, и заговорил:

— Позвольте, господа, от души приветствовать вас, людей пера, такому же, как и все, любителю русской литературы!

Все сейчас же заплодировали. Пользуясь перерывом в речи, Атава вдруг спросил:

— Иван Федорович, отчего вы сидя не говорите?

И. Ф. Горбунов вдруг слегка «укололся».

— Я знаю, Сергей Николаевич, что здесь я пользуюсь одинаковыми со всеми правами, значит, могу и сесть, но... у меня уж такая привычка! Итак, господа, приветствую всех! Воскресают старые обычаи пишущих людей града Петербурга. В давно прошедшие годы литераторы так же собирались по «кабачкам» и весело проводили время. Припоминаю время поэтов Ситцевых, подражателей Барковых (Суворин в это время сказал кому-то из соседей: «Все это верно, и поэт Ситцевый был!»). Но о сем я скажу впоследствии, а пока только о былых литературных со-



браниях *константирую* (это неправильное слово вызвало усмешку С. Н. Терпигорева) факт! Извольте видеть, вообще, литературные кружки на Руси были, и там нашему брату, начинающему писать, или артисту, теплом грело. Например, что за кружок существовал в Москве, когда там, бывало, сходились Александр Николаевич Островский, Пров Михайлович Садовский, Алексей Феофилактович Писемский и другие таланты. Я тогда ютился возле, как маленький актерик, и потребляли меня в качестве переписчика. Не могу забыть, когда переписывал я роли из «Своих людей», и попалось мне слово «упаточилась». Замаялся я, переспросил, а Островский недовольным тоном ответил: «Упаточилась, упаточилась! — чего тут не понять, самое простое русское слово!» Скажу вам, что в этом кружке мы ходили попросту: кто в косоворотке, кто в поддевке, а Островский и Садовский носили валенки и полушубки. И вот-с, посетил нас достопочтеннейший и достославнейший Дмитрий Васильевич Григорович, на которого мы все сейчас имеем великое счастье устремлять взоры свои (все, действительно, поглядели на Григоровича и опять захлопали в ладоши). Вот-с, приходит Дмитрий Васильевич. — продолжал Горбунов, — и видим мы, что это человек не от мира сего. И парочка на нем дорогая и пестренькая, и галстучек восхитительный, с драгоценной булавкой, и ножку он, сидя, подвернул, ан чулочек у него алого цвета, что мы и во сне не видавали. И пахло от него не по-нашему. Сразу человек-европеец оказывался. Говорит, да нет-нет во французский диалект ударится. И не раз Дмитрий Васильевич к нам жаловали, и всякий раз в нем перемена в облачении нами примечалась. То был в пестреньком, а теперь в сереньком с искрою, и чулок голубенький, а туфля лаковая. Немало мы тому дивились и в спор вступали, во что все это симпатичному писателю обходится?

Д. В. Григорович сидел, слушая и свесив все еще красивую голову набок, и улыбался. Увы, он уж далеко не был похож на свой «популярный» портрет, где он изображался кудрявым бакенбардистом, таким лихим молодцом-кудрявичем; теперь эти кудри и баки исчезли, на месте последних была седая и жиденькая борода, лицо похудело, покрылось старчески-



ми морщинами, глаза потускнели. И говорил он, как старик, надтреснутым голосом.

Тем временем Горбунов продолжал — и все снова явили общее единодушное внимание:

— Вот как-то раз сидим мы в своей компании, болтаем свое о театре, о пьесах, и все, как всегда, одеты попросту. Вдруг отворяется дверь — Мать Пресвятая Богородица! — мы так и ахнули! Иван Сергеевич Тургенев, собственной своей персоною!!! Все мы обомлели. Глаза на него уставили. Ну, он ничего, со всеми ласково обошелся, а потом сел — и за Садовского, Прова Михайловича, взялся. Основательно он за него взялся. Вы, говорит, талант, в вас искра Божия! Да знаете ли, говорит, что это налагает, чему обязывает?! — И пошел, и пошел... Вы, говорит, слуга искусства, жрец алтаря... ведь это храм... светильники курятся... Постигаете ли вы это, понимаете ли? Садовский заговорил было... Постойте, говорит, вникните! Вы бесподобно играете, но ясен ли вам этот Бог, которому вы поклоняетесь?! То есть, так он пробрал его, что того даже в пот ударило... Встал Тургенев, посмотрел на всех ласково, руки всем пожал, Прова Михайловича поцеловал и ушел. Сидим мы, молчим, муху слышно, если пролетит. Отдулся Пров Михайлович, крикнул и сказал: «Дворянин... (крепкое слово)!»

Надо было слышать, как все это рассказывает И. Ф. Горбунов, чтобы понять весь юмор рассказа, великое его искусство делать значительными, казалось бы, простые, даже незначительные и несмешные вещи! Это описание Григоровича, Тургенева, Островского и Садовского, и также крепкое слово последнего, сказанное в смысле удивления, почтения и восхищения перед Тургеневым, все это, повторяю, так было сказано, что общий искренний хохот и сердечные аплодисменты были наградой талантливому рассказчику.

А. С. Суворин смеялся также от души и добродушно кому-то объяснял:

— Все это правда, Горбунов никогда не присочиняет от себя!

Я слышал Горбунова впервые. Такого рассказчика, я думаю, русской сцене не нажить. Иван Федорович сам являлся



великим самородком: он первоклассный русский писатель, его народные сцены — это перлы русской литературы, но Господь Бог щедро расточил ему свои дары: он сделал его и неподражаемым рассказчиком... В этот вечер я видел этот дар во всем его блеске и роскоши. Горбунов был в ударе, да и аудитория была редкостная: сам Григорович присутствовал! Чехов раза два подмигнул мне и спросил:

— Ну, что, хорошо?!

— Хорошо, Антон Павлович!

— Погодите, подопьют — что дальше будет!

Дальше... продолжалось царство Горбунова. Он рассказывал анекдоты, изображал «модных актрис», читал стихи (довольно неприличные, но очень смешные) поэта Ситцевого. Затем выпили за здоровье Дмитрия Васильевича Григоровича, за Максимова, за Суворина и за всех писателей и представителей русской литературы. Перешли на анекдоты. Встал Д. В. Григорович (старик был очень доволен вечером и общим к себе вниманием). Он сказал приблизительно следующее:

— Много рассказчиков на святой Руси, и все они рассказывают, пожалуй, недурно. Но перед И. Ф. Горбуновым все уничтожается. В одной известной сцене толстая купчиха, высовываясь из окна, говорит нищим, которых она приготовилась оделять: «Эй, вы, которые... подходите!» Так вот и И. Ф. Горбунов именно так может обратиться к толпе рассказчиков и сказать им от себя: «Вы, которые, подходите!».

Это довольно ироническое начало Д. В. Григорович пригнал к тому, что, невзирая на присутствие такого удивительного артиста-рассказчика, он сам, Григорович, никогда не рассказывавший, дерзает среди милых собратий сейчас рассказать «анекдотец»...

Аплодисменты были ему ответом.

И Григорович рассказал фривольный анекдот про старика и старуху, причем, сам шамкая, старался шамкать нарочно, и поэтому две трети анекдота разобрать было затруднительно. Все кончилось смехом, рукоплесканиями. Все, наконец, поднялись и стали собирать подписные деньги (по 4 рубля 50 копеек, если не ошибаюсь). Казначеем был А. П. Чехов. На прощанье решили



собираться на беллетристические обеды ежемесячно... Однако для меня это был первый и последний беллетристический вечер. На другие обеды мне попасть не удалось, да, кажется, и Чехову также.

На этом первом обеде я слышал, как А. С. Суворин говорил со своими соседями:

— Это хорошо, что теперь устанавливается дружба среди пишущих. Не все же драться и махать картонными мечами! Пусть такие же обеды устраивают драматурги, журналисты... все же это лучше игранья в карты по клубам, право, лучше!

Я очень хорошо разглядел тогда Суворина. Какая мощь чувствовалась в нем! Большой, плечистый, с суровым лицом, которое было как-то внутренне освещено серьезной мыслью, оно было положительно прекрасно; это был образец журнального борца, сознающего святость задачи своего дела и бесстрашно идущего к намеченной цели.

VII

Наезды А. С. Суворина в Москву

Я думаю, что А. С. Суворин не любил Москвы. По крайней мере, ходя вместе со мной или ездя по Москве, он всегда был недоволен городом.

— Ну, послушайте, голубчик, — говорил он, глядя на кучи мусора, неровную мостовую, стаи собак и т. п. — Ведь это что же такое! Константинополь! Что у вас полиция делает? То-то, читаешь ваши корреспонденции, сразу видишь, что человек ругаться хочет. Теперь понимаю, что ругаться следует.

Но он любил Москву в «кусках». Кремль, виды Москвы, театры, магазины — это нравилось Алексею Сергеевичу. Часто бывал он в Третьяковской галерее, хотя сердился, что «далеко».

— Что за город! Лучший музей где-то под Таганкой, лучший ресторан — возле Грачевки... Кстати, Грачевка вам отлично удалась. Описывайте почаще эту голытьбу. Ваш фельетон и Леле (А. А. Суворину) понравился. Вы умеете описывать людей. Теперь вам бы описать биржу...



Пушкинский праздник был отравлен А. С. Суворину. Раньше он сам писал мне, что приедет на всероссийское торжество, но перед этим были студенческие беспорядки, и Суворин написал свое знаменитое «Маленькое письмо», в котором сказал, в сущности, вовсе не страшную фразу:

«Студенты, не желающие учиться, могут уходить из университета. На их место кандидатов сколько угодно».

Однако же враги «Нового Времени» постарались из мухи сделать слона. Они стали печатать инсинуации на автора «Маленького письма», начались «письма в редакцию» из публики, какие-то инженеры «отказались от подписки» на «Новое Время», словом, началась травля Суворина. И хотя он был боец обстрелянный, все-таки подобная несправедливость его взволновала и уколола больно его самолюбие. Правда, он приехал в Москву как раз накануне Пушкинских дней, я его и А. П. Чехова увидел в магазине «Нового Времени», но в тот же вечер он направлялся к себе в имение.

Узнав, что я, по распоряжению А. А. Суворина, заказал венок и буду в числе прочих депутатий возлагать венок от «Нового Времени», Суворин сказал недовольным голосом:

— Ну, к чему все это? Что можно придать великому Пушкину какими-то венками и депутатиями?

Замечательно, что о Пушкинском чествовании буквально ту же мысль высказал Л. Н. Толстой. Я приехал к великому писателю узнать, правда ли то, что про него рассказала одна газета.

Л. Н. Толстой (я с ним уже был знаком) встретил меня очень любезно и сказал:

— Прочитайте, пожалуйста, что там такое написано! — и добавил с неподражаемым юмором: — Интересно послушать, что я-то сказал писателю!

В газете говорилось, что Толстой был против всяких чествований:

«Собравшиеся должны отслужить панихиду и разойтись по домам!»

Л. Н. Толстой, выслушав, вскочил и забежал по кабинету.

— Это, они пишут, я сказал?



— Да, вот, поглядите...

— Ну, послушайте, что же это такое?! Ведь я еще не умер! Я еще живу! Видите ли, теперь у меня к вам просьба. Когда-то мы с вами кое о чем поговорили, а я просил вас ничего не печатать. Вы исполнили это?

— По вашей просьбе ни одного слова не опубликовано, — ответил я.

— А сейчас я, напротив, прошу вас опубликовать! Опубликуйте, во-первых, что это вздор, то есть что я не мог рекомендовать служить панихиды и расходиться домой. Я говорил и еще раз скажу, что Пушкин, в сущности, настолько велик и блестящ, что никакие чествования не прибавят ему ни величия, ни блеска. Поэтому можно чествовать Пушкина, но можно и не чествовать. Хорошо бы соединить с этими праздниками какое-нибудь доброе дело. Если же литераторы и разные общества решили непременно праздновать Пушкинские дни, то отчего же не праздновать? Вот единственное мое мнение, так вы и напишите.

Однажды А. С. Суворин приехал в Москву и взял ложу в Новый театр, где в тот вечер «молодые артисты и артистки» труппы Малого театра играли в пьесе Сарду «Термидор». Режиссеры А. П. Ленский и А. М. Кондратьев очень просили издателя «Нового Времени» посетить именно первое представление.

А. С. Суворин вызвал к себе Чехова и попросил его известить и меня, говоря, что вместе посмотреть «Термидор» будет интереснее.

Так мы втроем в ложе бельэтажа и восседали. Суворин до зрелища был весел, разговорчив и все обещал хороший результат спектакля.

— Ленский мне прямо ручается за успех! И пьеса эффектная и играют, говорит, хорошо. Пьесу-то я знаю, а вот как играют — посмотрим...

Игра началась. Смотрю, лицо Суворина вытягивается, глаза начинают поблескивать. Наконец, он не выдерживает и шепчет:

— Господа, это черт знает что такое! Антон Павлович, вы что скажете...

— Да, что-то не тово...



— Это хуже, чем не тово! Это и поставлено омерзительно, и игра самая заволжская... Крик, шум, нескладная суетня! Что за вздор — вот хоть эта сцена... Как фамилия этой актрисы?

Я шепотом называю.

— Откуда они их набрали?

— Это молодежь... их много, этих молодых...

— Да что, Малый-то театр — воспитательный дом, что ли? Молодежь! Это мне нравится!

Кончилось одно или два действия, уж не помню. Двери ложи отверзлись, и А. М. Кондратьев влез своей грузной фигурой: за ним виднелся виц-мундир какого-то чиновника театра.

— Ну, как, Алексей Сергеевич? — осведомился Кондратьев. Суворин так на него и вскинулся.

— Послушайте, голубчик, да это что же? Позвольте, разве это представление? Разве это постановка? Ведь это ужас! Зачем у вас такая сумятица? Это что — толкучка московская, что ли? Кто у вас ставил «Термидор»?

— Ленский, Александр Павлович, — испуганно отвечал Кондратьев.

— Как ему не стыдно! Вы так ему и передайте, что стыдно! Или вот, например, сейчас, в сцене...

Они вышли из ложи. Чехов смеялся потихоньку и говорил мне:

— Глядите, глядите, как Суворин увлекается! Точно юноша! А как кричит-то... ужас! Вот за что его всегда полюбить можно...

Мы брели сзади, а Суворин продолжал распекать и Кондратьева, и чиновника. Те уж не знали, как от него отбиться. Наконец Суворин увидел С. В. Васильева (Флерова), известного и очень талантливого театрального критика «Московских Ведомостей».

— А! Вот кого мне надо... Как, бишь, зовут его?

Мы замялись, но Суворин не стал дожидаться и рванулся на Васильева.

— Ну, что, батюшка! Ведь это что же, а?!

Он ухватил его за руку и потащил с собой, говоря целые монологи о пьесе и об игре артистов.



Васильев — важный старик небольшого роста — шел и солидно кивал своей красивой головой с седыми кудрями. А Суворин, большой, сгорбленный, с лохматыми волосами и бородой, шел, махал руками и кричал на все фойе, обращая на себя внимание публики.

— Как увлекается, Боже, как он увлекается! — твердил Чехов.

Да, так любить театр и увлекаться им мог только А. С. Суворин. Я не забуду никогда нашей беседы о московском Художественном театре. Скажу кстати, что до открытия этого театра я ожидал совершенно иного. Мне казалось, что гг. Вл. Ив. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский явятся добросовестными режиссерами, любовно и тщательно ставящими хорошие пьесы. Первое представление «Царя Феодора Иоанновича» положительно разочаровало меня. Я увидел море мишуры и мало таланта в исполнении. Кроме того, к пьесе сделаны были «режиссерские дополнения» — новинка тогдашнего времени, и я, удивленный, не стал даже писать отчета о первом спектакле, дал только небольшую заметку, а самому Суворину написал большое частное письмо, говоря, что я новых приемов нового московского театра не понимаю. По-моему, это только странность, дающая простор для режиссерского произвола, и если подобная мода установится, то, пожалуй, все искусство сценических изображений будет областью одного режиссера. Во что же обратятся актеры? В куклы, в марионетки? И что же будет, если режиссер окажется глуп?

Не знаю, попало ли в руки А. С. Суворина это письмо. Как будто нет... Однако ж, когда Суворин сам полюбовался на спектакли Художественного театра, он написал свою знаменитую статью «о скворцах в искусстве».

В Художественном театре поставили «Доктора Штокмана». Роль ибсеновского героя очень хорошо играл К. С. Станиславский, и я расхвалил его в рецензии. Спустя довольно долгое время приезжает в Москву А. С. Суворин, и из «Славянского Базара» мне передали, что Алексей Сергеевич ждет меня к себе в восемь часов вечера.

Я приехал — у Суворина на столе стоял красивый самовар, и знаменитый театрал попивал чаек. Тут же стояла корзинка с



яблоками «Наполеон» (я случайно узнал, что это, кажется, были любимые яблоки Алексея Сергеевича).

Я поклонился.

— Здравствуйте, здравствуйте! Что это вы, голубчик, пишете о Художественном театре? Ах да ох! И хорошо, и талантливо, и то, и се... Я говорю о «Докторе Штокмане». Уж как расписали!

— А разве не хорошо? — спросил я. — Согласитесь, что Станиславский очень недурен...

— Я не говорю, что он плох. Хорош. И это хорошо, что вы их похвалили. За «Доктора Штокмана», пожалуй, можно. А только особенного ничего нет. Народное заседание, где действует это самое «никогда не могущее быть правым» большинство, — даже очень деревянно и вымученно. Сразу видно, что актеров натаскали, а все-таки вышло плохо... Сам Штокман... Не знаю, право, а по-моему Станиславский не так играет. Я бы не так играл... Вы помните сцену, как он из-под мебели камни достает? Он вот что делает, этот длинный Станиславский...

Суворин вдруг живо вскочил со стула и, внезапно приняв позу Станиславского (и это было так похоже!), полез под диван и голосом того же Станиславского закричал:

«Катерина, Катерина! Смотри, я еще нашел камень... вот, гляди, Катерина!»

Суворин поднялся и продолжал:

— Зачем это он все моргает, все моргает, как обезьяна? Все это у него «сделано», для эффекта, а не от души! И голос не потрясенный, а равнодушный... Разве это возможно? Ну, скажите, разве можно в эту минуту говорить равнодушно? С толпой он держится лучше, но... и там фальшь в голосе! Нет, не говорите! Если придираться, то и в «Штокмане» Станиславский наделал грехов и промахов... И как он ходит странно... (Суворин прошел, опять делаясь очень похожим на Станиславского). Вообще, они фокусники, великие люди на малые дела, у них душа-то на втором плане, а прежде всего виднеется форма. Вы видели у нас «Царя Феодора Иоанновича»?

— Видел, — отвечал я.

Суворин продолжал горячо:



— Орленев двумя головами выше вашего Москвина, а у вас его уж как хвалили! Москвин даже не понимает, кого играет. У нас трагедия поставлена проще, а у них напичкано много сусального золота. Разве это нужно? А что я, голубчик, вчера увидал у Корша, так это... это...

И Суворин с тем же увлечением стал говорить о какой-то пьеске, данной в театре «Корша» (Суворин тут же остроумно разобрал и пьеску, и исполнителей). В заключение он добавил:

— А ведь нельзя сказать, чтобы актеры были плохи! Нет, труппа у него подобрана изрядная, только он на пустяки тратит силы артистов!

Да, Суворин глубоко, искренно любил театр. Газету и театр он любил больше всего на свете. И о них он всегда говорил — пылко, увлекательно.

VIII

Юбилей В. П. Буренина

Этот праздник сотрудников «Нового Времени» состоялся 20-го декабря 1896 года. Решительно не помню, где происходило чествование Виктора Петровича и пировали как сотрудники, так и гости, но знаю, что на этом вечере выступал застольным оратором А. С. Суворин.

В. П. Буренина, вообще, приветствовали речами многие. Эффектную юбилейную речь сказал С. С. Татищев, говоря, что в древнем Риме победителя Цезаря приветствовали кликами:

— Цезарь — Виктор (победитель)!

А теперь все почитатели юбиляра, собравшись здесь, приветствуют его такими же кликами:

— Буренин — Виктор!

Это всем ужасно понравилось, и искусному оратору очень аплодировали.

Выступали и дамы: артистка Л. Б. Яворская, беллетристка Н. А. Лухманова. Первая сказала коротко, но умно и ловко, а вторая, по совести сказать, наговорила столько лести, что слушатели опустили глаза и потихоньку смеялись над ораторшей. Говорила что-то известная тогда г-жа Шабельская (речи ее я не



помню, но знаю, что эта дама ослепляла массой брильянтов). Поэт В. С. Лихачев (седой господин с беспокойными глазами) сказал хорошенький экспромт:

Вам ваши пятницы,¹⁾ быть может, надоели,
А мы бы календарь иметь хотели,
Где бы семь пятниц было на неделе!

Сказал тост от имени «литературных младенцев» С. Н. Сыромятников (Сигма), в те годы красивый и франтоватый молодой человек, сказал весело, безобидно и также имел успех.

Ораторов, вообще, было чересчур много.

Вдруг поднялся А. С. Суворин. Едва он встал — дружные аплодисменты встретили главу «Нового Времени».

Как только Суворин заговорил, я сразу почувствовал, что могучий публицист сейчас сконфужен, как ребенок. И, действительно, голос его дрожал, а лицо имело самое потерянное выражение.

— Господа, извините, я говорю, но... я не готовился! — начал оратор при одобрительном смехе и улыбках. — Меня предупреждали: вам придется что-нибудь сказать, приготовьтесь! А я все-таки не готовился... Я, знаете, не оратор... И не понимаю, как это у иных так льется... Ну-с, так вот, я вам хочу сказать несколько слов о Викторе Петровиче Буренине. Это я с особым удовольствием скажу. Мне хочется внести своей речью некоторую поправку... потому что существует ошибка... и ее надо исправить... Видите ли, про Виктора Петровича все говорят, что он убийца! То есть, я не про тех убийц говорю, которые выходят с ножом на большую дорогу (общий хохот), нет... Речь моя идет о литературных убийствах... Будто бы Буренин много совершил таких убийств! У читателя, чего доброго, о Викторе Петровиче сложится странное понятие, что В. П. Буренин — злой человек! Это вот, господа, и есть большая ошибка. В. П. Буренин, напротив, очень добрый человек, я это отлично знаю. Если бы его скромность не требовала известной тайны... знаете, как говорится, пусть шуйца не знает, что творит десница... если бы сам В. П. Буренин не был против, я бы вам мог рассказать множество примеров, как мягок, добр и

¹⁾ Как известно, критические фельетоны В. П. Буренина печатались всегда по пятницам. *Авт.*



снисходителен к людям В. П. Буренин... Вот все, господа, что я хотел сказать... И я хочу выпить за здоровье моего друга В. П. Буренина как за добрейшей души человека!

После этого «тоста» подняли «на ура» и юбиляра, и Суворина. Все аплодировали. Все смеялись. Суворин был, видимо, в восторге, что исполнил свою трудную задачу — произнес-таки целую речь. И он, обращаясь к окружающим его, говорил:

— Как я рад сегодняшнему вечеру! Я увидел, что сотрудники «Нового Времени» умеют и пошутить, и от души повеселиться. Очень я доволен, очень...

Тут стали все приставать к В. П. Буренину:

— Речь! Речь! Пусть юбиляр скажет!

В. П. Буренин, сидевший со своими взрослыми дочерьми (одна была замужняя), почему-то долго отнекивался.

— Виктор Петрович, вас дамы просят!

— Виктор Петрович, умоляем!

Юбиляр встал. Все умолкло.

— Полагается, — сказал тихо Виктор Петрович, — что юбиляр в день своего юбилея должен быть непременно тронут...

Эта фраза вызвала смех и аплодисменты.

— Ну, а что же занимательного и интересного может сказать «тронутый» человек?!

Этим каламбуром юбиляр и ограничился. Его шутка подбавила веселья, и затем надвинулись, как густой Донзинанский лес, новые и новые ораторы...

Юбилей кончился под утро.

IX

Примеры доброты А. С. Суворина

Я думаю, что если биографы Суворина захотят тщательно переписать все случаи проявления доброты издателя «Нового Времени», то очень большую книгу придется им тогда печатать. Я начну говорить сначала о самом себе, потому, что добро, сделанное мне Алексеем Сергеевичем, для меня всего ближе и ощутительнее.



Не говорю об авансах, этой хронической болезни почти всех писателей. Деньги у Суворина роли никогда не играли, и если он давал их, то следовало ценить его расположение, а не деньги.

Однажды, присутствуя на одном из «Касьянов» (29-го февраля — день выхода 1-го № «Нового Времени» под редакторством А. С. Суворина; эти дни, обыкновенно, праздновались очень шумно и весело), я был рассмотрен в толпе хозяином и уведен в другую комнату для беседы наедине.

— Я что вам хотел сказать, — начал Суворин, — вы развиваетсяе и улучшаетесь, у вас фельетоны удаются все лучше и лучше! Я очень рад это сказать вам.

Признаюсь, я никак не ожидал подобных слов. Не так давно получались письма от того же Суворина с некоторыми распеканиями по моему адресу. Суворин продолжал:

— Вы отлично описали духоборов. Как вы ухитрились пробраться к ним, если даже английского корреспондента арестовали? Очень мне про духоборов понравилось... И насчет ртути, насчет соляных копеек — все это удачно. Путешествия вам полезны, я надеялся, что именно так они на вас и повлияют. Знаете что? В будущем году выставка в Париже... Сначала вы отправляйтесь в Берлин и опишите нам его. Вам полезно заглянуть в Европу. А Берлин — мудрый хозяин, есть чему поучиться городским деятелям вашей Москвы. Покончив дела в Берлине, поезжайте в Париж, на выставку, это уж не для писем в газету, а для собственного удовольствия. Впрочем, встретится что-нибудь интересное — пишите и из Парижа... И вот еще что... (Суворин понизил голос). Без Лели это нельзя устроить... Вы скажите Алексею Алексеевичу, что послать вас в Берлин и Париж — мое большое желание, я очень этого хочу... Повторяю, вам эта прогулка доставит не только удовольствие, но и горизонты откроет. Рад буду вашему путешествию!

Скажите, читатель, случалось ли вам видеть в редакторе газеты такое чисто отеческое отношение к своим сотрудникам? Считая себя человеком очень маленьким в «Новом Времени», я никогда не рассчитывал на такое особое внимание. Но А. С. Суворин знал мои труды, старания, добросовестность. Он верил мне, в мою честь журналиста, он знал, что я ни разу не уронил и не



урону достоинства газеты, в которой работаю. И он, прозорливо наблюдая за всеми сотрудниками, вероятно, каждого умел сделать, так же, как и меня, счастливым. Помимо желания доставить радость, А. С. Суворин заботился о нашей пользе. Это всегда и во всем. Не будучи добрым разгильдяйски и неосмотрительно, Суворин был добр разумно и расчетливо. И если траты его несли пользу, он не жалел никаких денег. Вот чем высока и ценна доброта А. С. Суворина.

Не могу не упомянуть, что когда я чистосердечно рассказал А. А. Суворину о своей беседе с его отцом, и он также посмотрел на дело. Надо сказать, что я наметил летом поехать в Сибирь. Теперь указание А. С. Суворина меняло дело, и Алексей Алексеевич, улыбнувшись, сказал мне:

— Насчет Сибири погодите. Вот напишете что-нибудь такое вольное, тогда вас на казенный счет туда отправят. А пока готовьтесь ехать в Берлин, потом в Париж. Загляните и в Вену.

И А. А. Суворин снабдил меня адресами наших зарубежных корреспондентов, разными советами, указаниями и деньгами на поездку.

Доброта А. С. Суворина выражалась неоднократно, и я являлся также и исполнителем ее. Как раз перед Пушкинским праздником отыскалась в Москве *современница Пушкина*, Вера Александровна Нащокина. Мне о ней рассказал тогдашний ректор университета профессор Д. Н. Зернов, я написал Суворину, и тот сейчас же выслал 100 рублей для этой редкостной старушки.

В. А. Нащокина жила в селе Всехсвятском, под Москвой, вместе со своим неудачником-сыном, который мне даже не показался. Нащокина была живая, хотя и очень дряхлая женщина, маленькая, худая, с глазами, все еще говорящими о былой красоте. Я отвез ей деньги, а по просьбе ректора купил черное шелковое платье и привез прямо в университет и платье, и Нащокину. Об этой старушке стоит как-нибудь написать особо, а теперь я скажу только, что Вера Александровна не могла понять, откуда ей Бог посылает 100 рублей.

— Вы говорите, от «Нового Времени»? Откуда газета узнала, что я существую на свете?



— Это я узнал от ректора Московского университета и написал Алексею Сергеевичу Суворину, издателю «Нового Времени». А он и выслал вам 100 рублей, — объяснял я.

— Да за что? Чем я могу отплатить этому доброму человеку? — женировалась старушка.

— Я передам ему от вас поклон, вот и делу конец!

— Ах, передайте, что я его благодарю от всей души! Я его целую и обнимаю, как мать... даже как бабушка! Ведь г. Суворин, вероятно, красив, молод!

— Он сам старый, седой и почтенный человек.

— Ну, тогда я целую его, как сестра...

Взволнованная Нащокина, измученная жизнью в нищете, не могла удержать своих слез.

Однажды я встретил В. А. Тихонова. Он был чем-то очень взволнован.

— Вы давно в Питере? — спросил он меня.

— Вчера приехал.

— Суворина видели, старика?

— Собираюсь к нему.

— Собирайтесь! Видеть Алексея Сергеевича, говорить с ним — это удел завидный... Разговор его — это откровение, положительно, откровение! Придешь к нему, расскажешь про свое горе, а он засмеется и скажет просто: этому горю помочь не трудно! И поможет...

В. А. Тихонов говорил это очень сердечным тоном. Очевидно, он сам только что испытал доброту А. С. Суворина, и рассказ вел от полноты души.

Я нарочно вставил сюда этот крошечный эпизод. Он характерен. Много, много людей бывали в положении покойного Тихонова, и кто не присоединится к его словам с такой же горячей благодарностью?

Х

Суворин и Чехов

Алексей Сергеевич Суворин любил Ант. П. Чехова, это всем известно. Когда Чехов умер, Суворин, печатая о нем сочувственную заметку, сказал, между прочим, так:



— Он молодил меня.

Суворин как человек очень увлекающийся, всегда что-нибудь ищущий, открывающий и радующийся всякой своей удаче на этом пути, услышал впервые об Ант. П. Чехове от В. П. Буренина. Последний с великой прозорливостью увидел в авторе рассказов «Скорая помощь», «Егерь» и т. п., напечатанных в «Петербургской Газете» (по восьми копеек за строчку!), нечто побольше веселого Антоши Чехонте и сказал об этом Д. В. Григоровичу и А. С. Суворину. Григорович прочитал указанные г. Бурениным рассказы, также пришел в восторг и приехал к Суворину, крича:

— Талант! Талант! Вы должны его пригласить!

А. С. Суворин сразу поверил этим двум авторитетным мнениям и пригласил Чехова. Читая присланный им рассказ «Панихида» (за подписью «А. Чехонте»), он так восхитился этим произведением, что телеграммой просил автора подписаться настоящей фамилией. Таким образом и народилось в литературе новое имя «Ан. Чехов».

Второй рассказ — «Агафья» и затем третий — «Ведьма» окончательно покорили Суворина. И он полюбил Чехова заглазно, за его талант, свежесть, самостоятельность. Он сразу дал ему отличный гонорар, обласкал, наговорил при этом много полезного, укреплял в той манере письма, которую избрал Чехов, отмечал все наиболее удачное в его рассказах. Одним словом, Суворин выбрал в беллетристической оранжерее лучший тогда цветок-сеянец и стал его холить, нежить, лелеять, ухаживать за ним, и Чехов распустился роскошным, благоуханным цветом. Буренину, Григоровичу Чехов был обязан многим, Суворину — всем. По свойству своей натуры делать людям добро Суворин отдавал Чехову столько отцовской ласки и любви, что Антон Павлович обязан был до гробовой доски это ценить и помнить. Но впоследствии Чехова забрали в свои руки так называемые либералы. Как это ни прискорбно и ни смешно, а те же Лавров и Гольцев, о ком молодой Чехов столь презрительно отзывался в беседе с А. А. Сувориным, закабалили Чехова, платя ему жалование по двести рублей (только!) в месяц и по сколько-то с листа, лишь бы Чехов не писал в других изданиях. Период сотруд-



ничества в «Русской Мысли» самый печальный для Чехова. Насколько он был свеж и талантлив в «Новом Времени», настолько же тускл и посредствен в «Русской Мысли». Все эти повести — «Жена», «Убийство», рассказ о каком-то интеллигенте, во имя политики угодившем в лакеи, — все это было настолько слабо, что прежнего Чехова напоминало в очень незначительной степени. Этого мало, появился рассказ «Ариадна», цель которого была ниже достоинства автора...

В этот период Чехов, несомненно, получал от А. С. Суворина немало писем. Думаю, что Суворин, любя Чехова, а еще более его талант, скорбел о странном направлении его дарования и, по своей откровенности, не оставлял это без письменных и, может быть, резких упреков. Однажды Чехов при мне получил письмо от Суворина. Большое, мелко исписанное обычными суворинскими иероглифами. Чехов читал его долго, насупившись, и вдруг сказал:

— Суворин думает, что мой свет в окне только «Русская Мысль»? Странно, право... И за что нападать на «Русскую Мысль»? Если я пишу неудовлетворительно, то разве журнал здесь причиной?

Больше Антон Павлович ничего не сказал, и что было еще в письме Суворина, я не знаю. Думаю, что Суворин упрекал Чехова за исключительное сотрудничество у Лаврова и, может быть, высказывал мысль, что серая обстановка журнала плохо влияла на талант автора книги «В сумерках». Но это только мои предположения.

Возможно ли, действительно, такое влияние? То есть влияние журнала на писателя-сотрудника? Это смотря, что за человек автор. Чехов был очень впечатлителен и в то же время рыхл, и на него обстановка могла влиять в ту или иную сторону. Я допускаю, что люди, вроде Гольцева, Соболевского, Лаврова, могли до известной степени понизить вдохновение Чехова. А по правде сказать, Чехов к тому времени почти использовал себя как беллетрист, и краски его пера естественно поблекли. Они ожили в драмах Чехова, потому что драмы потребовали огромного напряжения сил, и Чехов это сделал, в ущерб своему здоровью. Писание для театра оживило, воскресило его талант, но не



настолько, чтобы он создал что-нибудь замечательное. Л. Н. Толстой совсем не понимал его драмы «Дядя Ваня» и называл ее «трагедией на пустом месте» — убийственная, но верная характеристика.

А. С. Суворин, насколько мне известно, чеховских пьес последнего периода его творчества не любил, но он высоко поставил драму «Иванов» (в смысле пьесы, пожалуй, самую удачную) и за «Чайку», провалившуюся в Александринском театре, вступился горой. Он отметил все, где горит и переливается искрами чеховское дарование. Продолжая любить писателя-Чехова, он возмутился грубым отношением петербургской публики, громко называвшей пьесу «чепухой» и «вздором»; вообще, эта статья Суворина есть горячая отповедь всем, кто осудил произведение талантливого автора. Но еще более — она отеческое любовное заступничество за милого человека.

А. П. Чехов, во времена давнопрошедшие, высказывал симпатии к Суворину, а в письмах к нему говорил о своей любви. В последнее время, когда он писал драмы для Художественного театра, о такой любви к Суворину даже было говорить странно. Чехов выражал, и не раз, полную неприязнь к А. С-чу, и я не знаю, чем это объяснить. Думаю, что не разность взглядов в политическом отношении тому причиной. Вернее, что откровенные и проникнутые горьким чувством упреки Суворина и при встрече, и в письмах раздражали Ант. П. Чехова. Он и физически был нездоров, и самолюбие его достигло болезненно ненормальных размеров. Все это привело к печальному разрыву Чехова с Сувориным, и это более повредило Чехову, чем Суворину. Если бы Антон Павлович остался до конца другом Алексея Сергеевича, он бы, может быть, удержался от многого такого, что он сделал...

Ошибки, конечно, свойственны каждому. Но дружба с Сувориным избавила бы Чехова от многих ошибок; а вот дружба с гг. Гольцевым, Лавровым, а затем с редакцией «Русских Ведомостей» и руководителями и артистами театра не избавила Чехова от некоторых неверных шагов. Очень жаль, что все это так вышло...

Любовь Суворина к Чехову, разумеется, также потускнела, хотя Суворин всегда стремился сделать Чехову только одно доб-



ро. Суворин, отыскав Чехова в мелкой прессе, первый способствовал росту его таланта. Он его любил, как коллекционер, отыскавший на грязном рынке довольно ценную редкость. Суворин в литературном смысле коллекционировал долгие годы. Его состав сотрудников доказывает, какая у него бывала коллекция талантов. Чехов был в ней яркий самоцветный камень. И Суворин — первый и главный его гранильщик. Блеск Чехова — в нем рука мастера-Суворина отражена бесспорно. И таланту, и душе человека, пользующегося дружбой А. С. Суворина, это было всегда выгодно. Потому что Суворин, повторяю, как глубоко-нравственная личность, мог влиять лишь в добром смысле, а его ум и талант создали из него первоклассного руководителя многих литературных деятелей.

И Антон Чехов был средней по величине золотой чашей русской литературы; на этой изящной чаше-кубке есть, несомненно, узоры искусной чеканки А. С. Суворина...

Влияние А. С. Суворина на Чехова было прежде огромное. Помню, когда происходили словесные бои в обществе драматических писателей и оперных композиторов, когда крупные драматурги стремились лишить голоса драматургов маленьких и скоро добились этого, — к А. С. Суворину ходили на поклон и казначей общества Майков, и писатель Шпажинский; общество поднесло А. С. Суворину какую-то почетную медаль. При этом Суворину постарались изобразить суть дела так, что и он склонился к идее, что хозяином может быть лишь тот, кто зарабатывает известную определенную сумму денег. Но что от этого страдал принцип права собственного голоса каждого драматурга, хотя бы и маленького, на это Суворин особого внимания не обратил, тем более, что он верил составу правления. Антон Павлович Чехов сначала был на стороне маленьких драматургов и горячо об этом говорил с А. Д. Курениным, в те годы писавшим в «Новое Время» фельетоны из Москвы и громившим гг. членов правления названного общества. Да и мне лично Чехов говорил (когда уж права голоса для большинства членов были отменены):



— Это несправедливо, очень несправедливо!

Сам Суворин, вероятно, побывал на общем собрании драматургов, которые проходили очень бурно и подчас даже бестолково, рассердился на шумящих неизвестностей, поэтому и стал на сторону нового правила. И вот, когда борьба была в полном разгаре, а Чехов гостил в квартире издателя «Нового Времени», А. С. Суворин, как я предполагаю, перестроил мысли Антона Павловича в обратную сторону, и Чехов написал и напечатал в «Новом Времени» шуточную статейку «Вынужденное объяснение», за подписью «Акакий Тарантулов», а Суворин снабдил ее примечанием от редакции. Вещичка эта была невелика, смешна и характерна, и я ее привожу здесь целиком, тем более, что она в те давние годы произвела страшное волнение и досаду среди маленьких драматургов.

ВЫНУЖДЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

В 1876 году, 7 июня, в 8¹/₂ часов вечера мною была написана пьеса. Если моим противникам угодно знать ее содержание, то вот оно. Отдаю на суд общества и печати.

СКОРОПОСТИЖНАЯ КОНСКАЯ СМЕРТЬ

или

ВЕЛИКОДУШИЕ РУССКОГО НАРОДА

Драматический этюд в 1 действии.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Любвин, молодой человек.

Графиня Финикова, его любовница.

Граф Фиников, ее муж.

Нил Егоров, извозчик № 13326.

Действие происходит среди бела дня, на Невском проспекте.

ЯВЛЕНИЕ I

Графиня и Любвин едут на извозчике Ниле Егорове.

Любвин (*обнимая ее*). О, как я люблю тебя! Но все-таки я не буду в спокойе, покуда мы не доедем до вокзала и не сядем



в вагон. Чувствует мое сердце, что твой подлец-муж бросится сейчас за нами в погоню. У меня поджилки трясутся. *(Нилу)*. Поезжай скорей, черт!

Графиня. Скорее, извозчик! Хлобысни-ка ее кнутом! Ездить не умеешь, курицын сын!

Нил *(хлещет по лошади)*. Но! Но! Холера! Господа на чай прибавят.

Графиня *(кричит)*. Так ее! Так ее! Нажаривай дрянь этакую, а то к поезду опоздаем.

Любвин *(восторгаясь ее неземной красотой)*. О, моя дорогая! Скоро ты будешь принадлежать всецело мне, но отнюдь не мужу! *(Оглядываясь с ужасом)*. Твой муж догоняет нас! Я его вижу! Извозчик, погоняй! Скорей, мерзавец, сто чертей тебе за воротник! *(Лупит Нила в спину)*.

Графиня. По затылку его! Поймай, я сама его зонтиком... *(Лупит)*.

Нил *(хлещет изо всех сил)*. Но! Шевелись, анафема! *(Изморенная лошадь падает на землю и издыхает)*.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и граф.

Граф. Вы бежать от меня? Стой! Изменница! Я ли тебя не любил? Я ли тебя не кормил?

Любвин *(малодушно)*. Задам-ка я стрелача! *(Убегает под шум собравшейся толпы)*.

Граф *(Нилу)*. Извозчик! Смерть твоей лошади спасла мой семейный очаг от поругания. Если бы она не издохла внезапно, то я не догнал бы беглецов! Вот тебе сто рублей!

Нил *(великодушно)*. Благородный граф! Не нужно мне ваших денег! Для меня послужит достаточной наградой сознание, что смерть моей любимой лошади послужила к ограждению семейных основ! *(Восхищенная толпа качает его)*.

Занавес.

Эту шутку Чехов кончает следующим ядовитым послесловием:
«В 1886 году, 30-го февраля (!) эта моя пьеса была сыграна на берегу озера Байкала любителями сценического искус-



ства. Тогда же я записался в члены общества драматических писателей и получил от казначея А. А. Майкова надлежащий гонорар. Больше никаких пьес не писал и никакого гонорара не получал.

Итак, состоя членом названного общества и имея права, сим званием обусловленные, я от имени нашей партии настоятельно требую, чтобы, во-первых, председатель, казначей и секретарь и комитет публично попросили у меня извинения, во-вторых, чтобы все перечисленные лица были забаллотированы и заменены членами нашей партии, в-третьих, чтобы 25.000 рублей из годового бюджета общества были ежегодно ассигнуемы на покупку билетов гамбургской лотереи, и чтобы каждый выигрыш делился между членами общества поровну...» и т. д., еще несколько смешных требований.

От редакции (то есть, может быть, от самого А. С. Суворина в компании с Чеховым). — «Помещая это заявление почтенного члена общества русских драматических писателей и оперных композиторов Акакия Тарантулова, мы льстим себя надеждою, что оно вызовет полное сочувствие по крайней мере в половине достопочтенных членов этого общества, заслуги которых столь же велики, как и заслуги г. Акакия Тарантулова. Русская драматургия есть именно тот важный род поэзии, в котором Акакии Тарантуловы могут приобретать неувядаемую славу от финских хладных скал до пламенных кулис, от потрясенного Кремля до трескотни общих собраний общества драматических писателей и оперных композиторов...»

Надо кстати сказать, что драматурги «Тарантуловы» ратовали против действительно чудовищных гонораров, которые получал путем процентных отчислений простой чиновник А. М. Кондратьев (который не написал даже драматического этюда г. Акакия Тарантулова, но брал с общества по 20.000 рублей в год, да и теперь берет!), против слишком щедрого жалованья казначею Майкову и т. д. Раздоры в обществе послужили впоследствии образованию союза драматических писателей в Петербурге.

Но тогда Суворин и Чехов поглядели на это дело глазами московского правления общества.



XI

Суворин-драматург

Когда в московском Малом театре поставили «Татьяну Репину» с М. Н. Ермоловой в заглавной роли, спектакль прошел с громадным успехом, с выдающейся игрой артистов. Помимо г-жи Ермоловой, превзошедшей себя в роли несчастной Репиной, отлично играл Сабинина А. И. Южин, а еврейку — Н. Д. Никулина.

«Татьяна Репина» — произведение зрелого и сильного Суворина. Пьеса эффектна, сценична и написана превосходным русским литературным языком. И в Петербурге, и в Москве, и в провинции эта драма прошла с громом аплодисментов, всем понравилась, а артистам давала отличный материал для игры.

И все-таки А. С. Суворин даже в «Татьяне Репиной» — не драматург. Это произведение большого писателя, но публицист проскальзывает всюду в этой пьесе, чуть-чуть искусственной, с явным расчетом на эффект смерти артистки на сцене.

Я здесь расскажу о другом драматическом произведении А. С. Суворина, написанном уже в старости, о драме «Вопрос», также шедшей впервые на Малом театре в Москве, а потом — в Петрограде, в театре самого Суворина.

Алексей Сергеевич явился в Москву задолго до постановки и вызвал меня. Мы с ним завтракали в «Славянском Базаре», в ресторане. Суворин ждал князя А. Н. Сумбатова для беседы о пьесе. Он волновался и спрашивал:

— Есть в труппе Малого театра хорошая молодая артистка? Я боялся назвать ему имена.

— Сумбатов рекомендует Селиванову. Помнится, вы ее не хвалили.

— Вам нужна молодая артистка?

— Да, для роли бойкой барышни, дочери важного петербургского чиновника.

— Берите, кого хотите, только не Селиванову, — сказал я. — Ничего особенного не представляет собой г-жа Садовская 2-я, но, во всяком случае, она хоть по-русски говорить будет.

— А Селиванова что такое?



— По-моему, артистка без всякой дикции, но, как говорят, с протекцией.

Как раз в это время приехал князь Сумбатов.

— Ах, это для роли дочери Юрьева? — спросил князь Сумбатов. — Я бы рекомендовал г-жу Селиванову.

Я сейчас же возразил и князю Сумбатову.

— Я знаю, вам она не нравится! — заметил тот.

— О, ведь эти господа театральные критики народ престо-
гий! — сказал быстро Алексей Сергеевич. — Впрочем, он на Садовскую указывает...

— Нет, я стою за Селиванову, — продолжал князь Сумбатов, которому также предстояло играть в суворинской драме бойкую роль Муратова. — Она роли, во всяком случае, не испортит.

— Ну, так ей и отдадим! — сказал Суворин.

Я, конечно, более не спорил. Однако ж, скоро я узнал, что роль дочери сановника отдана Садовской 2-й. По-видимому, Суворин убедился, что артистка с протекцией, но без дикции — дело не подходящее. Так оно и было. Он первый, увидя меня на генеральной репетиции «Вопроса», сказал:

— Ну, знаете, Селиванова мне совсем не понравилась! Нарочно ее смотрел...

— Я же говорил, что Садовская более подходит.

— Да, с грехом пополам, подходит... Скажите, почему у вас молодые актеры какие-то вареные?

— Как вареные?

— Да вот... спрашиваю одного... отчего он руку к виску поднял да так и застыл в этой странной позе? А он отвечает: «Это, говорит, я пробую изобразить усиленную думу!» Я ему говорю: «Оставьте!» А он опять по-своему делает... Ну, да уж и...

Тут Суворин стал разбирать игру исполнителей со свойственной ему прямоотой. Он был сам не свой, видимо, горя волнением автора накануне первого спектакля.

— Пришлось конец пьесы переделывать! — продолжал он. — Показалось неестественным многое... Вообще, надо бы посидеть над драмой...



Его позвали за кулисы — он побежал, как, быть может, торопился только в молодости, почти рысью. Думаю, что он не уснул во всю ночь перед спектаклем!

Драма «Вопрос» лично мне не понравилась. Блестящая по слогу, она носит на себе чисто петербургский колорит. Острота о сановнике, не знающем, какой бывает в поле овес, когда это «даже лошади знают», очень смешна, и в Петербурге произвела фурор, но в Москве была принята хотя со смехом, но без особого энтузиазма. Появление синьоры Венони (играла г-жа Федотова), как *deus ex machina*, делало пьесу похожей на мелодраму. Самая дуэль героев казалась не совсем естественным выходом. Словом, эта пьеса — относительно слабое произведение Суворина, и с «Татьяной Репиной» ее сравнить никак нельзя.

Публике, однако, очень понравился спектакль, да и Суворина в Москве всегда любили. Автора «Вопроса» стали вызывать после второго акта, а после третьего (Суворин вышел только тогда, когда крики: «Автора, автора!» стали дружными и общими) и четвертого актов эти вызовы знаменовали настоящий, неподдельный успех. Я живой свидетель этого.

На другой день я посетил А. С. Суворина в «Славянском Базаре».

— Вы написали что-нибудь о спектакле? — было первым вопросом Суворина.

Он сидел, разложив московские газеты, и с увлечением молодого автора-дебютанта читал отзывы наших рецензентов.

Я сказал ему, что передал кратко по телефону о первом представлении пьесы и о том, что был успех, автора дружно вызывали несколько раз.

— Скажите, голубчик, ведь вы, конечно, были на представлении? — спросил Суворин. — Где вы сидели?

— В четвертом ряду кресел. А что?

— Ну, скажите по совести, охотно ли вызывала меня публика?

— И даже очень охотно и громко, — отвечал я.

— Многие вызывали?

— Очень многие. После второго акта не так много, а после третьего — усиленно вызывали. Также и после четвертого. Помоему, московской публике ваша пьеса понравилась.



— Ну, вот видите! А вот в «Русских Ведомостях» пишут, что автора не вызывали, а он сам выходил, вместе с вызываемыми артистами. Знаете, мне это было очень больно прочитать и именно в «Русских Ведомостях». Я их всегда считал опрятным изданием. И вдруг, такое злостное искажение истины... Я, знаете, долго не шел. Актеры мне говорят: вас вызывают, идите! Но я пропустил второй антракт, вовсе не желая выходить на редкие вызовы. После третьего акта я вышел, вполне убедившись в желании публики меня видеть... Ведь я же это слышал, слышал!

Он был в сильной ажитации, этот молодой старик, страшно впечатлительный и ненавидящий ложь. Указав на газеты, он продолжал:

— Уж и рецензии я читал! Кое-где все-таки прилично и констатирован успех... Но «Русские Ведомости»! Кто бы от них это ожидал... Я не ожидал, честное слово!

В тот же день он пригласил меня вместе пообедать. За обедом была супруга Суворина, Анна Ивановна Суворина, Б. А. Суворин и г. Коломнин, племянник Алексея Сергеевича.

Суворин отдохнул, и раздражение улеглось. Разговор шел только о пьесе «Вопрос» и об ее исполнении. Суворин очень хвалил О. О. Садовскую, Правдина и Южина; остальными исполнителями он остался менее доволен.

Не помню, кажется, Суворин в тот же вечер уехал в Петроград, а его драма «Вопрос» продолжала не без успеха идти в нашем Малом театре.

XII

Суворин — и война с Японией, революция в Москве и всероссийские реформы

Неожиданное нападение японского флота на русский в гавани Порт-Артура и объявленная вслед за сим война Японии произвели на А. С. Суворина потрясающее впечатление. Он стал ежедневно печатать свои «Маленькие письма». В них с юношеской энергией, горячо, сильно, патриотично выступил он за честь России, за достоинство родины. Все читали статьи Суворина с захватывающим интересом. Он красноречиво описывал свои первые впечатления от военных действий. Затем в



газете своей он сделал ряд распоряжений. От «Нового Времени» поехало девять корреспондентов, снабженных огромными денежными суммами и оплачиваемых за статьи баснословным вознаграждением. Суворин следил за всеми перипетиями войны, волновался, беспокоился, не спал по ночам, читал все статьи, сам писал, стараясь ободрить русское общество. Это был его год страды, он много унес сил и здоровья. Кроме того, неудачи русских войск страшно и губительно отзывались на Суворине. Он стал нервен сверх меры, вспыльчивее, чем когда-нибудь.

Опишу один случай его крайней экспансивности, чему я был невольным свидетелем. Мне пришлось приехать в Петербург, и я, конечно, посетил А. С. Суворина. К этому времени он, как редактор, испытывал массу неприятностей. Один из корреспондентов «Нового Времени» заболел и уехал из Порт-Артура. Другие, по-видимому, ничего путного не присылали. Суворин прямо из себя выходил и кричал, что следовало взять корреспондентом Вас. Немировича-Данченко, который «хоть даже чего и не увидит, а все-таки умело опишет!»

Я попал к Суворину в разгар таких недоразумений с корреспондентами. Алексей Сергеевич показался мне сильно постаревшим, щеки у него впали, но со мной он обошелся приветливо и сейчас же заговорил о Москве, принялся расспрашивать, какие там происходят беспорядки, сходки, волнения (действительно, в Москве уж готовились политические движения, впоследствии разразившиеся в форме настоящего бунта, с «баррикадами» даже!). Я начал рассказывать, и вести из Москвы заинтересовали Алексея Сергеевича. Он слушал нервно, качал головой, ахал, смеялся, негодовал.

Вдруг неожиданно вошел ныне покойный В. А. Шуф. Я был очень удивлен его появлением. В начале войны я видел его в Москве, в громадной папaxe. Он ехал на войну корреспондентом от «Нового Времени», снабженный полномочиями и средствами. Я спросил, зачем он в папaxe.

Шуф отвечал:

— Походная штука, батенька! Кто его знает, придется в полях ночевать, вот вам и подушка.



И вот он оказался уже в Петербурге, в квартире А. С. Суворина, хотя и без папахи.

Увидав вошедшего Шуфа, Алексей Сергеевич весь так и всполошился. Так и вскинулся.

— Да это что же такое?! Вы что же это, в самом деле? Вам надо на войне быть, а вы изволили бежать с поля сражения?!

Вскоре после этого вошедший на крик Суворина Б. В. Гей потихоньку объяснил мне, что Шуф самовольно вернулся в Петербург, кратко известив редакцию, что он «едет обратно».

— Вы что это?! — продолжал, вскочив и не сажая корреспондента, Суворин, весь даже сотрясаясь от негодования. — Какая нужда у вас появилась возвращаться? Что вы, заболели, переутомились? Ранили вас?

— Нет, не ранили, — отвечал Шуф, — но японцы наступали...

— Японцы наступали! — воскликнул Суворин. — Так что же из этого? На войне всегда так, или неприятель наступает, или мы на неприятеля наступаем... Дело корреспондента описывать все это, а вы что сделали?!

— Я опасался, что меня возьмут в плен...

Суворин даже подпрыгнул на месте.

— Да это, голубчик, черт знает, что вы говорите такое! Ведь это стыдно и позорно! В плен его японцы возьмут... Что же из того, что вас хотя бы и в плен взяли? Вам это полезно было бы... Может быть, вы вернулись бы из японского плена поумнее... Я теперь весьма жалею, что вас не взяли в плен!

— Но, Алексей Сергеевич, ведь я... не мог же я...

— Молчите! Не оправдывайтесь! Вы только глупости способны наговорить. Вы трусили и убежали с поля битвы... Ваше письмо мы читали, где вы объясняете причины бегства. Вы изволили умозаключить, что все потеряно, и вот, в компании двоих сотрудников из «Петербургской Газеты» и «Петербургского Листка» (какая компания для вас, подумаешь, отличная!) вы втроем решили удрать... и прямо укатили в Петербург! Очень благородно! И как это подходяще для сотрудника «Нового Времени». Все были в редакции против того, чтобы посылать вас на войну. Я один стоял за вас. Я думал, что вы, как человек еще молодой



и энергичный, оправдывает мой выбор. И что же? Вы даже телеграмм не умели путем составить. Мы получали какую-то дребедень. И только последняя ваша телеграмма была интересна, первая и последняя, так сказать! А затем вы с двумя газетными евреями, испугавшись японского плена, решили, что самое лучшее, самое умное — это бежать в Петербург! Браво, г. Шуф! Спасибо! Исполать вам...

— Алексей Сергеевич, какой же смысл попасть в плен? — все не сдавался Шуф, — опасность была огромная!

— Фу, Боже мой! Ваши возражения бессмысленны. Корреспондент должен описывать события, а не делать выводы о собственной опасности или безопасности. Ну, теперь, извините, я вам никаких поручений не дам! Можете безопасно сидеть дома.

— Но, Алексей Сергеевич...

— Оставьте, говорю вам, не возражайте! Можете идти, вы меня только раздражаете! И я вам, в конце концов, так скажу: ваши товарищи по бегству поступили, как дураки, а вы, извините меня, поступили, как дурак в квадрате!

Суворин запыхался и сел.

После этого комплимента несчастный Шуф исчез. А Суворин разводил руками и все не мог успокоиться:

— Корреспондент «Нового Времени» бежит с поля сражения! Ведь это что же такое?! Это что же?!

По-видимому, военные неудачи России так потрясли А. С. Суворина, что он захворал и уехал, кажется, в Германию. По крайней мере, во дни «великой московской революции» он находился за границей и, слыша урывками о наших событиях, не верил, что в России серьезный бунт.

— Это не революция, а пародия! — твердил он, — я не верю в восстание русского народа...

Вернувшись, он написал несколько статей о наших политических событиях. Московская пародия, как выразился Суворин, пародия на французскую революцию, кончилась. Начались отечественные реформы. Прошли первая и вторая Государственные Думы. После созыва третьей Государственной Думы и избрания А. И. Гучкова председателем парламента я напрасно ждал статей А. С. Суворина.



Увы, «Маленькие письма» почему-то вдруг прекратились. Новые события, веяния, происшествия, реформы, новый уклад жизни, по-видимому, поразили А. С. Суворина и заставили его временно замолчать. Впрочем, не только А. С. Суворин, даже Л. Н. Толстой был подавлен событиями «нового курса» на Руси. Мне говорили сотрудники «Нового Времени», что Суворин, продолжая вести газету, иногда печатал статьи, но совершенно без подписи. Он не решался возобновить своих «Маленьких писем». Однажды, например, написав такое письмо об А. И. Гучкове, председателе Государственной Думы, он вдруг велел разобрать статью, хотя сотрудники, читавшие статью в корректурах, находили ее великолепной.

В конце концов, я делаю вывод, что А. С. Суворин, пожалуй, и совсем не растерялся перед новой действительностью, а приглядывался к ней, разбирался в ней, оттого он и медлил со статьями. Ведь мужества у него было не занимать стать, когда Алексей Сергеевич вернулся из-за границы, он сразу обрушился на врагов России, оставляя в стороне всякие соображения об опасности для газеты. Вспомним хотя бы его прекрасные статьи о Носаре, о графе Витте. Суворин смело отказался печатать у себя манифест революционных партий. Словом, он явился героическим слугой и другом родины в самые критические минуты всероссийской разрухи и общественного беспорядка. Все честные русские люди с восторгом тогда произносили имя А. С. Суворина.

И вот, когда была созвана третья Государственная Дума, перед Сувориным и всеми интеллигентами открылся новый путь для нового дела. Однако Суворин уже не мог принять в нем первенствующей, как всегда, роли. Физическая усталость и надорванные нервы давали себя знать. Японская война в особенности потрясла этого богатыря-патриота. Раны России были ранами и Суворину. Болея телом и душой, Алексей Сергеевич стал мнительнее и не верил даже самому себе, не был доволен даже своими блестящими статьями. Вот почему, мне думается, и появился этот досадный пробел в «Новом Времени».

Но он не потерял живого интереса к обновленной русской жизни, ко всем ее событиям. И газету Суворин составлял по-



прежнему сам, и все статьи читал и исправлял их, просиживая целые ночи за работой.

Мощный старый писатель еще потрясал своими литературными перунами!

ХIII

А. С. Суворин как редактор

Эта глава моих размышлений о Суворине — дань сотрудника, до самой смерти желающего сохранить светлую память о своем руководителе. Я пробую сказать только то, что сказать следует, именно одну правду, ничем не прикрашенную, прямую и безбоязненную.

У А. С. Суворина, говорят, был дурной характер. Антон Павлович Чехов говорил мне, что, живя в Париже, он часто «не выносил брюзжания и придирательств Суворина» и уходил от него.

— Вы куда, Антон Павлович?

— Гулять!

— Врете, вы на меня сердитесь.

— Нисколько. Просто я хочу пройтись...

— Ну, идите, идите, черт с вами!

Такие сцены возможны со всякими людьми, и с большими, и с ничтожными. Суворин в Париже, скучая и сидя без дела, мог опуститься до бранчивости и старческого брюзжания. Что ж, разве Суворин не человек?

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...

Я однажды ходил с Сувориным по Москве. На нем была дорогая ильковая шуба, и он, должно быть, устал от ходьбы, стал кашлять и выказывать неудовольствие. Он бранил московские дома и улицы, грязь, извозчиков, вывески, «которые разобрать нельзя», толпу, «которая прет и толкается», наконец, даже снег...

— Черт знает, что у вас за погода! Я думал, здесь мороз, этакий настоящий русский мороз-морозец, аленькие щечки, а



ведь это что же такое? Крупа какая-то сыплется... под ногами тает...

Алексей Сергеевич шел, ворчал. Я не знал, что ему отвечать. И потом, чтобы как-нибудь развлечь его, заговорил об одном московском купце-миллионере, который четыре раза венчался, причем его прежние три жены были живы.

— Не может быть! Как же это?

Я назвал фамилию, в Москве очень известную.

— Удивительная история! Как это случилось, расскажите, это замечательно...

Я сообщил вкратце, что этот купец-четыреженец, любя законный брак, говорил своему поверенному, советовавшему купцу жить с четвертой женой гражданским браком, что будет и дешево, и без хлопот.

Купец погладил бороду и спросил:

— А как же, барин, «Исаия, ликуй!» не будет?!

— Какой «Исаия»?

— Во-на! Какой! Я, брат, люблю, чтобы все честь честью. Я с невестой на коврик идем, а певчие «Исаия, ликуй!» поют. Ты, барин, из испанцев, кажись, будешь? Ну, а мы, православные христиане, насчет того, чтобы все по закону и чтобы обряд блюсти, стоим незыблемо! Так ты и запиши.

— Да ведь дорого будет стоить вам, уважаемый! — твердил еврей-адвокат.

— А тебе какая забота? Деньги всегда при нас. Ты только действуй, а мы платить будем.

И купец дождался своего: венчался в четвертый раз и слышал «Исаия, ликуй!».

А. С. Суворин очень смеялся, говорил, что только Москва и может таить в себе подобные типы, называл купца какой-то «безобразной, но отдаленной копией Ивана Грозного», затем сказал:

— Отчего же вы этого не опишите?

— Уж очень дело-то интимное... Удобно ли?

— А вы в форме рассказа, очерка; это характерно, это типично... Вообще, все чисто московское, нам, петербуржцам, неведомое или малознакомое, вы должны заносить в свои суббот-



ние фельетоны. Вы иногда прекрасно расскажете что-нибудь незаурядное или представляющее интерес, а то вдруг заведете свою излюбленную полемику с литераторами московских изданий. Я знаю, вас увлекает такая полемика. Но разбирайте, что есть полемика общая и полемика частная. Вопросы государственные вызывают яростную полемику, и публика с интересом это читает. А кому интересно знать, например, что в газете «Курьер» какой-то выгнанный профессор написал вздорную статью? Или кому надо знать, что московский издатель N безграмотен, туп и глуп? А вы на это тратите силы, выдумываете кудрявые фразы! Перед вами открыта вся Москва. Это громадный музей. Он неисчерпаем. Ваши раскольниковы кладбища, быт Таганки, Хитровка, Грачевка, рынки, ночлежные дома, рост торговли, фабрики, фабричные короли, купцы старые и купцы новые, жизнь московских окраин, где еще, вероятно, голубей гоняют¹⁾, все это крайне интересные сюжеты, а так как вы умеете описать то, что видите, то положительно вы грешите и против себя, и против газеты, делая фельетонные экскурсии в сторону от правильной своей дороги. Вы как-то описывали пасхальную заутреню в Кремле. У вас хорошо звонил Иван Великий. Позванивайте же, голубчик, почаще в те колокола, которые дают вам стройную музыку, а не какофонию!

Произошло знаменитое убийство секретаря полтавской духовной консистории А. Я. Комарова. Газеты подняли шум. Первый процесс вызвал статьи корреспондентов, где доказывалось, что виновница убийства женщина и что в подозрении остается жена убитого. Профессор Патенко издает свою беспримерную по легкомыслию брошюру «Кто убил Комарова?» и доказывает, что только дамская кокетливая рука могла завязать в бант веревку, найденную на шее задохнувшегося Комарова. В «Новом Времени» появились «Маленькие письма» А. С. Суворина, где и он склонялся к выводу, что обвинявшиеся в убийстве братья Скитские напрасно посажены на скамью подсудимых и что тут чувствуется рука ревнивой женщины.

¹⁾ Нынешним летом, проезжая по краю Москвы, я видел стаю белых голубей в воздухе и вспомнил слова Суворина. *Авт.*



Вскоре после этих статей ко мне явилась вдова покойного Комарова и рассказала все, что касалось обстоятельств таинственного убийства ее мужа. Пораженный этим рассказом, а также самой Комаровой, вполне интеллигентной женщиной, полной ума, энергии, здравого смысла и говорящей языком образованного оратора, — я сейчас же написал фельетон «К делу братьев Скитских» и отправил в «Новое Время». Фельетон был напечатан, и началось опять газетное столпотворение. Писали всякий вздор, но серьезных возражений словам г-жи Комаровой я не встретил нигде.

А. С. Суворин известил меня, что он с большим интересом читал мою беседу с Комаровой:

«Я точно вижу перед собой эту описанную вами женщину с бледным лицом и темными волосами. Недавно я увидел портрет Комарова: совсем иным я его воображал! Я думал, это какой-нибудь консисторский чиновник, злобный, мелочный; но, оказывается, это человек с открытым, вполне интеллигентным лицом, очень молодой при этом. У меня сразу родилось чувство жалости к нему. Вы, Николай Михайлович, идете вразрез с общим мнением, я читаю у вас между строк, что вы готовы оправдать Комарову, что очень хорошо, если это удастся доказать, и обвинить братьев Скитских, что очень нехорошо, так как, если судить по словам Патенка и корреспонденциям, оба Скитские тут совершенно ни при чем. Берегитесь! Такие ошибки журналиста очень опасны. Знайте также, что пока не состоялось третьего разбирательства дела, твердых выводов делать нельзя. Я же стою за то, что братья Скитские неповинны в этом преступлении».

Это письмо Суворина меня очень взволновало. Действительно, поддавшись этому чувству жалости и выслушав искусную речь г-жи Комаровой (впоследствии она и на суде доказала свою способность великолепно объясняться: около двух часов шел ее допрос, причем присяжный поверенный Карабчевский, защитник Скитских «оптом», так как были защитники «и в розницу», совершенно спасовал перед этой замечательной женщиной, бросил тактику грубого «сбивания» и отступил, ничего не найдя в словах вдовы убитого, что могло бы оказаться ему полезным), — я мог, не зная дела, совершить ошибку, стать несправедливым.



Я немедленно достал все материалы дела бр. Скитских, оправданных в Полтаве, но обвиненных в Харькове, и стал изучать процесс. Чем ближе я знакомился с событием, тем более росла во мне уверенность, что г-жа Комарова никак не могла ни убивать мужа, ни руководить его убийством, а относительно братьев Скитских, напротив, ряд косвенных улик создавал для меня решительный вывод, что убить могли только Скитские, заинтересованные смертью Комарова, спасавшей их от изгнания со службы и от голода. По старому юридическому правилу, преступление совершил тот, кому оно было полезно. Комарова, лишась мужа, лишилась всего: средства к жизни (она впоследствии служила на железной дороге, получая тридцать руб. в месяц), почетного общественного положения. Братья Скитские, наоборот, только выигрывали: смерть Комарова предотвращала их изгнание со службы. Старший Скитский, с приездом Комарова в Полтаву, потерял всякое значение в консистории и был изобличен новым секретарем в разных неблагоприятных проделках. Их участь была решена — отсюда и вывод: убийство полезно одним Скитским.

Обо всем этом я написал А. С. Суворину, добавив, что заинтересовавшая его курьезная брошюра профессора Патенка обсуждалась у нас юристами, и московский профессор Миных назвал ее «болтовней старой бабы» — мнение вполне правильное.

Суворин на это письмо мне не ответил. Третье разбирательство дела Скитских произошло в Полтаве, в два приема: зима помешала судебной палате осмотреть местность убийства и пути Скитских, будто бы шедших через гору «купаться по системе пастора Кнейпа», и дело отложили до лета.

Редакция «Нового Времени» командировала на процесс Скитских меня, и я с рвением исполнил эту обязанность корреспондента. Дело кончилось оправданием братьев Скитских. Мотивы оправдания — появление новых свидетелей в пользу Скитских, рассказавших о деле через три года после убийства. Юристы прямо называли их показания сфабрированными. Я нахожу, что это приговор несправедливый (два судебных голоса также были против оправдания). Свои статьи я писал так, как разумел



суть дела. А я был уверен в виновности братьев Скитских. Процесс этот следовало бы подробно описать и издать, но не так, как описали его харьковские и полтавские корреспонденты.

Разумеется, мои статьи в «Новом Времени» стали предметом нападок противников моего взгляда. Но я сознавал, что стою за правду. После процесса лучшее полтавское общество прислало мне нечто вроде адреса, где благодарили меня за истинное освещение дела, затуманенного громкими речами адвокатов и лживыми показаниями разных свидетелей.

Но лучшей моей наградой были слова А. С. Суворина. При личном свидании он сказал мне буквально следующее:

— Я читал ваши корреспонденции из Полтавы и должен сказать, что вы переубедили меня. Я более не подозреваю г-жу Комарову и думаю, как и вы, что Комарова убили братья Скитские...

Этот эпизод касается истории конченной и забытой. Младший Скитский, выйдя из тюрьмы, пил «мертвую» и скоро умер. Жив ли Степан Скитский, не знаю, но мне известно, что он, очутившись на свободе, не мог найти места в Полтаве и уехал... чуть ли не в Америку. А сам на суде давал клятву, что задачей его жизни будет разыскание истинных убийц Комарова! Что же, нашел ли он их в стране янки?

Кровь честного русского общественного деятеля А. Я. Комарова, желавшего истребить дурные консисторские нравы и искоренить взяточничество, до сих пор вопиет к небу. Убийцы его официально не обнаружены. Пусть же Господь покарает виновных, если люди были лишены возможности отыскать их...

Однажды А. С. Суворин разбил меня за небрежный фельетон о Солдатенкове. Действительно, после смерти этого интересного москвича я, торопясь и боясь опоздать, послал только небольшую заметку о деятельности этого «московского особняка», как принято у нас называть крупных деятелей.

Перейдя к другим темам, А. С.-ч спрашивал:

— Отчего вы совершенно не касаетесь биржи? У вас, в Москве, биржевиков и биржевых зайцев легионы. Биржа — пульс большого города. Я сам когда-то писал о бирже. По-видимому, вы далеки от этого учреждения. Пожалуй, оно вам и непонятно,



как было непонятно сначала и мне. А вы побеседуйте с Крестовниковым, с биржевыми дельцами. Присмотритесь к внешней стороне биржевой деятельности. Она вас и поразит, и захватит. Это прямо какой-то кишащий котел. Не надобно залезать в трясины специальностей биржевого дела. Это чересчур сухо, а вы типы-то, типы рисуйте! Биржа даст вам удивительные фигуры. Вы умеете описывать людей. Попробуйте же московскую биржу, прошу вас...

Нужно ли приводить другие примеры суворинского отношения к сотрудникам? Я тщательно припоминаю всякие указания А. С-ча и не могу найти ничего такого, что говорило бы о ненужности, о неправильности подобного внушения, устного или письменного. Все было кстати, все вразумляло и помогало.

Суворин, весь погруженный в тысячи дел, за всеми следил из Петербурга и каждому из нас, постоянных сотрудников, давал «приказы по полку». Прочтите «Письма Суворина к В. В. Розанову». Там есть яркое подтверждение моих слов.

Интересуясь всяким замечательным явлением жизни, Суворин особенно интересовался московскими театрами, сам знал их до тонкости. Если я — очень редко, как помнится, но все-таки опаздывал с отчетом о какой-нибудь новинке, А. С-ч уже торопил меня, иногда письмом, иногда телеграммой: что же не сообщаете о такой-то пьесе? Он требовал быстроты в присылке рецензий.

— Хорошо бы вам. — говорил он, — давать отчеты о пьесе по телефону! Зато какой эффект: на другой день в Петербурге читают отчет о пьесе, шедшей накануне в Москве!

Это было бы, конечно, недурно. Я и передавал иногда в «Новое Время» краткую корреспонденцию по телефону о какой-нибудь сенсационной пьесе, но отчет более подробный приходилось посылать по почте.

Будучи знатоком и любителем театра, издатель «Нового Времени» мало уделял внимания искусствам изобразительным.

Понимал ли А. С. Суворин в художестве, в живописи? По-мню, он высказывался в том смысле, что ему нравится «Христианская цирцея в римском цирке» Генриха Семирадского. А по-моему, это очень безвкусная, вымученная и не реальная картина. Тело обеспамятевшей, замученной девушки, привязанной к спине



дикого быка, написано и не ахти как хорошо, и, главное, неверно. Разве таким оно должно быть после гоньбы быка по арене? Вообще эту картину Суворин хвалил напрасно. Она не стоила этой похвалы. Но живопись Суворин чрезвычайно любил.

Однажды я сопровождал А. С-ча в Третьяковскую галерею. Кажется, тут был и Чехов, и еще кто-то. Суворин ходил и восхищался шедеврами русской школы. При этом его замечания были верны, а взгляд очень зорок.

— Как потемнели тона «Березовой роши» Куинджи! — говорил он. — Но что за талант! Сколько у него неожиданных красок, разнообразия, поэзии!

Картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына Иоанна» все хвалили, но, помнится, трактовку сюжета Суворин не одобрял. Это я потому запомнил, что сам не люблю это полотно, залитое излишним обилием крови и вообще возбуждающее гадливость. У Репина талант титана, и мы счастливы, что живем одновременно с таким великим русским художником, но иногда у этого прекрасного артиста-художника проскальзывает незваная гостья — тенденция... она-то совсем и не нужна Репину!

Что же сказать еще о Суворине как о редакторе?

Я только что написал, что счастливы все, кто является современниками гигантов-Репиных. По отношению к А. С. Суворину скажу также: счастлив тот журналист, кто поработал у такого гиганта-редактора, как Суворин! Я это счастье испытал, и имя «А. С. Суворин» для меня священо.

Этот старый руководитель «Нового Времени», как Борей, с белыми власами и седою бородой, потрясал умы читателей и учил всех нас добру, чести, стойкости, борьбе за право и правду. Он давал сотрудникам свободу за их искренность. Он был образован, многознающ, полезен, добр, доступен, справедлив, милостив. Перестройте теорию, скажите, что это был крикун, вспыльчивый брюзга, бесхарактерный человек... Все это, может быть, в нем было, но в дозах меньших. Главное Суворина — его положительные качества. Он был редактор мудрый, опытный и обладал проницательностью, перед которой не спасала никакая маска. Он от своего сотруднического хора требовал верного пения и фальшивых нот не выносил.



Это редактор-образец, пример, достойный подражания, редактор — друг и брат, редактор, отечески относящийся к вам в минуту ваших падений и заблуждений.

Пробыть несколько лет в распоряжении такого редактора — это все равно, что прослушать курс лекций талантливого профессора.

Суворин-редактор — колоссальная статуя, повитая лавровым венцом, и никто не может сказать, что его венец надет не по праву.

Многих редакторов можно упрекнуть в чем-нибудь — А. С. Суворина никто не дерзнет оскорбить даже малейшим упреком. Ибо, как редактор, — А. С. Суворин безупречен.

XIV

Чехов перед смертью

Бегут быстротечные годы! — говорит великий Гораций.

Давно ли, кажется, я знал Ан. П. Чехова как милого и веселого Антошу Чехонте, как начинающего и талантливого сотрудника «Нового Времени» и автора его первых прелестных лирических рассказов в стиле Тургенева? А годы шли да шли. Менялись и люди, и обстоятельства.

— Вот уж у меня издана целая стопка книг! — говорит Чехов, указывая на этажерку. — Не успеешь оглянуться — вторым Николаем Александровичем Лейкиным очутишься... Он мне сегодня письмо прислал и, по обыкновению, страшно хвастается, что его купец Иванов восемнадцатым изданием вышел... А знаете, как он издает свои книги? По 200, по 250 экземпляров! Разделит 2000 книг на десять частей, вот у него и сразу десять изданий. Преподнес он и мне это «восемнадцатое издание»... Надпись — вроде как на могильной плите: «Антону Чехову — Николай Лейкин». Не люблю я, знаете, этого господина... Как увидал, так и невзлюбил. Когда я в первый раз в Петербург приехал и познакомился с Билибиным¹⁾, представьте, на чем мы

¹⁾ Покойный В. В. Билибин, автор нескольких комедий и водевилей, сотрудник многих изданий, представлял собою замечательную личность, вполне заслуживающую названия «светлой». О Билибине я со временем напишу особую статью. *Авт.*



сошлись? — оба сразу, как бы сговорившись, начали ругательски ругать Лейкина! (Чехов засмеялся).

— Ну, разумеется, Лейкин человек не без недостатков, — сказал я, так же, как и все сотрудники «Осколков», знавший цену их редактора, — но вас-то, Антон Павлович, он очень любит... Ведь вы начинали в «Осколках»!

— Полноте! Кого он в жизни любил, кроме денег? Вспомните, как он по-жидовски платил мне, вам, Грузинскому!.. Вот Пальмин умер — дал ли он хоть рубль на похороны? Фефела Ивановна (сожительница поэта Пальмина) ко мне подходила и жаловалась: ничего, говорит, не дал! Я ей шепнул: подайте, говорю, на Лейкина жалобу генерал-губернатору...

— А мне Лейкин на похоронах Пальмина говорил, что после него осталось 13 000 рублей, и что их Фефела-то и подтибрила!

— Видите, видите, какой врал! Ну, откуда у Пальмина могло быть столько денег? Это от стихов-то! Нет, Фефела многим не поживилась... Кстати, как ее по-настоящему-то звали?

— Пелагея Евдокимовна, — отвечал я.

— А Пальмин называл ее Фефелой... Помните, Н. М., как мы его перевязывать ездили?! И нам эта самая Фефела 30 копек на чай дала!¹⁾

Чехов расхохотался, но, как это с ним часто случалось, внезапно опять насупился и проговорил:

— Ну а печение книг *a la* Лейкин все-таки я приостанавливаю!

— Почему же, Антон Павлович? Ведь книги книгам рознь.

— А потому, дорогой мой, что вообще надо экономить запасами, отпущенными нам природой! Кроме того, уж если писать, то писать что-нибудь значительное... роман, например, в нескольких частях.

¹⁾ Это произошло в первые годы моего знакомства с Чеховым. Пальмин, будучи под хмельком, упал и разбил себе лоб. Вызвали Чехова, «как врача и друга». Я тогда был у Чехова в гостях — и поехал помогать, «в качестве фельдшера». Фефела хотела дать 30 копеек Чехову на извозчика, но Чехов отвечал: «Фельдшеру дайте!» Насилу я от нее отбился. *Авт.*



— У меня есть один знакомый, некто Стрижевский, — сказал я. — Тот спит и видит, чтобы вы написали роман в юмористическом тоне, вроде «Записок пикквикского клуба»!

Чехов подумал и усмехнулся.

— Знаете, что я вам ответил бы, будучи... Григорием Мачтетом?

— Что же?

— Я бы спросил с важной миной: скажите, это не тот Стрижевский, который со мною сидел в Петропавловской крепости? Нет? Виноват, извиняюсь...

Автор этих воспоминаний, встретившись с тогда еще здравствовавшим Г. А. Мачтетом, вспомнил шутливые слова Чехова и сделал опыт (даже фамилию ту самую употребил!). И вот что буквально спросил Мачтет:

— Скажите, это не тот Стрижевский, что был заключен в Петропавловской крепости?

Больших усилий стоило мне сохранить серьезную физиономию.

«Ах, Чехов, Чехов! — думал я. — Мастер ты подметить курьезную струнку ближнего...»

Скажу кстати, что рядиться в тогу «когда-то потерпевшего от политики» — эта манера до сих пор у многих осталась.

Относительно сочинения романа вроде диккенсовских «Записок пикквикского клуба» Чехов сказал:

— Пусть-ка ваш Стрижевский сам попробует...

И, еще немного помолчав, произнес вразумительно:

— Короленко почти совсем сошел со сцены... Я еще держусь, но... Знаете, это хорошо, пока никого нет! А народись новый писатель, сильный, оригинальный, тогда нам, уже достаточно набившим оскомину читателю, — мат! Вот почему не надо печь книги, как кулебяки, а рассказы, как блины...

Как видите, это был Чехов, но не тот, что в начале своей радужной карьеры. Задумчивость и хмурость уж начали омрачать этот, недавно беззаботный, а ныне переставший нежно улыбаться симпатичный лик. Время брало свое. Та усмешка счастья, когда писатель творил и был доволен собою, пропала бесследно. Чехова томило желание создать что-нибудь очень круп-



ное, но это крупное, увы, не создавалось. Тысячи читателей — поклонников Чехова, сотни Стрижевских от всей души желали ему блестящих писательских перспектив, но...

— Подите-ка, попробуйте сами! — раздавалась в ответ фраза писателя, может быть, погружающегося в свои тайные и невеселые соображения.

То был период начала писаний Чехова в «Русской Мысли», период, на мой взгляд, самый печальный и неудачный.

Известие об ухудшении здоровья Антона Павловича, и ухудшении настолько резко, что больного отвезли в клинику профессора Остроумова, поразило меня чрезвычайно. Никто не думал, что Чехов так серьезно, так опасно нездоров. Я с нетерпением ждал, чтобы Чехов вышел от Остроумова, чтобы сейчас же навестить старого товарища. Это, однако, случилось не скоро. Кажется, после клиники Антон Павлович уехал в свое имение Мелихово, потом за границу, и только поздно осенью или даже зимой мы встретились. Чехов сильно изменился, был сморщен, очень исхудал. Особенной худобой поражали его ноги.

— В клинике меня прескверно кормили! — сказал он мне. — Вот бы вам тиснуть в «Новом Времени» про что: про московские клиники! Уж если меня, писателя и при этом врача, питали неудобоваримой дрянью, что же дают простым смертным?

— А вы бы, Антон Павлович, протестовали! — сказал я.

— Говорил, протестовал! Смеются: вы, говорят, очень избалованы... Я, знаете, даже про вас поминал, говорю: надо будет московскому корреспонденту «Нового Времени» сообщить о ваших порядках... А они все в шутку сводили: попробуйте, говорят, мы вас лечить хорошо не станем... А я, знаете, с большим удовольствием читал ваш фельетон о московских больницах. Прекрасно, ярко, доказательно... Так их и надо шелкать!

— Городской голова на меня Суворину донос¹⁾ за это послал: просит опровергнуть, не называя, откуда идет опровержение, — заметил я.

— А Суворин что?

¹⁾ Эта «бумага» городского головы, просившего редакцию, чтобы его «не обнаруживали», хранится у меня среди прочих любопытных документов *Лит.*



— А Суворин мне препроводил этот ответ и пишет, что если я стою на твердой почве, то есть прав и ратую за действительно обиженных больных, то без стеснения должен продолжать свое дело, невзирая на доносы городских голов.

— Молодчина Суворин! — сказал Чехов. — Вот этим он хорош, своих зря не выдаст... У вас говорится в фельетоне о поэте Епифанове. Кто это? Где писал?

— Кажется, в «Московском Листке».

— Это он-то вытерпел больничную пытку?

— Он, он.

— И чахоткой болен? Гм...

Чехов промолчал и проговорил:

— Вот что, Н. М., вы передайте ему от меня 15 рублей... А летом я буду в Ялте и поговорю там с врачами. Может быть, удастся перетащить его туда... Там ему будет отлично!

Я от души поблагодарил Чехова и с былым восторгом поглядел на него.

— Вы слышали, у меня в клинике Лев Толстой был? — спросил Чехов.

— Да, слышал.

— Ну, батенька мой, как там все забегали, когда увидали Толстого, как заметались!

Чехов хотел мне рассказать про Льва Николаевича, но тут появились новые посетители, мужчины и дамы. Я стал прощаться.

Года за полтора до смерти А. П. Чехова я собирался к нему по одному делу. У меня было к Чехову поручение от третьих лиц, весьма щекотливое. Я долго отказывался и, вероятно, не скоро пошел бы к Антону Павловичу, тем более, что тот хворал и мало кого принимал.

Но Чехов сам позвал меня, прислав «открытку» с кратким текстом:

«Где вы? А. Чехов».

Я все-таки медлил. Чужое дело жерновом висело у меня на шее. Я знал, что и Антону Павловичу оно настолько же будет неприятно, как и мне. Наконец я собрался.

Чехов в то время жил на Спиридоновке, в доме Бойцова, во флигеле, на дворе. Я не знал, примут ли меня, потому что ходи-



ли слухи о том, что визитеры страшно надоедают и утомляют Чехова. Однако меня сейчас же попросили в кабинет к хозяину, но предварительно посоветовали обогреться в гостиной.

Я, помедлив, вошел... В небольшой комнате как будто никого не было, и я остановился, думая: куда же девался хозяин? Все было тихо.

— А, Николай Михайлович! — вдруг раздался слабый и знакомый голос. — Что это вы запропали?

Я оглянулся и только тут рассмотрел, что глубокое кресло, стоящее близ письменного стола, не пустое: на нем сидел А. П. Чехов.

Боже! Это была тень Чехова! Как он исхудал, умалился, изболелся! Как обострилось это милое, симпатичное лицо, как высохла вся фигура когда-то стройного и даже плечистого юноши-Чехова! Где его волны волос, как у Антона Рубинштейна? Где живой взгляд светло-карих глаз? Нечто бессильное и глубоко-коскорбное отпечаталось на всем Чехове. Подобной страшной перемены я совершенно не ожидал, не приготовился к ней.

Ах, как глупа и неуместна показалась мне моя деловая миссия к Чехову! Было бы преступлением утруждать хотя лишним словом эту угасающую жизнь. И все, что созидало досаду, неудовольствие, рознь — все исчезло, как дым. Осталась одна безграничная любовь к старому товарищу-писателю. Но к этому чувству присоединилось другое: острое и пронизывающее сожаление.

— Как поживаете? — слышался опять тихий голос Чехова.

Я хотел ответить, но вдруг почувствовал, что губы мои дрожат и я не в силах вымолвить хотя бы одно слово.

В давнопрошедшие годы, в ранней юности, я однажды был в гостях, куда приехал покойный музыкант Порубиновский. И он начал играть на скрипке. В первый раз я слушал талантливого артиста. И хотя скрипка не была его постоянным инструментом, он умел из него извлекать особенные звуки. Меня эта мелодия нежданно и властно охватила и сковала; я сидел, жадно слушая, а дивные и мощные звуки впились мне в душу, в сердце; они медленно неслись ввысь, делаясь все тоньше, неж-



нее; и с этими звуками шли к горлу слезы; они проступали сквозь ресницы, капали на дрожащие руки...

И вот, увидав Чехова, больного, умирающего, гаснущего, исчезающего от нас, я почувствовал эти звуки, зовущие рыдания, я готов был упасть в истерике, мне хотелось ломать себе руки и кричать: нет, нет, нет! — протестуя против близости смерти человека.

А он, болящий и слабый, не замечал моего волнения, не видел моего расстроенного лица. Минуты две продолжалось это нестерпимое положение, пока я справился и мог что-то вымолвить, вроде того, что я пришел повидаться, но могу сейчас же уйти, если Антон Павлович занят.

— А вот именно сейчас я ничем не занят, — отвечал Чехов. — Дома никого нет... Сижу и думаю, не поехать ли прогуляться, в Петропавловский парк? Что, холодно на дворе?

— Не особенно. Погода отличная.

— Гм... Сейчас, пожалуй, поздно... Знаете что? Погуляем в парке завтра. Приезжайте туда часам к 12. Я вам, как женщине, randevу назначаю (он улыбнулся бледной улыбкой, и все лицо его изрезалось морщинками).

Я поспешил изъявить согласие.

— Как ваши дела с Сувориным? — спросил Антон Павлович.

Я боялся обременять его разговорами и еще раз осведомился, не мешаю ли я.

— Нисколько. Я очень рад, что вы зашли. Расскажите мне, почему это в «Новом Времени»...

Тут Чехов начал толковать о новых сотрудниках названной газеты, о ее нововведениях и т. п. Затем, после некоторой паузы, как бы нечаянно спросил:

— Скажите, Николай Михайлович, вы верите в будущую жизнь?

Я удивился и медлил ответом.

— Впрочем, вы, наверное, человек божественный, отвергаете революцию, думаете, что Суворин — пророк своего отечества, а Буренин — первый русский критик. Вы в рай попадете, а вот мы в аду гореть будем...



Он помолчал и мечтательно проговорил:

— Однако Гамлет сказал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...» Я не раз думал, что это — невежество Шекспира, более 300 лет назад сказавшего такую фразу, или что-то вешее? Лев Толстой все отвергает, а сам пишет, что смерть есть воскресение! Даже такой гигант сомневается... Н-да! Вот и поворачивайся на обе стороны...

Я с содроганием слушал Чехова. Все эти слова звенели мне предсмертными стонами организма, разрушаемого беспощадной болезнью. Сердце мое стало биться с такою болью, что я крепко прижал к груди левую руку. От болезненного этого ощущения дух захватывало.

А Чехов тихо продолжал:

— Ум человеческий трезв, пока здорово и цело естество. Если, например, сердце изжито и пусто, ему ничто не поможет: ни религия, ни медицина! Я всегда был реалистом, но... Кстати, вы, Николай Михайлович, видели когда-нибудь привидение?

Я вспомнил «Черного монаха», этот рассказ Чехова, полный бреда, и отвечал:

— Нет, не видал, Антон Павлович!

— Жаль! Я бы хотел потолковать с человеком, испытывшим что-нибудь сверхъестественное... Только мне надо правдивого человека! Если бы тут *** был, он бы нам десяток случаев привел, и все это было бы сочинением. Он всегда лжет. Это его главная специальность.

Чехов опустил голову. Как грустна, как тяжела для меня был эта поза! Она врезалась в мою память, и я всегда ее помню. Так, не поднимаясь, он все сидел, и мне казалось, что это маленький, беспомощный ребенок, и нет той любящей матери, которая могла бы теперь развеселить, утешить и облегчить его от тяготы болезни!

Я сидел, глядя на него, потрясенный, и говорил про себя одно и то же слово:

— Прощай! Прощай! Прощай!

Пора была уходить. Я было встал.

Чехов уловил мое движение.

— Вы что, Николай Михайлович?



— Мне пора домой, Антон Павлович.

— Погодите... Можете позже написать фельетон в «Новое Время»...

— Завтра, значит, мы встретимся в Петропавловском парке?

— В парке? А, да! Разумеется... Погодите, что я хотел вам сказать?

И вдруг, опять улыбнувшись бледной улыбкой, Чехов спросил меня:

— Скажите, как фамилия К-ского?

— Да именно так, как вы сказали, — ответил я с недоумением, — К-ский.

— А вот и нет: его настоящая, по паспорту, фамилия — К-хес!

Чехов поглядел на меня. На миг заблестело на этом страдальческом лице нечто былое, связанное с воспоминанием о веселом юморе, о брызгах живого чеховского остроумия, о нашей прошедшей молодости, о невозвратных днях наших первых литературных выступлений...

И быстро все это погасло, как свеча, задутая незримыми устами.

Я стал прощаться. Я пожал руку Антона Павловича, она была холодна, как гипсовая. Это прикосновение, это погасшее лицо бесценного человека, этот последний, померкший взгляд разбили мои нервы...

Я надевал в передней свое пальто, стараясь заглушить рыдания, просившиеся наружу, я не видел, куда мне идти, я вышел — и долго стоял на крыльце, не зная, что со мной и куда мне нужно было ехать...

Это было последнее мое свидание с Антоном Павловичем.

В 1904 году тяжело больного Чехова увезли в Германию, и там, среди тевтонских безразличных и холодных физиономий, вдали от родины и милых мест погас этот светоч честной русской литературы.

Чехов не первоклассный талант. Но он, что называется, работал на совесть, никого не обманывая, не создавая умышленно дутых героев, не прибегая к ухищрениям, какие вошли в моду в



русской беллетристике после его смерти. Он дал все, что мог. Его труды не дают ему титула великого писателя, но что Чехов — большой писатель, конечно, все согласятся. Он, однако, не шел одной дорогой, а разбрасывался. Юмор и маленькие рассказы он оставил, хотя в них-то он и был мастер своего дела. Серьезность дальнейших его произведений не выиграла в глубине. Театр увеличил его популярность, но его пьесы есть только добросовестные потуги создать что-нибудь значительное. Чехов, если хотите, не оправдал надежд наших литературных стариков: Лев Толстой прямо говорил, что лучшее у Чехова — это его небольшие, полные юмора и меткости рассказы; драм Чехова великий писатель совсем не признавал; А. С. Суворин, если не ошибаюсь, кому-то высказывал, что Чехов был прекрасным цветком литературного русского сада, но среди цветения его постигла какая-то незаметная хворь, остановившая его рост.

Весьма нехорошо отозвалось на здоровье Чехова торопливое сочинение пьес, которых добивался от него Художественный театр.

Нужен сильный талант и большой срок времени, чтобы написать если не выдающуюся, то хотя бы умную, занимательную и сценическую пьесу. Необходимо быть прирожденным драматургом — если не Островским, то хотя бы только Виктором Крыловым. Сцена имеет свои требования, свои особенности, свои условия. Но даже выдающиеся русские драматурги своих драм и комедий, по выражению Чехова, «не пекли, как кулебяк». Толстой, Писемский, Островский... сколько трудов положили они на обработку своих шедевров!

Так ли поступал Ан. П. Чехов, не обладая при этом выдающимися способностями драматурга? Увы, мы здесь видим обратное. Чехов спешил с пьесами. Он надламывал себя, стараясь сказать «новое слово», но не сказал его. Упорно, как в юные годы, он работать не мог. Злой недуг не позволял ему этой усиленной траты энергии.

Пьесы Чехова сопровождалось, как будто, успехом. К сожалению, это было до известной степени маревом. Успех создавало популярное имя больного автора, полное отсутствие таланта в пьесах других авторов того времени и, наконец, те великие



ухищрения постановок гг. Станиславского и Немировича, какие были приняты новой публикой театров за какие-то «сценические откровения». Все это было пухом, воздушным замком. И чеховские пьесы, и постановки Художественного театра — не откровения.

На пьесах для названного театра Чехов надорвал свои последние силы — и скорбно почил вне пределов своей родины...

А. С. Суворин, узнав о смерти Чехова, того цветка, пересаженного с его гряды неумелыми руками, — написал горячую статью, посвященную памяти Антона Чехова. Статья эта известна всем.

Мне Суворин телеграфировал, прося заказать дорогой серебряный венок и возложить его на гроб писателя. Чехова хоронили торжественно, всей Москвой, какая только была в это время налицо.

Впоследствии, увидавшись с Сувориным и рассказывая ему о встрече и похоронах, я услышал от него фразу:

— Москва умеет ценить людей. Чехов стоил общих слез и сожалений. Беда в том, что он не так, как бы следовало, распорядился при жизни и своим дарованием, и здоровьем.

XV

Юбилей «Нового Времени»

В среду 28-го февраля 1901 года было отпраздновано двадцатипятилетие «Нового Времени».

Вышел замечательный № 8.982 «Нового Времени» с портретами всех деятелей и сотрудников газеты: А. С. Суворина, А. А. Суворина, М. А. Суворина, В. П. Буренина, К. А. Скальковского, В. В. Гея, А. Н. Маслова (Бежецкого), В. К. Петерсена (А-та), А. Н. Молчанова, М. М. Иванова, В. С. Россоловского, Н. С. Кутейникова, С. Н. Шубинского, Д. Н. Кайгородова, С. С. Татищева, В. С. Кривенка, О. И. Булгакова, Е. Л. Кочетова (Русского Странника), Ф. В. Вишневого (Черниговца), Л. К. Попова (Эльне), В. Г. Авсеенка, Я. А. Плющика-Плюшевского, В. В.



Розанова, В. С. Лялина (Петербуржца), Ф. Е. Ромера, С. И. Смирновой, И. Л. Леонтьева (Щеглова), К. М. Фофанова, С. Н. Сыромятникова (Сигмы) и мн. др.

К этому времени Ан. П. Чехов окончательно перебрался, в смысле литераторства, в Москву, и его портрета нет среди наиболее выдающихся сотрудников «Нового Времени». Отсутствует А. В. Амфитеатров (Old Gentleman), по разным «обстоятельствам» принужденный покинуть «Новое Время», отказавшее этому журналисту сводить личные счета с артистами на своих страницах.

Были помещены портреты сотрудников, не доживших до юбилея: М. П. Федорова, А. П. Коломнина, М. А. Загуляева, А. А. Дьякова (Жителя), С. Н. Терпигорева (Атавы) и К. И. Кавоса.

Юбилей с датой «25» — многое значит для газеты. Это целая четверть века, а так как жизнь политического газетного органа считается жизнью, выражаясь по-старинному, как под Севастополем, то и выходит, что «Новое Время» прожило как бы целый век. Сколько историй, сколько интересных статей, полемики, кар от администрации, скорпионов от различных цензур! И не перечтешь!.. Юбилей этот мог бы пройти во всех отношениях хорошо. Сотрудники съехались отовсюду: из далеких провинций и даже из-за границы: из Берлина явился Н. К. Мельников-Сибиряк (в нынешнюю войну томящийся у немцев в плену), из Парижа — П. Н. Дубенский (Вожин), ныне уже умерший, и др.

Юбилей с внешней стороны прошел весьма блестяще. Обычные аксессуары юбилея: массы гостей, депутатий, речей, поздравлений, телеграмм — всего этого было в изобилии; в театре был спектакль с концертом-апофеозом в честь «Нового Времени».

Все это, действительно, удалось на славу. Но не было главного: объединения сотрудников. Это сразу обнаружилось. Я с грустью увидел печальное лицо А. С. Суворина. Он был явно не в духе. А как мог бы порадоваться создатель всего благополучия, которое сверкало вокруг на юбилее газеты! И как хорошо бы почтить этого высокоталантливого руководителя именно общим миром, дружеским и теплым друг к другу отношением... Но в этот юбилейный год произошло что-то, расстроившее и души, и сердца.



Между тем публика так и стремилась на юбилей. Театр не мог вместить всех, желавших полюбоваться апофеозом «Нового Времени». У А. С. Суворина в Петрограде было столько искренних поклонников, что дай Бог любой знаменитости сцены иметь такое количество обожателей. Видеть знаменитого автора превосходных «Маленьких писем» желали многие читатели «Нового Времени».

С П. Н. Дубенским, парижским корреспондентом «Нового Времени», приехал из Франции некто г. Варгунин. Он прямо заявил, что едет на родину не столько из-за родины, сколько из-за А. С. Суворина.

П. Н. Дубенский недолго сотрудничал в нашей газете. По виду богатырь, он, однако, страдал неизлечимой болезнью. Года через три после юбилея «Нового Времени» он, уж больной и едва двигающийся, покончил жизнь самоубийством. Для «Нового Времени», по-моему, это была большая потеря: Дубенский имел талант журналиста, знал военное дело (раньше он служил полковником генерального штаба, если не ошибаюсь) и, кроме того, был русским в хорошем значении этого слова. Он интересно и беспристрастно корреспондировал с процесса Дрейфуса.

И все-таки на этом юбилее было не то, что должно быть. Главные сотрудники глядели невесело...

То ли дело, припоминая, как душевно и сердечно прошел один из «Касьянов», отпразднованных в доме Алексея Сергеевича и Анны Ивановны Сувориных!

Я попал случайно, приехав в Петербург по редакционному делу, и тут же мне вручили приглашение на обед к Суворину.

Я не забуду этого хорошего дня. Во-первых, обедали чисто по-русски: с шести часов вечера до четырех часов утра. Сотрудники в квартире Суворина, напоминая пчел в улье, ходили группами; остроумные фразы так и скрещивались; ведь кто собрался-то: сотрудники самой талантливой газеты! Весело шутили, острили, насмешничали; обед начался в двух залах: в большой председательствовал сам А. С. Суворин, в малой — на первом месте восседала А. И. Суворина с молоденькой дочкой А. А. Сувориной (ныне известная артистка) и сыном Б. А. Сувориным. Мы, молодые сотрудники, ютились за этим столом. Было очень непринуж-



денно, просто. Снессарев с Дубровским устроили пари: первому завязали глаза, и он, пробуя вино, угадывал, красное это или белое. Снессарев, очевидно, мог бы служить римским дегустатором у самого Нерона: он безошибочно угадывал вино, и Дубровский проиграл ему 25 рублей (по пяти рублей за пробу).

— Он видит! — кричали в шутку. — Сквозь платок видит!

— Полноте, господа! — объяснял Л. К. Попов. — Здесь просто психология помогает...

Многие стали пробовать угадывать «по психологии» и напутали ужасно.

Я на этом обеде познакомился впервые с К. С. Тычинкиным, который подговаривал соседей просить меня сказать речь.

— Из Москвы приехал, пусть покажет московское искусство красноречия! — говорил он.

— Куда уж нам, московским вахлакам, — отбояривался я, действительно, не понимая, что я могу сказать на этом дружеском обеде, кроме разве одного: «Милые, хорошие, как вы все любезны, как вы мне все нравитесь!»

Кормили нас на убой, восхитительными блюдами, шампанским — заливали. Когда обед кончился, начался суший греческий «симпозион». Около Анны Ивановны находились Евгения Константиновна Суворина (жена А. А. Суворина). Их окружали Сыромятников, Розанов, Коялович, Черниговец и другие, а В. П. Буренин сидел в отдалении, на диване, и что-то смешное рассказывал супруге М. А. Суворина, Е. И. Сувориной.

— Виктор Петрович, вы что же это? — вдруг возвысила голос Анна Ивановна.

— А что такое?

— Вы меня покинули! Извольте сесть со мной рядом.

— Простите, я с дамой.

— Вот это мило! Ваша дама — моя невестка, я старше и имею в этом случае преимущество.

Все смеялись.

— Нет, не признаю этого права! — спорил В. П. Буренин.

— Господа-сотрудники, что же это такое? — комически спросила Анна Ивановна. — Неужели вы дадите в обиду вашу издательницу?!



— Василий Васильевич, предоставьте сюда Виктора Петровича силой! — сказала Евгения Константиновна. — Михаил Михайлович, помогите ему...

— Ну-ка, попробуйте! Попробуйте! — подзадоривал их В. П. Буренин.

Сотрудники разводили руками.

— Трудно!

— Тогда я москвича попрошу! — воскликнула Анна Ивановна. — Ну-ка, матушка-Белокаменная, выручай!

— Вам угодно по доброй воле идти? — спросил я, улыбаясь.

— Это что такое? Московский детинушка... не подходит!

— Не сдавайтесь, Виктор Петрович! — ободряла новременского критика Е. И. Суворина.

Я схватил Виктора Петровича за плечи, быстро поднял с дивана и бурей домчал, заставляя бежать взятого в плен Виктора Петровича к Анне Ивановне, и даже усадил его на диван. Дамы рукоплескали.

— Вот она, Москва-то!

Я думаю, никто не посетует на меня за приведенный эпизод празднуемого Сувориным Касьянова дня. Тем более, что это прошлое, минувшее. Этот товарищеский обед и вечер, знаменующий зенит славы А. С. Суворина, отошел в вечность. Умер Суворин — и отлетела душа объединенной семьи литераторов и сотрудников.

В тот Касьянов день я был молод, здоров, полон надежд на будущее, и мне казалось, что Касьяновы дни никогда не прекратятся...

Не то было на юбилее «Нового Времени». Я уж говорил, что Суворин глядел каким-то больным, нахмуренным. Прежде, бывало, он встречал меня приветливо и всегда осведомлялся об Антоне Павловиче Чехове. Теперь он даже и не спросил про недавнего любимца. Он сказал:

— У вас в Москве начался съезд актеров, и отсюда разные говоруны с М. Г. Савиной поехали. Вы им не верьте, этим краснобаям. М-в, я убежден, будет говорить одни глупости...

— Что услышу, то и напишу, Алексей Сергеевич. Не прибавлю, да и не убавлю.



— Ох, уж эти мне актерские съезды! Дела от них ни на грош, а пустозвонства на сто тысяч целковых... Как толкуют актеры насчет Великого поста, вы не знаете?

— Они почти все за прекращение спектаклей. Говорят, что рассуждения о шестинедельном голодании — одни фразы, что нужно же в году иметь один перерыв в полтора месяца, чтобы съехаться на свою вольную биржу и устроить дела. Кроме того, съезды в московском бюро им полезны хотя бы потому, чтобы «пообразоваться», так сказать, узнать столичные веяния, поглядеть новые пьесы, словом, они за отдых в посту...

— Что ж, это резонно. Знаете, вы, голубчик, поговорите на эту тему с разными актерами повиднее, да и пишите нам. Это любопытно и даже, для актеров, чересчур умно... Вы зачем в Петербург приехали?

— Как зачем? А юбилей-то...

— Ах, да, юбилей! Черт их знает, зачем они юбилей какой-то затеяли. Это все Снеессарев поджигает... А впрочем, я рад...

Суворин поднялся. Ему что-то хотелось спросить, но, кажется, он задал другой вопрос:

— Что там, в московском книжном магазине, вы не знаете, что делается? Говорят, беспорядки, упущения...

— Не знаю, — отвечал я, — впрочем, управляющий Бладасов приехал на юбилей, он, вероятно, к вам явится...

— Как, и Бладасов приехал? Это с которой же стороны он подходит к газетному юбилею? Это, голубчик, однако, черт знает что! Вы ему передайте, чтобы он явился говорить по делу. Ему надо уметь торговать, а не юбилеи справлять. Литератор какой, скажите на милость!

Я уж и не рад был, что упомянул о Бладасове.

Юбилей настал и протек, как я уже говорил, шумно. Суворин не оживлялся. Он был все время насуплен. Съехались мы, сотрудники, сниматься к лучшему фотографу — и опять недовольное лицо А. С. Суворина появилось посреди нас, творя ненастье в настроениях. Долго не могли усесться. Никто не желал сесть на пустые места, в первом ряду.

— Господа, садитесь же! Вперед пожалуйста.

— Садись, Сережа!



— Лучше ты, Николай!

— У тебя борода, тебе впереди приличнее...

А. С. Суворин в нетерпении даже палкой стукнул:

— До каких же мы пор будем располагаться в группе? — с досадой спросил он.

На другой день я уехал в Москву, на актерский съезд, как всегда, многочисленный, немного шумный, немного бестолковый. Слушал я там М-вых, К-вых и всех других «краснобаев», но, говоря по совести, никаких особенных глупостей в их речах не замечалось. Говорили только чересчур витиевато, как, впрочем, на актерских съездах и полагается.

Без меня сотрудники «Нового Времени» снимались еще раз, и вторая группа удалась гораздо лучше.

Недавно, припоминая из прошлого «толикая многая», я с разнородными чувствами глядел на своих сотоварищей. О, скольких здесь теперь недостает! Даже сердце сжимается...

Иных уж нет, а те далече,

Как Сади некогда сказал!

После юбилея «Нового Времени» налетела гроза и развеяла сотрудническую рать на две части... Мимо, мимо этих волнующих воспоминаний!

XVI

Юбилей А. С. Суворина

Великолепный старик Суворин, много перестрадавший за свою долгую жизнь, достиг зенита своей славы и отпраздновал юбилей, редкий юбилей, обозначаемый римской цифрой L.

Пятьдесят лет! Пятьдесят лет литературного, блестящего, славного и честного труда!

Государь Император Николай II, жалую А. С. Суворину Свой портрет в золотой раме, соизволил начертать следующие прекрасные слова:

«Алексею Сергеевичу Суворину, честно проработавшему на литературном поприще в течение 50 лет на пользу родной страны».



Эти слова русского Царя исчерпывают всю деятельность Суворина: пятьдесят лет честно работал на пользу родной России! Редкая, завидная участь!

Юбилей этот был торжественно и счастливо отпразднован 27-го февраля 1909 года, и на этот раз ничто не омрачало литературные именины старого писателя. По крайней мере за полгода до юбилея ко мне обратился с письмом К. С. Тычинкин, прося подумать и известить редакцию, как и чем могла бы Москва выразить свое участие в праздновании пятидесятилетия общественно-литературной деятельности Алексея Сергеевича.

«Мы все в редакции, — писал г. Тычинкин, — озабочены тем, чтобы этот праздник удался как можно лучше. Нужно принять меры, чтобы юбилей порадовал нашего всеми любимого Суворина. О своих планах напишите Михаилу Алексеевичу, а также и мне. Сам я затрудняюсь что-нибудь подсказать вам. Решительно не могу представить, как можно привлечь вашу Белокаменную к юбилейным торжествам. Но привлечь положительно необходимо. Постарайтесь, пожалуйста!»

Задача была, как видите, не легкая. Но я разрешил ее быстро. Я рассуждал так:

— А. С. Суворин — человек известный, уважаемый и любимый. Одно дело — газеты враждебного лагеря, и другое — интеллигентное общество Москвы. Когда шла суворинская пьеса «Вопрос», наши рецензенты уж не знали, как и чем уязвить масти того автора, тогда как публика на первом представлении отнеслась к Суворину очень сочувственно. Таким образом, можно и относительно участия в юбилее обратиться непосредственно к самому обществу Москвы.

Являлся вопрос: как обратиться, в какой форме?

И это у меня скомпоновалось сразу.

— Адрес! — подумал я, — единственный верный путь — это адрес!

Я обратился к моему хорошему знакомому, академику живописи К. В. Лебедеву, прекрасному художнику, постоянно-му участнику «передвижных выставок», известному жанристу, картины которого, по преимуществу из старого русского быта, всегда отличались огромными достоинствами. Его превосходный



поэтический жанр «Юродивый» был приобретен Государем Императором.

К. В. Лебедев оказался почитателем А. С. Суворина и с удовольствием нарисовал чудесную виньетку для адреса. Была изображена Москва, ее Кремль. Особенно интересны и оригинальны оказались буквы в русском стиле, значащие имя, отчество и фамилию юбиляра.

Я заказал колоссальную кожаную папку и с этой машиной начал свой каждодневный объезд более или менее видных москвичей. Я шел к знакомым и незнакомым, первых просил рекомендовать мне еще таких лиц, которые своей подписью украсили бы адрес, вторым рекомендовался, читал текст приветствия и предлагал адрес для обозрения и подписи.

Текст адреса я составил после многих переделок и, наконец, написал его собственноручно на особом листе ватманской бумаги.

Вот этот адрес. Печатаю его полностью, тем более, что в «Историческом Вестнике» он не был перепечатан в свое время:

ОТ СТАРОЙ МОСКВЫ

Глубокочтимый Алексей Сергеевич!

Вся Россия празднует сегодня пятидесятилетие вашей литературной деятельности, и старая Москва, сердечно вас любящая, шлет вам свой привет и поклон. Древняя российская столица прославлена красным звоном своих колоколов. Ваш голос, подобно колоколу, всегда будил общественное сознание. Москва – собирательница земли русской. Она чтит в вас те высокие патриотические чувства, которые дороги каждому гражданину, не утратившему любви к своей стране, она ценит ваш труд, изумительный по размерам и результатам. Вся жизнь ваша – сплошная борьба за Россию, за ее исторические государственные основы, за благо русского народа.

Привет же вам, славный писатель, пятьдесят лет отдававший свои силы, страсть и талант родному обществу! Привет вам, покровитель литературных дарований, тонкий знаток искусства, друг театра, издатель прекрасных книг и талантливой газеты, король журналистики, король от головы до ног!



Пусть еще на долгие годы Бог даст здоровья Суворину. Звучи, талант-колокол, буди хорошие чувства! — Тебя внимательно слушает благодарная родина!..

Я ожидал, что адрес «От старой Москвы» будет хорошо принят в Москве, я надеялся на приветливые встречи. А вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Профессора университета, учащаяся женская и мужская молодежь, артисты, художники, писатели, журналисты, выдающиеся общественные деятели, представители дворянского и купеческого сословия — все встречали меня радушно, восхищались адресом, охотно его подписывали и желали доброго здоровья и продолжения славной деятельности маститому юбиляру.

Адрес у меня даже брали, везли в разные учреждения, и там десятки подписей заполняли этот громадный адрес.

Скоро уж негде было писать. Заполнены были все промежутки, все уголки. Я написал К. С. Тычинкину, что Москва на юбилее А. С. Суворина постоит за себя, в грязь лицом не ударит.

Приехав в Петербург дня за два до юбилея, повидался с редактором «Нового Времени» Михаилом Алексеевичем Сувориным и, уединившись в кабинете В. П. Буренина, прочитал ему адрес.

М. А. Суворин остался доволен и текстом, и виньеткой, и подписями.

— Прекрасный адрес, и текст вы хорошо составили, — сказал он, — мне очень нравится. А кто читать будет?

— Я сам прочту, — сказал я, — а папку с подписями будет подносить со мной В. Ф. Саранчин.

— Отлично, помогай Бог прочитать хорошо. Торжество будет в Дворянском собрании, в большом зале, — сказал Михаил Алексеевич и пока простился со мной.

Я был чрезвычайно рад, что М. А. Суворин одобрил сочиненный мною адрес. Это придавало мне бодрости. Предстояло читать при шести тысячах зрителей отборного петербургского общества. Это не шутка!



Остановился я на квартире члена Государственной Думы П. П. Шубинского, моего давнего хорошего знакомого. И он также одобрил мой адрес, а прослушав, как я читаю, сказал, что все сойдет отлично. Я не трусил, но когда мы вместе ехали на торжество в Дворянское собрание, сердце у меня сильно билось.

Петроградское Дворянское собрание больше, грандиознее нашего Благородного собрания. Я увидел колоссальную залу, которая была вся наполнена публикой. В первых рядах виднелись отличные туалеты дам, блестящие мундиры военных и фраки штатских.

А. С. Суворин сидел на эстраде, возле него — ближайшие сотрудники и деятели «Нового Времени». Семья юбиляра помещалась в особой ложе бенуара. Я ничего не понял, что читал В. А. Прокофьев (адрес от сотрудников), настолько слаб был его голос. Это дало мне мысль читать как можно громче. Стоял я среди бесконечной цепи депутатий десятым по очереди. Передо мной находился товарищ петроградского городского головы.

Бурные аплодисменты сопровождали чтение главы октябристов А. И. Гучкова, и, действительно, этот адрес был прекрасен.

Союз 17-го октября и его парламентская фракция считали своею главною задачей осветить в должной мере заслуги А. С. Суворина перед молодою, политически обновляющеюся Россией и называли главу «Нового Времени» Нестором русской публицистики. Между прочим, в этом адресе были такие отличные слова:

«Когда падали полководцы и терялись люди государственного ума, вы, Алексей Сергеевич, в области вашего творчества сохранили твердую ясность сознания и непоколебимую веру в Россию и ее будущее величие. Вы не принадлежите ни к одной из народившихся ныне партий — это не соответствовало вашим привычкам и литературной независимости писателя. Но провозглашенные вами добрые слова соответствуют коренным верованиям союза 17-го октября!»

Чтение А. И. Гучкова, спокойное, внятное и выразительное, не раз прерывалось рукоплесканиями всей залы.



Я не мог так спокойно читать! Я уже весь дрожал той нервной дрожью дебютанта, выступающего перед большой и лучшей публикой. В Москве мне не раз приходилось выступать с публичными докладами, а также оппонировать на собраниях, но тут волнение оказалось гораздо большим. Не успел я, что называется, прийти в себя, как В. Ф. Саранчин толкнул меня и сказал:

— Нам!

Мы подошли, поклонились А. С. Суворину, затем я обернулся к публике и объяснил, какого рода подписи фигурируют на адресе от старой Москвы.

Затем прочитал и сам адрес. Он был принят отлично.

После слов «король журналистики, король от головы до ног» — зал дрогнул от общих и оглушительных рукоплесканий.

— Bravo! Верно! — кричали кругом. — Великолепно!

Я закончил чтение — новые аплодисменты, шумные, дружные... Слава Богу, значит, адрес от старой Москвы имел успех! — подумал я.

Мне потом говорили (М. А. Суворин, В. П. Буренин и др.), что очень хорошо прочитал адрес. Даже артисты Александринского театра одобрили!

Это меня страшно радовало. Просто по-детски.

Я и сейчас-то об этом упоминаю только потому, что стремление вложить свою долю чествования любимого издателя всего более наделило меня энергией. Не будь Суворинского юбилея, я бы никогда не отважился на подобное выступление.

Торжества юбилейного праздника подробно описаны в «Историческом Вестнике», и поэтому я повторять их не стану. Скажу только о своей беседе с А. С. Сувориным перед отъездом в Москву.

Алексей Сергеевич, когда я вечером зашел к нему, беседовал с М. О. Меньшиковым. Юбиляр был в отличнейшем расположении духа. Он о чем-то шутиливо спорил с Михаилом Осиповичем и, дружески ударив его по плечу, сказал:

— Хорошо, я подумаю! Я подумаю!

М. О. Меньшиков сейчас же ушел. Суворин обратился ко мне:



— А, Москва... Старая Москва... Здравствуйте, голубчик!

Я пожал его большую, полную руку. Суворин показался мне сущим богатырем. Крупная фигура, могучие плечи, открытое лицо в ореоле серебряных волос — кто мог подумать в эту минуту, что недолго осталось жить на свете издателю «Нового Времени»?!

— Вы превосходно читаете... и я вас даже не узнал, во фраке... И по голосу не сразу признал... Всем понравилось!..

Однако скоро Суворин перешел на расспросы о Москве. Я ему сообщил весь небольшой запас разных московских новостей. Описал кое-какие предвыборные собрания с их курьезами, затем коснулся театров.

— Как здоровье Гликерии Николаевны? — спросил Суворин.

Я подивился: невзирая на столько хлопот и такую массу юбилейных впечатлений, Алексей Сергеевич не забывал ничего.

Артистка Г. Н. Федотова, о которой он спрашивал, была тяжело больна. Я даже сам не рискнул поехать к ней с моим суворинским адресом; его носил О. А. Правдин. Больная Федотова сейчас же и с удовольствием украсила адрес Суворина своей фамилией.

Алексей Сергеевич очень тронут был этим рассказом.

— Экая бедная! — сказал он. — Что с ней?

— Главным образом, ноги... она ступить на них не может!

— Какая жалость, — сказал Суворин и подошел к пылавшему камину. — Я очень люблю эту артистку!

Опять скажу: этот могучий человек, на сильных ногах стоявший передо мной, вытеснял всякую возможность о хвори или смерти.

И что же? Г. Н. Федотова, благодарение Богу, жива до сих пор, а Суворин — спит вечным сном воистину *безвременной* кончины!

Он спрашивал меня о М. Н. Ермоловой, о новинках сцены, — театрал глубоко внедрил в эту многостороннюю душу талантливого деятеля. Затем он радушно простился со мной.



XVII

Суворин в последний раз в Москве

Удар грома среди зимы и при безоблачном небе было бы встретить не так неожиданно, как газетное известие, что у А. С. Суворина — рак горла.

Рак! Ужасная, таинственная, неизлечимая болезнь! Если бы это был случай наружного заболевания, а то в гортани...

— Это смерть! — сказал мне один московский врач. — Болезнь уже запущена... Петербургский профессор, леча Суворина полгода, не распознал, что это рак! Простой доктор наводит на истину... Удивительно!

Скоро дошли слухи, что Суворина повезли в Германию, сначала в Берлин, потом — во Франкфурт-на-Майне, где, как утверждали, находился некий маг и волшебник немецкий профессор Шпис, будто бы великий мастер по вырезыванию раковых опухолей.

Уж не знаю, как там протекало лечение А. С. Суворина, но в Москве нашлось множество людей, сильно огорченных болезнью известного писателя. Ко мне звонили по телефону и знакомые, и незнакомые. Все хотели знать правду, но я сам ее не ведал. Я сам алкал известий...

Вскоре после того, как А. С. Суворину сделали вторую операцию, в Москве начались опыты лечения раковых опухолей знаменитым пиралоксином. Директор клиники имени Базановой, С. Ф. фон Штейн, положительно взволновал весь медицинский мир, объявив в одном медицинском журнале, что это средство, т. е. пиралоксин, рекомендованное ему врачом Адельгеймом для лечения глаз, он стал с успехом применять при лечении рака, особенно тяжелых случаев внутреннего характера, и... безуспешно!

Поднялся страшный шум.

— Новое средство против рака! — возгласила пресса. — Новое спасительное средство!

Едва узнали об этом средстве в Петербурге, встреपнулись все родные, друзья, знакомые и сотрудники Суворина.



Сейчас же приехал в Москву М. О. Меншиков, посетил фон Штейна и его ушную клинику, затем — институт раковых опухолей, где директором, проф. В. М. Зыковым, также применялся способ лечения больных пиралоксином. М. О. Меншиков сильно был увлечен новой методой лечения. Отправив во Франкфурт-на-Майне письмо к Алексею Сергеевичу, он напечатал в «Новом Времени» свой фельетон о пиралоксине и взбудоражил буквально всю Россию.

Печатал в «Новом Времени» и я свои беседы о новом средстве с проф. В. Ф. Снегиревым, с фон Штейном и с профессором Зыковым. Надежды почти у всех были радужные. Я и К. С. Тычинкин, также прибывший в Москву, обходили всех раковых больных клиники Базановой, и С. Ф. фон Штейн показывал нам несчастных, изуродованных ужасающими язвами. Все они лечились новым средством.

— Пиралоксин быстро заживляет язвы, — объяснил фон Штейн. — Получалось облегчение при формах поражения желудка. Будет ли рецидив — покажет время...

Клиника вскоре была переполнена больными раковыми опухолями. На квартире фон Штейна толпилась масса пациентов, приезжавших отовсюду. И все толковали одно и то же:

— Пиралоксин! Пиралоксин!

Это слово стало каким-то фетишем больных паломников. Ехали из далеких окраин, с Кавказа, из Сибири, и каждый больной твердил:

— Пиралоксин! Пиралоксин!

Ехал в Москву и наш бесценный больной, Алексей Сергеевич Суворин.

Ехал он и не он. То, что я встретил в Национальной гостинице, наполнило мою душу безысходной тоской и отчаянием. Суворина в Германии так оперировали, что впоследствии ужасались русские профессора. Но об этом я скажу несколько позже.

Суворин также прибыл для лечения пресловутым пиралоксином. Его осмотрели С. Ф. фон Штейн, профессора В. М. Зыков и Н. Ф. Голубов.

Несчастный страдалец явился в Россию с вырезанной частью гортани, исхудалый и ослабевший. *Он не мог говорить.*



Только хрипение вылетало из его уст, и если он хотел что-либо сообщить своему собеседнику, он брал карандаш и писал на бумаге...

А ему отвечали... словами.

Когда я посетил А. С. Суворина, у него находилась его сестра А. С. Суворина и г-жа Дестомб, ходившая за Сувориным во время болезни. Ужас, холодный ужас охватил меня. Я не мог отвести глаз от Алексея Сергеевича и не знал, он ли это передо мной... Я видел дряхлого, изможденного старца, а былой старик-богатырь исчез бесследно. Эти ввалившиеся щеки, потухшие глаза... Господи! Он умирает! — вот что огнем пробежало в моем уме.

А. С. Суворин сейчас же стал просить меня (запиской и с помощью г-жи Дестомб) побывать у фон Штейна и передать ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ Алексей Сергеевич.

Записка эта была не запечатана, да я ее сам и читал фон Штейну.

«Скажите, доктор, — спрашивал Алексей Сергеевич, — отчего я, до операции у Шписа, имея на гортани язву, все-таки не чувствовал, что я болен, меня существующая во мне болезнь решительно ничем *не беспокоила*? Теперь же, после операции, после удаления у меня части гортани, я *безусловно чувствую себя очень больным*».

Были и еще вопросы: о пище, о приеме пиралоксина, о болях в груди и т. д.

С. Ф. фон Штейн, выслушав записку Суворина, сказал мне:

— Естественно, что после операции Алексей Сергеевич чувствует себя плохо. Сама операция, далекий путь, волнения... все это сказалось, конечно! Завтра я у него буду и все ему растолкую.

Исполнив поручение А. С. Суворина (последнее его поручение мне!), я уехал домой. Для меня скорая кончина Алексея Сергеевича казалась неизбежной. Я помнил отчасти оговорки профессора В. Ф. Снегирева, Н. Ф. Голубова и др. Этот пиралоксин им не внушал большого доверия: они боялись рецидива болезни.



— Время нужно, чтобы проверить его действие! — говорили они. — Средство это не новое, идет из Германии. Там препараты из пиррогальной кислоты также испытывали, но что-то о хороших результатах не слышно...

На другой день ко мне приехал Б. А. Суворин, прося указать какого-нибудь профессора по внутренним болезням, который мог бы поглядеть его отца. Я указал на Н. Ф. Голубова, и он был приглашен.

Таким образом, Алексея Сергеевича в Москве осматривали, кроме лечившего пиралоксином С. Ф. фон Штейна, В. М. Зыков, профессор хирургии, и Н. Ф. Голубов, профессор нашей университетской терапевтической клиники.

Н. Ф. Голубов поделился со мною впечатлениями, вынесенными после осмотра Суворина.

— Я давно знаю и пользовал Алексея Сергеевича не раз, — сказал он. — Лечил я его с покойным Г. А. Захарьиним, лет семнадцать тому назад. Тогда Суворин был превосходно сложенный, крепкий, мощный старик. Он не страдал ни переутомлением от работы, ни нервами. Ни в каком специальном лечении не нуждался. Мы, помнится, присоветовали ему поездку, и только. Путешествия, по-моему, всегда прекрасно действуют на здоровых и даже больных людей. Теперь при осмотре Алексея Сергеевича в Национальной гостинице я, разумеется, касался общего его состояния, а сфера рака — не моя специальность. Я нашел, что *все органы Суворина были в полном порядке*. Жаль было глядеть, что такой крепыш, могущий прожить еще ряд лет, поражен тяжелой болезнью. Сердце для восьмидесятилетнего старика изумительно крепко. Так я и ему, больному, сказал: говорю, у вас все прекрасно сохранилось! Желудок, почки, сердце в отличном состоянии.

Когда профессор Голубов, беседуя и утешая Суворина своим добрым голосом, кончил осмотр, Алексей Сергеевич схватил клочок бумаги и, быстро написав, подал профессору.

Там стояло:

«Хотелось бы еще пожить и поработать!!»

Поймите глубину этой фразы, читатель! Обессиленный тяжкими, мучительными операциями, больной, безголосый старик



выражает одно желание: пожить, чтоб *поработать*! Труженик, работавший всю свою честную, нравственную, разумную и воздержанную жизнь, не утратил своей энергии и работоспособности на краю могилы!

Н. Ф. Голубов добавил мне, что знаменитый профессор Г. А. Захарьин, впервые встретившись с Сувориным, остался в восторге от его ума, оригинальности и доброты.

Профессор В. М. Зыков поведал мне нечто такое, чего пока у нас не знает никто.

— Когда меня позвали к Алексею Сергеевичу, — говорил он, — я пробовал прежде всего осмотреть его гортань. Меня интересовало, какую операцию произвел франкфуртский немец-профессор. Ведь он, как мне говорили, вырывал эти «жемчужины» рака по нескольку раз. И вот когда я заглянул в горло к больному, я был поражен и прямо взволнован. Операция хвальной немецкой знаменитости была произведена *с такой невероятной грубостью и жестокостью*, что все оперированное место представляло собой *сплошную рану*. Поэтому мой медицинский осмотр являлся бесполезным. Пораженное, тяжко израненное горло А. С. Суворина было недоступно для исследования. Такая операция, повторяю, есть варварство, которого мы, русские хирурги, не знаем. Когда я увидел это, чувство негодования меня охватило при виде таких безобразных следов немецкой оперативной расправы над бедным Сувориным...

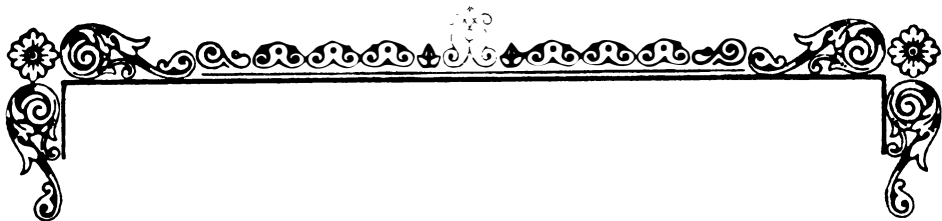
Я оканчиваю свои записки об А. С. Суворине. Читатель поймет, что я их вел нервно, заноса то, что диктовало взволнованное сердце. Конечно, многого я не договорил, и многое о Суворине осталось для меня неизвестным. Но как мир, вся вселенная есть лишь наше представление, то Суворин — это мир, который я представляю, беря материалом все, что знаю об этом замечательном человеке. А. С. Суворин рисуется мне как страсто-терпец постоянного труда, усиленной работы, осмысленного созидания. Большой, умный, добрый и прекрасный стоит он передо мной. Это для меня воин русской государственности, благородный националист, явный и неоспоримый прогрессист в деле



просвещения и славы родины, честный и мужественный патриот своего отечества, король русской журналистики, король от головы до ног!

Посвящаю эту статью моим товарищам по газете и всем, кто, вспоминая А. С. Суворина, отдает ему должное и, видя в его смерти огромную потерю для России, ощутит искреннюю и глубокую грусть...





Д. Н. ВЕРГУН

СУВОРИН И СЛАВЯНСТВО



Суворин — «Новое Время» — и славянство — понятия неразделимые. Историограф славянского движения и русской культуры не может не остановиться на имени А. С. Суворина как одного из апостолов славянской мысли в России. А. С. Суворина обычно принято считать одним из выдающихся русских самородков XIX века. Крупнейший русский публицист, незаурядный беллетрист, выдающийся драматург, создатель обширного издательства, основатель типографской школы и создатель художественных изданий в России, оборотистый книготорговец, распорядительный домовладелец, благотворительный помещик, — этот «российский человек» сумел сочетать в себе глубочайшие изгибы человеческой мысли и превратить ее в практические результаты.

Спрашивается — откуда явилось славянофильство у этого самородка?

Вергун Дмитрий Николаевич (187?-197?), доктор философии, публицист, сотрудник газеты «Новое Время», член славянских благотворительных обществ. Статья Д. Н. Вергуна «Суворин и славянство» публикуется впервые. Обнаружена и скопирована в Российском государственном архиве русской литературы и искусства (РГАЛИ) А. Ю. Минаковым. Подлинник статьи хранится в фонде А. С. Суворина (ф. 459, оп. 2, ед. хр. 1110, л. 1-4. Авторизованная машинопись. Датирована 1934 годом).



Ответ на этот вопрос получает сугубую значимость, особенно в настоящее время, когда Россия истекла жертвенной кровью в защите южных славян и освобождении славян западных, и когда некоторые славянские историки дерзают оспаривать наличие славянского единения в широких массах русского народа и, не без злорадства, отмечают отсутствие славянских увлечений в кругах русской интеллигенции.

А. С. Суворин не принадлежал к теоретикам славянофильского учения, как А. С. Хомяков, братья Аксаковы, братья Самарины, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов и другие. Он был скорее всего практическим славянофилом, а в своих писаниях популяризатором высоких идей тех русских мыслителей, которые думали веками вперед, предугадывали развитие столетий наперед, устанавливали место славянства во всемирной истории. Отсюда — его дружба с В. И. Ламанским, устроителем Всероссийской этнографической выставки и Всеславянского съезда в Москве в 1867 году. Тогда у него не было еще своей газеты, он был «Незнакомцем» в Коршевых «С.-Петербургских Ведомостях», но статьями своими о приезде чешских и южных славянских деятелей, Палацкого, Ригера, Браунера, Полита, Георгиевича, Цанкова и других, он сумел так заинтересовать русское общество, что живое «славянское дело» стало в России возможным.

Созданием же своего собственного органа, в Касьянов день 1876, он положил начало такой стремительной популярности славянской идеологии, что она в самом непродолжительном времени могла привести к жертвенному подвигу России для освобождения единоверных братьев на Балканах. К этому времени относится его дружба с генералом М. Г. Черняевым, его духовная близость с Ф. М. Достоевским, начало его полного жизненного успеха.

А. С. Суворин по своему рождению принадлежал к корневым слоям русского народа, будучи участником двух освободительных движений России: крестьянского 60-х годов и славянского 70-х годов, он выразил подлинную душу русского народа. Иначе и быть не могло: внук «крестьянского депутата» — мимолетной Екатерининской попытки русского парламентаризма, ее



знаменитого «Наказа», сын Бородинского героя, одного из тех сермяжных богатырей, с которых Л. Н. Толстой живописал своего незабвенного Платона Каратаева, А. С. Суворин мог по праву гордиться своим происхождением и видеть в своих действиях отражение заветных желаний сермяжной России.

Человек суровой воли, он, в оправдание своей фамилии, воспитал в себе в самых неблагоприятных условиях самообразованием тот величавый тип «российского человека», который отражал как все его достоинства, так и недостатки. Напряженная, сосредоточенная его душевная энергия поднялась до патристического воодушевления и в то время, когда дело шло к великой крестьянской реформе внутри России, и когда потребовался героический подвиг во внешней политике. В прямом совершении подвига он находил полное личное удовлетворение, не искал себе никогда никаких внешних наград и никакой шумной славы героя.

Когда началось добровольческое движение, вызванное генералами Черняевым и Фадеевым, он купил в одном магазине на Невском проспекте простой револьвер и с ним отправился на Балканы на поле сражения. Вместе со здравствующим еще позже в Праге Василием Ивановичем Немировичем-Данченком, он в утлой лодчонке рыбака переправился через Дунай, чтобы поскорее примкнуть к тем храбрецам, которых теснил своими полчищами грозный Керим-Паша. Его корреспонденции из Сербии, помещаемые в «Новом Времени», будоражили общественную совесть русских верхов. Поражение Черняева он переживал, как всенародное русское бедствие, и сумел своим словом вселить это чувство и в правящие круги России.

Грянула освободительная война, и Суворин стал публицистическим бардом, Тиртеем ее величавых и грозных перипетий. Отступление от Константинополя и Берлинский конгресс были для него такою же раной, как и для Ивана Сергеевича Аксакова. «Искалеченное» русское дело на Балканах он переживал с таким же трагизмом, как и граф Николай Павлович Игнатьев, с которым его связывало родство душ и которому он взялся искренно помогать при сорванной попытке созыва всероссийского земского собора в Москве.



В царствование Александра III А. С. Суворин в своих знаменитых «Маленьких письмах» стойко защищал великие интересы своей родины. Это было время размаха его практической деятельности на всех поприщах. Свою верность славянской идеологии он сохранил и тогда, когда широкие слои русского общества, под впечатлением «Кобургиады» и «Милановщины», отвернулись от славянского дела. А. С. Суворин разделял вполне мысли Ф. М. Достоевского, изложенные им в «особом словце о славянах», об их неблагодарности и преходящих братских недоразумениях. «НВ» всегда брало под защиту тех славянских политиков, которые испытывали на своей родине гонения — вследствие верности славянским убеждениям.

И в новое царствование Николая II, когда началось шатание оси внешней русской политики с Востока Дальнего на Восток Ближний, А. С. Суворин непоколебимо стоял за завершение славянских задач России в Европе. Он расширил диапазон своих славянских чувств и к защите интересов славян единоверных-православных он присоединил и защиту славян западных, единокровных. Естественно, что когда в Австро-Венгрии в начале XX века началось движение так называемого «неославизма», он сразу же оказал ему свое публицистическое покровительство. Со свойственным ему умением подходить к каждому явлению не с личной, а с общественной стороны, он пригласил редактора венского «Славянского Века», где зародилось это неославянское движение — в Петроград, и дал ему возможность участвовать в оживлении славянского дела в России накануне Великой войны.

Возможность приезда австро-славянских депутатов в Петроград в 1908 году, устройство неославянских съездов обязаны влиянию «Нового Времени» на русское общественное мнение.

При отрицательном отношении других русских органов печати, усмотревших в оживлении славянского дела «отвлекающий пластырь» от внутренних недугов России, курс, взятый «Новым Временем», оказался наиболее соответствующим великодержавным интересам России.

А. С. Суворину пришлось в продолжение своей публицистической деятельности перенести немало ударов от власть имущих, но он проявлял удивительные способности надежного корм-



чего при обходе опасных подводных камней и умел достигать своей цели. Он умер почти накануне Великого подъема балканских славян в 1912 году, к изгнанию турецкого владычества из Европы. Созданный им орган печати оставался до конца верным славянским заветам своего незабвенного основателя, и если в настоящее время свершился новый этап в руководимом Премудрым промыслом славянском строительстве, и южные славяне, а также и славяне западные пользуются государственной независимостью, то в их нынешнем благополучии заложена значит и частица его отзывчивой души. А. С. Суворин всегда исповедовал тезис великого славяноведа В. И. Ламанского «славяне без России и Россия без славян существовать не могут». Обе части органически и взаимно дополняют друг друга. Поэтому и крушение России в героическом порыве к осуществлению славянского идеала нужно признать явлением преходящим и только лишь ее временным испытанием.

Вот на какие мысли наводит юбилей столетней годовщины рождения А. С. Суворина. Покойный любил твердить, что каждый юбилей есть своего рода «мавзолей». Трагизм судьбы А. С. Суворина заключается в том, что и при желании негде ему поставить этот мавзолей. Одно место — это сердца верных последователей его проповеди несокрушимой славянской идеи. Будем же утешаться словами славянофильского поэта А. С. Хомякова:

Испытаний время строго
Тот, кто пал, восстанет вновь,
Много милостей у Бога,
Без границ Его любовь!



МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ

ВETERАН РУССКОЙ ПЕЧАТИ

 б А. С. Суворине наша пресса заговорила одновременно с появлением первых номеров «НВ» и военных действий на Балканах. Я тогда был мальчиком лет тринадцати и зорко следил за тем, как в названной газете постепенно росло и крепло патриотическое направление. Я сказал - постепенно, потому что патриотизм был тогда в таком загоне у читающей публики, что даже «НВ» должно было предварительно набраться храбрости, чтобы стать на сторону патриотической печати, в чем оно подвизалось с мудрой осторожностью и, быть может, несмотря на последнюю, подверглось бы жестокому гонению со стороны либеральных западников, подвергавших систематическому гонению всякую патриотическую мысль, всякое проявление патриотического чувства.

Пожалуй, не сразу определилось со всею ясностью направление «НВ». Может быть, мне изменяет память, но она свиде-

Антоний, в миру Алексей Павлович Храповицкий (1863-1936), основатель зарубежной Русской Православной Церкви. Статья митрополита Антония «Ветеран русской печати» публикуется впервые. Обнаружена и скопирована в РГАЛИ А. Ю. Минаковым. Рукописный подлинник статьи, датированный 1934 годом, хранится в фонде А. С. Суворина (ф. 459, оп. 2, ед. хр. 1109). Электронная версия: *Commentarii de historiae*. «Исторические записки». <http://www.mail.vsu.ru/~CdH/Articles/01-05a.htm>.



тельствует теперь о том, что во всяком случае не с первого номера названной газеты засветила патриотическая заря для русской публики и, в частности, для Алексея Сергеевича.

Впрочем, конечно, претендовать на такую осторожность и постепенность было бы неблагоразумно, и если грибоедовский Молчалин говорил: «В мои года не должно сметь свое суждение иметь», то так называемое общественное мнение сразу же стало охранять нашу прессу от увлечения патриотизмом, но ему на помощь пошла наша общественность, предложив публике несколько литературных вечеров в защиту славян.

Это было тогда, когда общество не на поводу прессы, а взявшее у последней повода, само повело их и притом не непосредственно, а через модный тогда панславизм, по направлению к славянофильству, невзирая на насмешки досужих писателей левого направления, которые издевались даже над словом «славяне», «славянофильство» и не прочь были тут подсовывать разные неискренние и нечестные намеки на то, что это направление тайне революционное.

Если бы таковым представлять какое-либо западническое течение, то это было бы на руку предтечам революции, но если популяризировано направление патриотическое, то публицистика того времени находила минус для предлагаемой идеи.

Однако самая жизнь блестяще опровергла западническое конституционное направление и награждала нескончаемыми аплодисментами ораторов-славянофилов, начиная с тогда малоизвестного профессора Духовной Академии М. О. Кояловича, а «НВ» уже почувствовало тогда надежную почву для определенного продолжения своей публицистической литературной деятельности, и никого не удивило то восторженное состояние публики, когда она, выслушав надгробную речь И. С. Аксакова перед панихидой о недавно убиенном государе Александре II, долго не могла успокоиться и прекратить аплодисменты, сменившиеся глубоко прочувствованным словом высокоинтеллигентного протоиерея М. К. Яхонтова, тоже весьма глубоко взволновавшего многочисленных слушателей на том же собрании.

Но гадкая революция продолжала свое разлагающее души влияние и вот уже в начале 90-х годов надгробное слово попу-

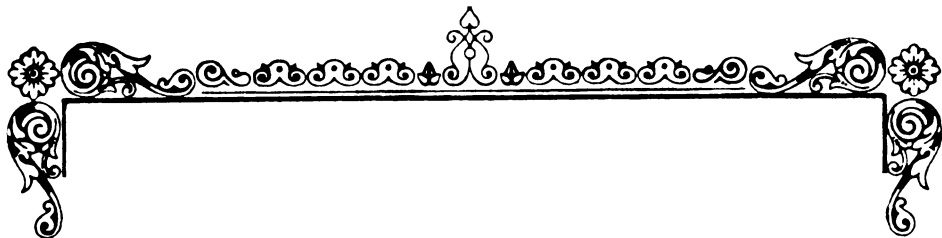


лярнейшего профессора Ключевского о государе Александре III (в Москве), хотя вызвало тоже дружеские аплодисменты, но не обошлось без шикания распропагандированных профессорами студентов.

Так угасал русский патриотизм и его представители на профессорских кафедрах в русских столицах.

Впрочем, вместе с тем продолжал возрастать и русский народный патриотизм, выражавшийся в том бурном восторге, с которым общество в 1881 году, вскоре после кончины государя Александра III, приветствовало своего любимого оратора патриота И. С. Аксакова, а газета «Новое Время» уже тогда была признана всеми за центральный орган русского патриотизма, которого уже давно перестали стыдиться, как и издание «Нового Времени», освобожденного публикой от насмешливых прозвищ и признанного на долгое время русским патриотическим знаменем.





А. В. АМФИТЕАТРОВ

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА

(2. VI. 1904 — 2. VI. 1914)



Антон Чехов и А. С. Суворин

Ответные мысли

В течение 1913 года я получал очень много писем, предлагавших мне высказаться печатно о взаимных отношениях А. С. Суворина с А. П. Чеховым. В последнее время количество таких писем значительно увеличилось. Тон некоторых из них звучит уже не предложением, а требованием, а в двух я прочел дословно, что будет нехорошо, если я не напишу о Чехове и Суворине.

Берусь за эту задачу с величайшею неохотою. Вопрос об отношениях таких больших людей, как А. С. Суворин и А. П. Чехов, и их взаимовлиянии есть вопрос исторический. А исторические вопросы должны исторически же решаться. А для исторического разрешения этого исторического вопроса мы, современники обоих писателей, имеем еще слишком мало фактиче-

Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), писатель, журналист. Статья А. В. Амфитеатрова «Десятилетняя годовщина (2. VI. 1904 - 2. VI. 1914)» публикуется по тексту: Амфитеатров А. В. Собрание сочинений. Т. 35, «Свет и сила. Статьи и заметки», Петроград, 1915, с. 191-219.



ских данных, критически проверенного материала, потому решительно все, что сейчас пишется о Суворине и Чехове, не выходит за пределы априорного импрессионизма. И естественное дело: там, где еще не произведен строгий, опытный анализ, можно ли ждать дельного синтеза?

Я, равным образом, не обещаю к освещению этих отношений ничего, кроме личных впечатлений, которые, быть может, имеют перед некоторыми другими лишь два преимущества. Являются: 1) впечатлениями человека, знавшего и любившего обоих писателей; 2) впечатлениями, потерявшими всякую страстность и личный интерес, за давностью, отделившую меня от обоих писателей. С А. С. Сувориным я расстался 15 лет назад. За этот промежуток виделся с ним только однажды, в 1904 году — свиданием, очень любопытным и важным для личной характеристики А. С., но не имевшим никакого отношения к его общественной роли. Я не считаю себя вправе оглашать этот ночной разговор. Скажу лишь кратко, что весь он был посвящен семейному делу, волновавшему тогда А. С. Суворина: раздорам между ним и старшим его сыном Алексеем Алексеевичем, основателем «Руси». Нахожу должным прибавить, что в разговоре этом Алексеем Сергеевичем не было сказано ничего, что могло бы бросить дурную тень на Алексея Алексеевича и дурно характеризовать самого старика.

Итак, А. С. Суворин для меня — воспоминание пятнадцатилетней давности. Чехов уже десять лет лежит в гробу, и после 1898 года я, кажется, уже его не встречал, хотя именно в этот период между нами окрепли очень хорошие отношения по письмам. О Чехове я так много писал, что мне нечего распространяться о том, как глубоко я люблю и уважаю этого великого и мудрого писателя. Для меня Чехов — самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову, любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым, и, *для нашего поколения*, во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому, как человек, знавший Чехова, то вблизи, то издали, почти четверть века, — что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечно-



стью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах. Потому что при жизни истинный Чехов был спрятан от громадного большинства своих поклонников (не говорю уже о врагах!) за тою, знающею себе цену, скромностью мудрого наблюдателя-молчалиника, которая создавала ему среди близких людей репутацию человека замкнутого, скрытного, гордого, даже сухого. Заглянув в нее, и не заметишь, как напишешь целую статью. А я уже достаточно рассказывал о том в своих «Славных мертвецах».

Вот почему мне всегда почти оскорбительно читать те статьи, те *vies imaginaires*, которых неловкое доброжелательство (опять-таки, не говорю уже о явном или скрытом зложелательстве) старается раздробить поразительную цельность личности Чехова искусственным делением его биографии на три периода, будто бы резко различные между собою: Антоша Чехонте, суворинский Чехов, Чехов либеральных дружб и московского Художественного театра. Неправда это. Не было трех Чеховых. Был он один, всегда все тот же, цельный, прямой, ясный, с первых резвых рассказов в «Будильнике» и «Осколках» до стука лопахинского топора в «Вишневом саде»... Ах, уничтожая сад дворян Гаевых, вырубил в нем роковой топор и семь досок на гроб Антону Павловичу! Сегодня его венчали лаврами, три месяца спустя лаврами забрасывали уже его могилу.

Непрерывную логичность, стройную последовательность, глубокую внутреннюю связь всей мысли и всей жизни Антона Чехова я готов отстаивать с полным собранием его сочинений в руках. Думаю, что печатаемое ныне, том за томом, собрание его писем, которого я еще не видел, дало бы мне только новый богатый материал к этому доказательству. А думать так позволяют мне прежние сборники чеховских писем, изученные мною недурно. И вот, повторяю, потому-то особенно неприятно, даже до противности, бывает, когда этого, кругом самостоятельного, сплошь естественного, последовательного, логического и с большою волею человека обращают, ни с того ни с сего, в какую-то пассивную куклу, которой поступки, мысли и писания зависели будто бы от того, с кем он в тот или другой «период» своей



жизни и творчества был знаком и близок. Чехов был человек, да еще и какой, а вовсе не кукла, которую сегодня играет Суворин, завтра — Гольцев, послезавтра — Художественный театр, и т. д. И в этом кукольном переряживании, которым так часто хотят облечь Чехова, кроме унижительной для последнего фальши есть и еще одна нехорошая черта. Человеком человека ударить мудрено — разве уж ты уродился Ильей Муромцем:

А и крепок татарин — не ломится,

А и жиловат, собака, — не изорвется!

Но куклою человека ударить очень легко и можно. И вот, как скоро Чехова обращают из человека в куклу, то и начинают — весьма неглиже с отвагой — им помахивать по тем физиономиям, в коих форма носов не по вкусу тому или иному пишущему имяреку. По-моему, и неумная, и ложная, и дурная это система. Так нельзя.

Фальшивость подобных опытов обнаруживается с особенною наглядностью, когда Чеховым стараются бить по Суворину. Большая ненависть к последнему наводит многих на тенденцию рассматривать «суворинский период» Чехова как темное пятно в жизни и творчестве Антона Павловича. Суворина при этом изображают каким-то демоном-отравителем, который губил и вовсе погубил бы чеховский талант, если бы его не спасла либеральная Москва.

Чехов очень хорошо сделал, что сошелся с либеральной Москвою. Да и не мог он с нею, в конце концов, не сойтись. Это сближение было совсем не случайным и внезапным, но естественным, логическим, неременным. Но я прямо и категорически утверждаю, что для того, чтобы либеральная Москва приняла Чехова в свои объятия, ему не пришлось ни на йоту изменить прежнему себе. Либеральная Москва приняла его совершенно тем же, каков он был у Суворина. И — в позднем покаянии, что в 80-х годах прозевала, в обычных предубеждениях, огромный талант — поклонилась она Чехову, а не Чехов ей.

Существовала в последние годы и еще существует тенденция умалять значение Суворина в жизни Чехова и развитии его таланта. Эта тенденция, питаемая чисто политическими мотивами, писателем-реалистом принята быть не может. Это — выду-



манное. Беспристрастный, объективный исследователь это отвергнет. Сквозь какую призму ни глядеть на роль Суворина в жизни Чехова — она прекрасна.

Совсем нет надобности ее преувеличивать, уверяя, будто Суворин *создал* Чехова. Это такая же неправда, как та, что Суворин Чехова погубил. Создавать Чеховых путем редакторского и издательского доброжелательства нельзя. Для того, чтобы вырос орел, нужен орленок, а раз есть орленок, то он и в индюшатнике вырастет в орла. Нет никакого сомнения, что и без Суворина Чехов вырос бы в громадную литературную величину. Но нет также никакого сомнения, что Суворин, быстро угадав в Чехове орленка, преклонился перед ним со всем восторгом, на какой только способен был этот литературный энтузиаст. И с того дня с дороги Чехова могучая и властная рука убирала едва ли не все колющие шипы, обычно ранящие ноги молодых писателей. И орленок рос по-орлиному, а не по-индюшечьи, в такой свободе и холе, как вряд ли удавалось кому-либо еще из сверстников Чехова... Не о материальных только условиях говорю, хотя и о них забывать не следует, а, прежде всего, именно о моральных. Когда спорят о том, кто «открыл» Чехова, и стараются перебить эту честь у Суворина именами Григоровича и Плещеева — мне смешно. Потому что уж если полную-то правду говорить, то никто из трех названных не открыл Чехова. Эта Америка была открыта много раньше. А. Д. Курепин, роль которого в начале чеховской карьеры еще слишком мало освещена и оценена, и Н. А. Лейкин, широчайше открывший ему свой журнал для практики маленького рассказа, в которой Антон Павлович выработал свою сжатую технику, сыграли, как литературные крестные отцы Чехова, роль, уж никак не меньшую, чем Григорович и Плещеев. В особенности преувеличивается роль Григоровича.

Дело совсем не в том, кто именно, ознакомившись с рассказами Антоши Чехонте, крикнул о нем в уши Суворину: «Талант!» Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин даже и от того же Григоровича, и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлю-



бил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости — шло бы, в полном смысле слова, своим путем. Влюбленный в Чехова, Суворин не требовал от Антона Павловича никаких компромиссов с «Новым Временем». Зато почти десять лет оберегал его дарование от компромиссов подчинения какому бы то ни было литературному лагерю — компромиссов, неизбежных для художественного таланта в тяжелых условиях восьмидесяти-девятидесятых годов и положивших свою печать на все без исключения тогда возникшие силы. Суворин бросил под ноги Чехову мостки, по которым молодой писатель перешел зыбкую трясину своих ученических лет, не нуждаясь для опоры ног ни в кочке справа, ни в кочке слева. И когда настало Антону Павловичу время выбрать свой общественно-литературный лагерь, он занял в этом лагере место, уже как сила авторитетная и власть имеющая, а не служкою на испытании. В печальных мытарствах подобных испытаний увяли дарования многих и многих, коих экзаменовали: «Какое веруеши?» — до тех пор, пока свежие таланты не отцвели без расцвета, до временно впад в «собачью старость». А когда вспомнишь, кто иногда эти экзамены производил, да потом вдруг видишь, что экзаменуемых-то скупали, и экзаменаторы-то потом преспокойно пошли, во благовремении, на службу в чиновники особых поручений при Тертии Филиппове, Победоносцеве и Плеве и в директора лицеев при Шварце и Кассо, то делается очень нехорошо на душе... Суворин спас Чехова и от опасности истрепаться в безразличной мелкой работе, и от насильственной дрессировки своего таланта по трафарету тогдашних передовых толстожурнальных программ, и от озлобления экзаменуемою диктатурою, создававшего нарочных реакционеров и притворных индифферентистов, которыми так богаты были именно девятидесятые годы. Он избавил его и от участи Потапенка — налево, и от участи Кигна — направо. Дал ему вырасти внепартийным и независимым.

Те, кто говорят, будто Чехов суворинского периода чем-то разнился от Чехова «Русской Мысли», забывают, что почти од-



новременно Чехов печатал у Суворина столь русскомысльскую (если возможно подобное слово) повесть, как «Дуэль», а в «Русской Мысли» столь нововременскую (конечно, не в нынешнем, а в тогдашнем смысле), до безжалостности скептическую в отношении к главному общественному идеалу той эпохи, как «Записки неизвестного человека». И кто же не помнит, какую бурю в народническом лагере отозвались «Мужики» Антона Чехова? И, обратно, кто же не помнит, с какою злостью огрызалось иной раз на Чехова «Новое Время», еще когда он печатался в газете? Нет, не было ни Чехова суворинского, ни Чехова либеральной Москвы, а был только Чехов сам по себе, перед которым Суворин благоговел с первого его серьезного выступления в литературе, а либеральная Москва пришла к тому же благоговению десять лет спустя, при условиях нисколько не изменившихся. И в той заслуге, что гений Чехова мог спокойно развиваться в такую победную самостоятельность, Суворину, конечно, принадлежит громадная часть, которая и останется незабвенной в истории русской литературы. И напрасно стараются ее умалить те, не столько критики, сколько политики, которым очень хотелось бы приобрести Чехова, но вычеркнуть из его жизни Суворина. Это все равно, что вычеркнуть из Чехова и «Сумерки», и «Хмурых людей», и «Дуэль», и «Иванова», не говоря уже об оставшемся позади Антоше Чехонте.

Не видав Алексея Сергеевича Суворина пятнадцать лет, не могу судить, каков он был в глубокой старости. Но, зная его с 1894 по 1899 год, я смею утверждать, что ни прежде, ни после не встречал редактора-издателя, который бы так уважал в сотруднике звание литератора, почтительно относился к его индивидуальности, берег каждое дарование, казавшееся ему симпатичным и кое-что обещающим. Вопрос даровитости для него решал все. Талант заслонял человека. Так, например, глубокий демократ по натуре, он недолюбливал в Сигме молодого бюрократа с аристократическими замашками, но признавал его талантливым, и это слово решало отношения. Я не застал в «Новом Времени» Жителя, но не только от других, а и от самого Алексея Сергеевича слышал неоднократно, что это был человек крайне тяжелый: болезненно подозрительный, мучительно ссорливый.



едва ли не одержимый каким-то психозом и иногда просто едва выносимый. Но Житель был талантлив и, стало быть, с Сувориным — квиты.

Из этих примеров суворинского культа талантливых людей ясно, что когда Суворину выпало на долю счастье встретить талант не в отрицательной форме какого-нибудь полубезумного Жителя, но свежим, чистым, благоуханным цветком незапятнанного чеховского дарования, старик должен был влюбиться в свою находку безгранично. Так оно и было. Недавно где-то в газете мелькнули мне слова о *разрыве* Чехова с Сувориным. Когда произошел этот разрыв, если был он вообще, — я не знаю. Во всяком случае, не в 90-х годах, так как в 1897 году Чехов, приезжая в Петроград, останавливался у Суворина не только в его доме, но даже в его квартире. Он был окружен в этот приезд таким благоговейным вниманием, что один старый литератор, несколько злоязычный, на вопрос мой, будет ли он на очередном суворинском четверге, презрительно ответил:

— Право, не знаю-с, меня Антон Павлович не приглашал.

Суворин не выносил, чтобы о Чехове говорили дурно. Он ревниво относился к критическим отзывам о Чехове, страдал, когда не нравилась какая-нибудь чеховская вещь. Скажу о себе самом. Я как-то долго не мог войти во вкус «Дуэли». И вот, однажды в Москве, в пору коронации 1896 года, мы двое, Алексей Сергеевич и я, оба влюбленные в Чехова, буквально переругались из-за «Дуэли». Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта ничего написать не может. Даже и сейчас смешно вспомнить, как мы, начав эту бурю в номере гостиницы «Дрезден», продолжали ее по лестнице, сели с нею на извозчика; к Триумфальным воротам оба истощили все свои слова, а затем уже ехали безмолвным двуглавым орлом, глядя в разные стороны до самой «Мавритании», и только за обедом, без слов, помирились. Ужасно я любил в таких случаях старика Суворина. Да и вообще я очень любил его и рад думать, что он, кажется, тоже питал ко мне хорошие чувства.

На почве того благоговения, которым в душе Суворина были окружены имя и образ Чехова, решительно не могли расти ка-



кие-либо погубительные для последнего отравы, о которых в последнее время пошли намеки и экивоки. Мне могут возразить, что ведь любовью можно заласкать и отравить хуже, чем злобою. Да, только не такой любовью, как была суворинская к Чехову, и не такого человека, как Чехов.

Вот теперь мы подходим к вопросу: влиял ли Суворин на Чехова?

Литературно влиял безусловно и не мог не влиять, как талантливый и широкообразованный старый писатель и одаренный превосходной справочною памятью, неутомимый разговорщик на литературные темы. Как тонкий ценитель художественного творчества, поразительно чуткий к образному слову. Как знаток русского языка и блестящий стилист. Это влияние я не только допускаю, но и знаю, что оно было. Чехов сам говорил мне, что двум воронежцам, Курепину и Суворину, он обязан окончательною очисткою своего языка от южных провинциализмов.

Что касается до влияния Суворина на общественные взгляды и вообще формировку мышления Антона Чехова — это влияние представляется мне не более вероятным, чем если бы кто сказал мне, что статуя была изваяна из мрамора восковой свечой. Очень широкое добродушие А. П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали, во многих воспоминаниях, образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, взглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще *влиять*, в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была



совпасть с настроением и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и... таинственно. Кому из работавших с Чеховым неизвестно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слышать от него произносимые среди разговора внезапные загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? — а Чехова вгоняли в краску и конфуз. Это — разрешалась вслух, в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских экспромтов, но особенно богаты ими воспоминания актеров московского Художественного театра. Типический аналитик-материалист, «сын Базарова», неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и приятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным переисследованием, а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного из них не решусь признать на то способным. То, что имело вид влияния, очень часто было просто своеобразным «непротивлением злу», то есть какому-нибудь дружескому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности. А иногда и по той, слегка презрительной, лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивой внешней дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес «папа» и «мама», до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое «ich sterbe».



Менее всего мог влиять на склад и направление мыслей Чехова А. С. Суворин. Если бы мне сказали наоборот: Чехов на Суворина, — я понял бы. Даже думаю, что это и бывало не раз. В «Маленьких письмах» Суворина, иногда так сверкающе великолепных, по всей вероятности, найдутся при тщательном их исследовании отблески чеховского света. Но чтобы Чехов подчинял свое общественное наблюдение и мысль суворинскому влиянию, я считаю столь же невероятным, как... Ну, я не знаю, кто сейчас в России самый знаменитый анатом! Павлов, что ли? Как вот ему — сочинить учебник анатомии под влиянием какого-нибудь блестящего художника-импрессиониста. Чехов как социальный мыслитель не мог быть под влиянием Суворина совсем не потому, чтобы между ним, врачом-восьмидесятником, слегка либеральным москвичом-скептиком эпохи, разочарованной и в революции, и в реакции, и в консерваторах, и в либералах, и А. С. Сувориным, главою тогдашнего «Нового Времени», с его политически приспособляющимся индифферентизмом, лежала в восьмидесятых и девяностых годах уж такая непроходимая пропасть. С Сувориным в то время отлично ладили люди гораздо более левые, чем Чехов. А с последним сблизиться ему было тем легче, что их роднил общий и совершенно однородный демократизм типических писателей-разночинцев. Я познакомился с Сувориным лет на семь позже, чем Чехов, уже близко к половине девяностых годов, когда газета его уже стремилась в правительственный фарватер и уже раздавался националистический девиз «Россия для русских», и вся сотруди́ческая молодежь в «Новом Времени», с А. А. Сувориным во главе, состояла из «государственников». Однако я живо помню, как иной раз — и далеко не редко — в старике, среди разговора, вспыхивал вдруг ярким огнем радикал-шестидесятник, и летели с его уст словечки и фразы не то что «либеральные», а, пожалуй, и анархические. Что он в душе был гораздо либеральнее многих молодых тогдашних «государственников», вышедших из развращающей школы гр. Д. А. Толстого — я несколько в том не сомневаюсь. Да и имел тому неоднократные доказательства. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался, старик осаживал: так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью...



А в действительности старик — вечная жертва внутреннего раздвоения — просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро не отвечает за литературный вечер.

— Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка. — сказал он мне однажды, — но когда-нибудь вы пожалеете, что ее напечатали.

А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы, и, когда я пришел «ругаться», Суворин возразил мне с большим чувством:

— Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломать себе шею.

И в обоих случаях он был прав. И наоборот, именно он отстоял мои «примирительные» корреспонденции из Польши в 1896 году, с которых начался мой первый разлад с «Новым Временем». Вообще, это оптический обман — сваливать на старика Суворина всю ответственность за реакционные струи в «Новом Времени» 90-х годов. Молодая редакция шла по пути государственно-охранительной идеи шагом и более последовательным в практике, и более повелительно сформулированным в теории, чем нововременцы-старики.

Шестидесятная закваска, быть может, назло им самим делала их скептиками в идеях, которыми самонадеянно дышало поколение, воспитанное реакционными 80-ми годами. То, что молодой редакции казалось непременною программю, скептикам-индифферентам старой представлялось не более как пробным опытом: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Это была и хорошая, и дурная сторона стариков. Хорошая потому, что препятствовала им доходить до абсурдов, до которых сгоряча, идя по прямой линии чисто умозрительной и при том априорной политики, договаривались сотрудники-восьмидесятники. Дурная потому, что поддерживала в них способность к импрессионистическим компромиссам, которые так удобно приспособляли каждую идею к обстоятельствам, что она не могла прийти ни до категорического торжества, ни до категорического крушения. Молодую редакцию «Нового Времени» государственниче-



ский культ привел, в порядке весьма быстрой эволюции, в идейный тупик, откуда не было никакого выхода. Здесь оставалось: либо признать разумность тупика и застрять в нем, последовательно принимая всю логику торжествующей реакции и участвуя в ней (Сигма, Энгельгардт), либо признать ошибочную уже исходную точку направления, которое тебя в этот тупик привело, и резко и решительно повернуть в сторону противоположную (Потапенко и я в 1899 году, А. А. Суворин с редакцией «Руси» в 1903). Старики, и во главе их сам А. С. Суворин, от подобных острых и тяжелых переломов были застрахованы именно своим скептическим импрессионизмом, поразительно отзывчивым и зыбким, и с широчайшей амплитудой. В ней преоригинально встречались и предобродушно уживались «увенчание здания» с анархизмом, религиозный идеализм с нигилизмом шестидесятых годов и воинствующий национализм с самым широким культурным космополитизмом. Трудно мне представить себе человека более русского, как в положительных, так и в отрицательных чертах характера, чем А. С. Суворин. А в то же время не много на своем веку встречал я и таких европейских людей, с его чисто западничеством самообразованием, с любовью к западной культуре, к западным народам, западному искусству, с энтузиазмом к Франции, Италии.

И вот, например, эта черта чрезвычайно связала его с Чеховым, которого мы еще в «Будильнике» дразнили «западником Чехонте». Потому что, при совершенной своей тогдашней невинности по части иностранных языков, он — также из русских русский человек, настолько русский, что иностранцы его очень туго понимают — он, в то же время, умудрялся уже смолodu быть, в самом деле, типическим, насквозь западником в каждом произнесенном слове, в каждой написанной строке.

— «Вуй!» — крикнул западник Чехонте», — трунил над ним Курепин, описывая юбилей «Будильника», и уверял, будто «вуй» — единственное французское слово, которое нашему западнику известно... Шутка была преувеличена, но, конечно, мы все, питомцы гимназии семидесятых годов, очень дурно знали языки. А последние шестидесятники, как Курепин, весьма нас тем «пиявили».



Престранное это дело на Руси. Почти все типические, убежденные, ярые, с пеною у рта, можно сказать, ее азиаты — люди, чуть не с колыбели блистательно владеющие тремя-четырьмя западными языками, получившие, в полном смысле слова, европейское воспитание и даже иногда до старости лет предпочитающие русской речи французскую или английскую, потому что на родном языке они изъясняются не только с меньшим красноречием, но иногда даже не весьма бойко и правильно. А европеец русский, тоже почти всегда, достиг до практического и непосредственного знакомства с людьми, литературою и культурою Европы — хорошо еще, если в поздней юности, а то и в весьма зрелые годы. И почти никогда не говорит сколько-нибудь хорошо ни на одном языке, кроме родного. Кажется, этот контраст свойственен исключительно русскому обществу. По крайней мере, я не встречал его в других народах настолько типически выраженным на обе стороны. В таких, например, полярных представителях, как образованнейший, утонченнейший, начитаннейший барин-парижанин К. А. Скальковский — однако кругом азиат; и разночинец, в 26 лет принявшийся самообразованием чинить прорехи казенной школы и профессиональных университетских лет, далеко не блестяще воспитанный, совсем уж не утонченный и не так много читавший Антон Чехов — однако кругом европеец!..

Помню один разговор свой с А. С. Сувориным, когда он, недовольный моим упрямством по некоторому чисто частному вопросу, преподнес мне:

— Вы самодур, как все русские.

— Да уж будто все русские самодуры? — засмеялся я на его, столь типичную для него, гиперболу.

— Все! — закричал он, — все!.. Мы, от Петра Великого до последнего нищего не улице, все, все, все — самодуры, собственно говоря. И, пожалуйста, ангел мой, вы о себе иного не воображайте: и вы самодур, и я самодур, и Леля (А. А. Суворин) самодур... все!

— А Антон Павлович, — возразил я, подставляя старику излюбленный пробный камень, — тоже самодур?

Веселое лицо Суворина приняло выражение благоговейной нежности, которую имя Чехова всегда навевало на его черты,



так напоминавшие умного удачника-бурмистра в большом и богатом барском владении. Помолчав, он произнес с удивительною теплотою, вдумчиво, убедительно, проникновенно:

— Антон Павлович? Нет, вот Антон Павлович не самодур. Он не только понимает — он знает линию жизни... Мы вот с вами понимаем, что дважды два — четыре, а все-таки нам хочется, чтобы было пять. И мы не утерпим: как-нибудь да попробуем, нельзя ли, чтобы вышло по-нашему — не четыре, а пять... А Антон Павлович и понимает, и знает. Поэтому он энергии своей на напрасную пробу не израсходует... нет!.. Зато, если мы с вами возьмемся доказывать, что дважды два — четыре, то истратим много слов, а все-таки не докажем так убедительно, как он одним словом...

И, радостно глядя на меня поверх очков, седой человек договорил в совершенном восторге:

— Узкий он человек, Антон Павлович, собственно говоря... чрезвычайно узкий человек!

Таким тоном договорил он и с таким хорошим лицом и взглядом, что любо и весело было смотреть на него, и почти завидно на молодую способность старика так страстно и сильно обожать любимый талант и, в восторге к этому мнимо «узкому» человеку, даже заочно греть его своей шуткой.

В присутствии Чехова для Суворина не существовало никого другого. Общеизвестна слабость А. С. к именитому обществу. Наедет к нему всякая превосходительная и сиятельная, мундирная и звездоносная знать. А он между именитыми посетителями бродит по кабинету подчеркнутым таким демократом, в пиджаке и с сигарою в зубах, и чрезвычайно доволен... веселый... лукавый... старый... Но присутствие Чехова для него заслоняло упоение и этим покоренным мирком. Смотря на Чехова как на живой кумир, он даже ревниво и подозрительно относился к тем, кто в это время между ними становился, вмешиваясь в их разговор. Словом, любовь была настолько страстная и выражалась настолько ревниво, что Чехов иногда даже отчасти тяготился ее преувеличенным вниманием... Однажды, именно в 1897 году, в Петрограде, мы втроем — Антон Павлович, Вас. Ив. Немирович-Данченко и я — уговорились провести вечер вместе, поболтать о



Москве и прошлых временах. Уже приехав в ресторан Лейнера, где мы должны были встретиться, я вспомнил, что ведь сегодня четверг и Чехов вряд ли может быть, так как это — суворинский день. Однако он не только пришел, но и, когда я выразил ему сожаление, что мы ошиблись в назначении дня, он возразил, что, напротив, — очень рад. И объяснил именно ту причину, о которой я только что говорил: стесняла его людность суворинских четвергов, влюбленное внимание хозяина и, отсюда, тайное недовольство и даже враждебность иных гостей, что такой тонкий наблюдатель, как Антон Павлович, конечно, не мог не заметить.

— Я люблю с Алексеем Сергеевичем вдвоем походить ночью по кабинету... — сказал он, между прочим. — Вы любите?

— Очень, когда он в духе.

Антон Павлович посмотрел на меня с удивлением и возразил:

— Слушайте же: он всегда в духе...

Я мог бы ему ответить:

— Когда вас видит...

Но Антон Павлович продолжал, развивая мысль, с которой я не мог не согласиться, что о Суворине совершенно нельзя сказать, как об иных людях, что тогда-то он в духе, тогда-то не в духе... Настроение зависит не от него, а от человека, с которым он беседует. Он может быть совершенно убит, подавлен каким-нибудь впечатлением, но если вы подбросите ему в разговор живую, интересующую его тему — он сейчас же и сам не заметит, как вцепится в нее своей необычайно быстро хватающей мыслью, и весь от нее загорится, и хмурая туча с него сойдет, как бы ни важны были ее причины... «Разговорить» Суворина можно было когда угодно и от какого угодно настроения, и многие этим артистически пользовались.

Вот в этом была между ними глубокая разница. «Разговорить» Чехова было нельзя, и когда он, веселый Антоша Чехонте, задумался, то уже на всю жизнь и до самого Баденвейлера так никто его и не «разговорил».

Суворин частную свою жизнь прожил далеко не счастливым. В прошлом его остались жестокие и тяжкие трагедии. Но у него был «счастливый характер», тот великорусский упругий и



скользкий характер, который, по-моему, лучше всего выразил Щедрин в своем всевыносящем портном Гришке:

— Я, ваше высокородие, человек легкий...

Поэтому пережитые трагедии не отняли от Суворина ни бодрости, ни живучести, ни радостного отношения к жизни. Способность наслаждаться сладкою привычкою к жизни, говорят, не изменила ему до самого последнего конца, хотя два года он был лишен самого любимого своего дела: говорить. В этом он, по-моему, был очень схож с человеком, которого он не любил, который его не любил, а все-таки между ними было много общего: с В. В. Стасовым. В жизни А. П. Чехова, бедной «внешними фактами», никаких трагедий не было. За исключением дурного здоровья, он был, можно сказать, счастливый человек. Но вот его-то характер был уж совсем не «счастливый». В противоположность Суворину, он ужасно глубоко зачерпывал жизнь даже в самых незначительных ее мелочах. Совсем не заботясь о том, совсем произвольно. Уж как он смолodu был весел, а смех его и тогда уже сам собою разрешался в трагедию. Либо вдруг раз-вертывал из-под своих, как будто поверхностных, резвых форм картину такой пошлости, что вдруг становилось гадко, жутко, грустно и «за человека страшно»... Вспомните моряка в его «Свадьбе». Вспомните парикмахера, который не в состоянии достричь дядю изменившей ему невесты... Черпал страшно глубоко, и каждая зачерпнутая капля всасывалась в него долго не проходящим неизгладимым впечатлением. И нараставшая сумма неизгладимостей, день за днем, сгущала то единство грустно-скептического настроения, которым так выразительно отмечены и последние сочинения Антона Павловича, и вообще весь он на переходе от XIX века к XX...

Чехов не был слеп в отношении Суворина. Он видел старика насквозь и не скрывал этого ни от других, ни от него. И любил его такого, как видел, отнюдь не прикрашивая и не идеализируя.

— Суворин вас любит, — сказал он мне в 1895 году. — Это хорошо. Слушайте же, он не худой старик.

Суворин видел Чехова лишь настолько, насколько тот позволял проникать в себя. Вообще-то этот разрешенный слой вряд



ли был глубок. Чехов был не из тех, кто любит конфиденции. Но иногда он внезапно отворял храм души своей — именно перед Сувориным. О двух таких случаях я знаю непосредственно от Алексея Сергеевича. Он, со слезами на глазах, рассказывал, что, как ни высоко ценил он и ставил Антона Павловича, но только вот в подобных двух беседах — однажды в Петрограде и однажды в Венеции — понял он во весь рост все величие и всю трагическую глубину этого удивительного человека...

Оставим Чехову чеховское, а Суворину — суворинское и не будем несправедливы ни к тому, ни к другому. Ни Суворин не был бесом-соблазнителем, ни Чехов — наивно соблазненным ангелом. Оба они и лучше, и хуже сложившихся их репутаций, в которые и справа, и слева всякий охочий доброволец валит столько субъективной мифологии, сколько подскажет фантазия.

Суворин хотел добра Чехову и много сделал ему добра. Это — факт. Что же касается отрицательных черт, которые иные, с большими натяжками, неведь зачем, изыскивают в Чехове, стремясь обобщить их как результат «суворинского влияния», то, повторяю, все это — неудачные опыты политической полемики, а не литературного и идейного исследования.

Когда я мысленно проверяю далеко позади оставшиеся образы двух писателей, которым посвящена эта статья, странное и неожиданное получается противоположение. В каких бы моментах ни вспоминался мне Суворин — этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы, зубы съевший на житейской практике, неугомонный создатель громадных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты, и проч., и проч., — тем не менее он представляется мне, в конце концов, — и прежде всего, и после всего, — типическим русским мечтателем. Даже, пожалуй, прямо-таки Альнаскар. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло необыкновенное счастье не только строить воздушные замки, очередные планы которых влияли в его капризную, ищущую, беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял.



И в этом-то было его смутное, беспокойное горе, и этим обуславливалось его неустойчивое метание от факта к факту, от взгляда к взгляду, от человека к человеку. Это был человек, сотканный из мечты — искатель мечтою.

Совсем иное Чехов. Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он, великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила, наконец, его многодумье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы, их же не преjdeши. Суворин хотел многого, но, по существу, не знал, чего он истинно хочет. Когда это желанное истинное вдруг, бывало, ненароком взглянет ему в глаза: вот оно я! — он не верил или полувверил. А то просто пугался и притворялся, будто не верит. Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает, чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его, как новый препарат, в коллекцию своей атомистической лаборатории, впредь до теоретического обобщения. Отсюда — чеховская *бесстрашная грусть*: основная черта его творчества. Оба они были поразительно способны к наблюдению, но и наблюдение их было столько же различно, как характеры. В Суворине неугомонно билась жилка старого отметчика, охотника за явлением, каждый раз хватавшего факт как нечто новое, и часто встречающего его по-новому, совершенно вразрез впечатлению прежней с ним встречи. Он — наблюдатель-субъективист и импрессионист. Чехов — один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдатель-объективист — шел через факт к закону жизни. Он — великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней, — и смею даже утверждать, — до ступеней, трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об «Экклезиасте». Суво-



рин, умерший на восьмом десятке лет, если бы он прожил еще столько же, все-таки дня не вынес бы без того, чтобы не занести на бумагу хоть несколько строчек непосредственных впечатлений жизни и не вести о них страстного разговора. Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать. И уж, конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в лебединой песне Чехова — «Вишневом саде», а потому, что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последняя осенила Чехова таким мудрым и глубоким провидением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому творцу как подразумеваемые сами собой. К этому периоду жизни Чехова относится его трагическая шутка о повести, из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку.

«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны».

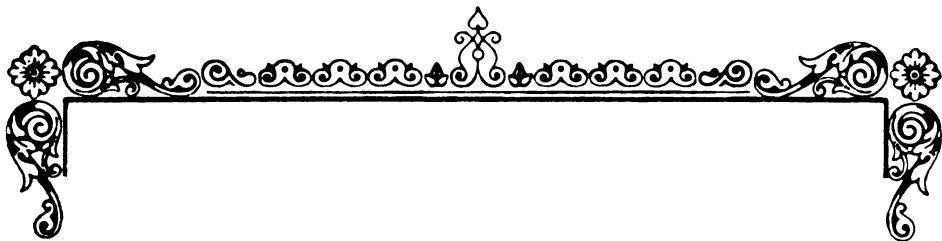
Если принять знаменитое Павлово деление рода человеческого, как познавательной жизни, на два разряда: иудеев, которые чуда ищут, и эллинов, которые ищут мудрости, то Суворин и Чехов распределяются по этим полюсам совершенно твердо. Суворин, с его пылкой жадностью к новому явлению, новому факту, новому лицу, новой книге, весь пламеневший любопытством и смутными, редко самому ему внятыми в полной мере ожиданиями, должен быть поставлен, конечно, на первый полюс. Хотя он и не весьма любил евреев (однако совсем не так сердито и убежденно, как повествуют враждебные легенды), но психический импрессионизм сближал его с мечтателями, по Павлу, иудейской категории: ищущими в жизни чуда, которое вот придет откуда-то извне и осветит жизнь. Чехов — весь на эллинском полюсе. Он знает, что чудес нет и не бывает, что о небе в алмазах могут мечтать Соня, Вершинин, Аня с Трофимовым, но не он, ищущий мудрости и находящий ее в ежеминутных печальных откровениях жизни о железнозаконном ее единообразии...

Суворин, хотя и воспитанник материалистов, шестидесятник, таил где-то на дне души мистическую жажду идеалисти-



ческих и религиозных позывов, которых даже конфузился, когда они прорывались заметно для других. Он любил Достоевского и был, по существу, достоевец. Отсюда и его редкостная сентиментальность, с нервической готовностью расплакаться, как дитя, от разговора, от зрелища, от чтения, от сильной эмоции восторга, жалости или негодования. Чехов, который, как никто другой в русской литературе, и знал, и умел выражать, что человек человеком начинается и кончается, что человек — весь в себе и «*du bist doch immer, was du bist*», является самым чистым и безуклонным русским реалистом. Сентиментальности в нем не было ни капли, и уж вот-то именно — «суровый славянин, он слез не проливал». Он — антидостоевец. Как тип мыслителя-интеллигента, он тесно примыкает к Базарову. Как бытописатель — к Салтыкову. Как психолог и художник — к Мопассану, закончив и увенчав этим западным поворотом гоголевский период нашей литературы. Суворин — огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и «человек волны». Прежде всего — эхо. Чехов — великое знание, воля, система и сила. Прежде всего — голос.





Е. П. КАРПОВ

А. С. СУВОРИН И ОСНОВАНИЕ ТЕАТРА ЛИТЕРАТУРНО- АРТИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА

Странички из воспоминаний «Минувшее»

I

Пьеса «Ганнеле» в Панаевском театре. — А. С. Суворин и его участие в постановке пьесы. — П. П. Гнедич и П. Д. Ленский — Актриска Озерова. — Слухи об основании театра кружка и о приглашении режиссером Фадеева. — Визит ко мне П. П. Гнедича. — Первое знакомство с А. С. Сувориным. — Мой проект контракта с дирекцией. — Нежелание А. С. Суворина подписать условие — А. П. Коломнин. — Заседание дирекции у А. С. Суворина.

Весной 1895 года молодой, недавно основанный литературно-артистический кружок задумал поставить на сцене переведенную В. П. Бурениным пьесу Герберта Гауптмана — «Ганнеле».

Кому принадлежала инициатива постановки, я не знаю.

Председателем кружка был в это время, если не ошибаюсь, П. П. Гнедич. Членами дирекции — А. С. Суворин,

Карпов Евтихий Павлович (1857-1926), театральный деятель и драматург, в 1896-1926 годах режиссер и главный режиссер Александринского театра. Статья Е. П. Карпова «А. С. Суворин и основание театра литературно-артистического кружка. Странички из воспоминаний «Минувшее» перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1914, № 8, с. 449-470, № 9, с. 873-902).



А. Н. Бежецкий (Маслов), А. П. Коломнин, А. Р. Кугель, Н. О. Холева и П. Д. Ленский.

Арендовав на несколько спектаклей Панаевский театр, кружок пригласил режиссером для постановки пьесы артиста Александринского театра П. Д. Ленского. П. П. Гнедичу была поручена художественная, монтировочная часть спектакля. П. Д. Ленский, опытный актер, собрал труппу из второстепенных артистов императорских театров и безработных актеров петербургских клубных сцен, пригласив их играть на разовых.

Начались репетиции.

Благодаря заметкам в газетах, слухам в театральных кружках и в обществе о запрещении цензурой «Ганнеле», постановка пьесы тогда еще малоизвестного в России Гауптмана возбудила большой интерес.

В театральном мире раньше, чем «Ганнеле» увидела свет рампы, уже жестоко критиковали пьесу, находя ее несценичной, мрачной, тяжелой, плохо построенной, вне правил архитектоники, неинтересной по сюжету.

Актеры острили, что появилось новое амплуа — «девочки», что «литераторы променяли журналистику на режиссерство», что они сбивают с толку участвующих в пьесе актеров, уча их, как надо играть и читать стихи... Рассказывали курьезы, происходившие как будто на репетициях, подсмеивались над актрисами, занятыми в пьесе, которые с восторгом отзывались о «Ганнеле» и о большом таланте Гауптмана.

Вокруг пьесы создавался шум.

Первое представление ожидалось с большим любопытством и нетерпением.

Встретив как-то Павла Дмитриевича за кулисами Александринского театра, я спросил его о «Ганнеле».

— Талантливо написано, но это не пьеса... Картинки из детской жизни... — ответил мне Ленский.

— А как идут репетиции?

— Ничего... идут себе... Трудно сладить пьесу... Актеры с бору да с сосенки... Общего тона не могу добиться... Пьеса написана не в обычных актерских тонах... Да и режиссеров у нас уж очень много... — сказал он, вздохнув. — Все показывают акте-



рам, как играть... Разъясняют роли, дают советы, как читать стихи... Сбивают их, да и мне-то мешают... А что поделаешь? — директора... К тому же, литераторы — люди образованные, интеллигентные... Правду надо сказать, много интересного, умного говорят... Одна беда — техники нашего актерского дела не знают... Алексей Сергеевич почти на каждой репетиции сам бывает... Загорелся старик... Волнуется, горячится, во все входит... Все близко к сердцу принимает... Сердится, когда что не так, не по его делается... Трудно с ним работать, но интересно...

За кулисами Александринского театра много ходило сплетен и анекдотов о столкновениях и горячих пререканиях А. С. Суворина с П. П. Гнедичем, П. Д. Ленским и с актерами.

Один из эпизодов, рассказанный мне А. П. Коломниным, особенно резко запечатлелся у меня в памяти.

Идет четвертая или пятая репетиция.

Сцена скупо освещена, как обыкновенно, двумя шитками с десятком лампочек. Зрительный зал тонет во тьме. У суфлерской будки сидит П. Д. Ленский, ведущий репетицию. Озерова, изображающая Ганнеле, лежит на постели и бредит:

— Ангелы... ангелы!..

На сцену выходят три артистки, играющие ангелов, и крадутся к постели Ганнеле.

— Что вы делаете?! — останавливает их Ленский. — Как вы идете... Словно воровать пришли... Разве так ангелы ходят... Ангелы ходят вот как...

Ленский, шагая медленно по сцене, показывает актрисам, как ходят ангелы.

— Позвольте, собственно говоря, Павел Дмитриевич! — раздается из темноты партера громкий, недовольный голос Суворина, — скажите, пожалуйста, где вы видели, как ангелы ходят?..

Общий хохот.

Сконфуженный и раздосадованный, Ленский садится на свое режиссерское место. Ганнеле-Озерова, вместе с ангелами, помирает от смеха. А. С. Суворин покидает театр, сердито ворча:

— А я думаю, что ангелы, собственно говоря, совсем не так ходят, как Ленский.



Первое представление «Ганнеле» имело большой успех.

Оригинальный, красивый и наивно-трогательный сюжет пьесы захватывал публику.

Нервная, проникновенная игра артистки Озеровой, как нельзя более подходящей по своим внешним данным к роли забитой, несчастной девочки Ганнеле, производила на зрителей неотразимое впечатление.

Учителя Готвальда играл, если не ошибаюсь, В. И. Петров, хорошо декламируя стихи, каменщика Маттерна, отца Ганнеле — провинциальный опытный артист Тихомиров. Поставлена пьеса была прилично, насколько это возможно при спешно собранной, случайной труппе и с малым количеством репетиций. Хромали кое-где световые эффекты, неудачно была написана декорация рая, но в общем спектакль производил сильное впечатление. Несмотря на весеннее время, на «мертвый сезон», публика наполняла театр сверху донизу.

Все представления были переполнены.

Кружок получил за десять спектаклей «Ганнеле» чистой прибыли более семи тысяч.

А. С. Суворин, как юноша, радовался успеху пьесы, увлекался игрой Озеровой и восторженно отзывался об ее таланте.

Успех «Ганнеле» навел дирекцию литературно-артистического кружка на мысль основать постоянный театр.

А. С. Суворин жадно ухватился за мысль создать театр кружка и энергично принялся за ее осуществление.

Была избрана дирекция театра: А. С. Суворин — председатель, П. П. Гнедич — заведующий художественной, монтажной частью. Н. О. Холева — казначей и А. П. Коломнин — заведующий хозяйственной частью.

В газетах появилось известие, что кружок снял на зимний сезон Малый театр, пригласил режиссером известного провинциального артиста Фадеева и формирует труппу.

Петербургский театральный мирок волновался и сплетничал, предрекая новому предприятию полный провал.

В конце мая ко мне, неожиданно-негаданно, приехал П. П. Гнедич, с которым я встречался раза два в Александринском театре, но близко не был знаком.



— Я к вам по делу от Алексея Сергеевича, — начал Петр Петрович. — Вы знаете, кружок решил основать свой театр. Условие с владельцем Малого театра, графом Апраксиным, уже заключено. Суворин хочет переговорить с вами, не возьмете ли вы на себя режиссерство в нашем театре?

Я, признаюсь, был немало удивлен предложением Петра Петровича. До этого времени я режиссировал в Невском обществе народных развлечений, на окраине Петербурга, и никак не думал, что моя скромная режиссерская деятельность в рабочих кварталах обратит на себя чье бы то ни было внимание. С Сувориным лично я не был знаком. Я знал его только как автора пьес и, главным образом, как журналиста, издателя «Нового Времени», где меня не раз жестоко критиковали как драматурга. Совместной работы с Сувориным я, откровенно говоря, боялся. Наши общественные взгляды были весьма различны. Все это я, не обвиняя, высказал Петру Петровичу.

П. П. Гнедич уверял меня, что театр будет чужд каких бы то ни было тенденций, политических направлений.

— Кружок задался целью основать театр, отвечающий художественным запросам публики... С хорошей труппой и новым, интересным репертуаром... Никакой тенденциозности, никакой политики в нем не должно быть и, надеюсь, не будет... — говорил П. П. Гнедич.

Меня манила работа режиссера в большом столичном театре, с «хорошей труппой, с литературным, художественным репертуаром», с возможностью, не стесняясь средствами, прочно поставить дело.

Я просил Петра Петровича дать мне на размышление один день. Он, видимо, неохотно согласился, сказав, что времени до начала сезона осталось мало, и кружок дорожит буквально каждым часом...

Мы условились с Гнедичем, что он заедет ко мне завтра, в два часа, и если я решу вопрос в положительном смысле, мы вместе отправимся к Суворину.

Я, подумав, решил начать переговоры с Сувориным, поставив свои условия и, если он согласится с ними, принять режиссерство.



Мой первый визит к А. С. Суворину необычайно ярко запечатлелся у меня в памяти со всеми подробностями.

Когда мы с Петром Петровичем вошли в роскошный кабинет Суворина, он сидел у письменного стола и, обернувшись, пристально посмотрел на меня поверх очков.

Гнедич отрекомендовал меня.

Суворин привстал, протянул мне руку и что-то невнятно пробормотал, не переставая внимательно разглядывать меня.

Мы сели.

— Я переговорил с Евтихием Павловичем, он готов быть у нас режиссером, — сказал Гнедич.

— Ну что же, я очень рад... — ответил Алексей Сергеевич тоном, в котором не было ни радости, ни приветия.

Наступила неловкая пауза.

Суворин сидел, опустив глаза и поглаживая бороду, видимо, чем-то недовольный.

— Принципиально я ничего не имею против режиссирования в театре кружка, но хотел бы выяснить условия работы и характер репертуара?.. — прервал я молчание.

— Я, собственно говоря, не понимаю, какие условия? Вы будете ставить пьесы и получать за это вознаграждение... Вот, собственно говоря, и все условия.

— Да, но какие пьесы?

— Какие пьесы... да я и сам еще не знаю, какие у нас будут пьесы.

— У нас намечена постановка «Орлеанской девы» Шиллера, — заметил Петр Петрович.

— Во всяком случае, я могу взяться за это дело при условии, если репертуар театра будет вполне литературный... Если мне, как режиссеру, будет предоставлен голос в репертуарном комитете при решении вопросов о постановке пьес... Полная самостоятельность в режиссерской работе...

— Я знаю литературные пьесы только Шекспира, Шиллера... — уже недовольным голосом проворчал Суворин, кусая бороду.

— Я не о них говорю... Это гениальные пьесы... Но, я думаю, и у других авторов есть пьесы, верно отражающие жизнь



и написанные литературным языком... Их я называю литературными.

— Да... Ну, я их, собственно говоря, не знаю... — вспыхнул Алексей Сергеевич и, быстро встав, зашагал по кабинету. — И что такое, позвольте, режиссерская самостоятельность?.. Вы хотите властвовать в театре!..

— Только режиссировать на сцене...

— Ну да... На сцене... и никто не смеет, помимо вас, там распоряжаться... Не может поправить актера, указать ему ошибки.

— Отчего же... Только все указания должны идти через режиссера... Если все будут распоряжаться на сцене, никакого толку не будет... Да и дисциплины также... А на сцене она, по моему, необходима.

— Я, собственно говоря, этого не понимаю... Какая дисциплина? Какие такие условия?.. Никаких условий я не приму... И вообще я лучше уйду из директоров театра — вот и все...

— Зачем же вам, Алексей Сергеевич, уходить... Проще это сделать мне, — сказал я, вставая. — Вы пригласили меня для переговоров... Мы не сошлись во взглядах на задачи театра, на способ работы... Я не могу и не хочу ставить что попало и для кого попало... Вы пригласите другого режиссера...

— Нет, позвольте, что же вы говорите... «для кого попало и что попало»... Я также этого не хочу...

— А мне пора, — прервал наши пререкания Петр Петрович, посмотрев на часы. — Я уже и так опоздал...

— До свиданья, Алексей Сергеевич, — сказал я, решив уйти вместе с Гнедичем.

— Вы ведь никуда не спешите?.. — остановил меня Суворин. — Мы с вами, собственно говоря, ни о чем не поговорили... Надо же нам до чего-нибудь договориться...

Я остался, хотя был убежден, что мы с Сувориным ни до чего «не договоримся».

— Собственно говоря, вы правы... — уже менее суровым тоном начал Суворин, когда мы остались вдвоем. — Открывать театр, чтобы ставить там г...но собачье, конечно, не стоит... Только где вы найдете эти «литературные» пьесы, о кото-



рых вы говорите? И кому они нужны?.. Пойдет ли публика их смотреть?..

— А если литературных пьес нет, и публика их не хочет смотреть, тогда и театр открывать не стоит, — возразил я. — По моему мнению, и пьесы хорошие есть... И публика, жаждущая хороших пьес, есть... И актеры хорошие есть... Надо только их найти... Ведь ходила же публика смотреть «Ганнеле»... И на другие найдутся любопытные, поверьте.

Заговорив о театре, я увлекся. Совершенно забыл о том, что я приехал «наниматься в режиссеры», забыл, что передо мной «пригласивший меня для переговоров» Суворин, с которым мы только что разошлись во взглядах. Говорил просто с человеком о деле, мне близком, дорогом, хорошо знакомом, в громадность нравственного и умственного значения которого для развития масс я глубоко верил.

Говорил искренно, горячо, убежденно.

Алексей Сергеевич мало-помалу совершенно преобразился. Глаза заблестели. Голос звучал молодо и энергично. Куда девалась его подозрительность, холодная сдержанность. Он воодушевился, с жаром заговорил о задачах театра вообще и возникающего театра в частности. Почти во всем главном он соглашался со мной, приводил много примеров из своей практики драматурга и рецензента, высказывал дельные, глубокие мысли о театре, тонкие замечания об актерах, о публике, об отношении печати к театру.

И когда я уходил после двухчасового разговора с ним, Алексей Сергеевич, провожая меня до передней, пожимая руку, сказал:

— Поступайте к нам, голубчик... Я вижу, что с вами я могу работать в театре...

Утром на другой день я получил письмо от Н. О. Холевы, директора-казначея будущего театра, с просьбой «пожаловать к нему для окончательного выяснения условий с дирекцией».

Составив письменный договор, где подробно обусловил мои права и обязанности режиссера, я отправился в назначенный час к Холеве.



Н. О. Холева, талантливый адвокат, был в то время в зените своей славы. Успех, очевидно, вскружил ему голову. Он держал себя самоуверенно и даже заносчиво.

Горничная, доложив обо мне, вернулась с ответом: «Барин занят и просит зайти в другое время».

— Скажи своему барину, — ответил я громким голосом, — что я тоже занят и прошу его прийти ко мне, когда он будет свободен...

Я уже был на лестнице, когда поспешно вышел туда сконфуженный Холева.

— Простите, пожалуйста, горничная перепутала вашу фамилию... Прошу вас войти, — пригласил он, протягивая мне руку.

Мы вошли в кабинет, изящно, но солидно обставленный, с тяжелой кожаной мебелью, со шкафами богато переплетенных книг, этажерками, где в строгом порядке лежали кипы дел, с портретами в дорогих рамах — ученых, юристов, писателей, красавиц-артисток... Кабинет модного адвоката и любителя изящного.

— Алексей Сергеевич просил меня, — начал деловым тоном адвокат Холева, — заключить с вами условие... Должен вам сказать, что дирекция ассигновала на жалование режиссера двести рублей в месяц... Если вас это устраивает, то...

— Меня это устраивает, — ответил я, — но устраивают ли дирекцию мои условия?.. На соблюдении их я категорически настаиваю... От согласия дирекции зависит мое поступление в ваш театр режиссером...

Я подал Холеве написанный мною проект контракта.

Условия мои заключались в следующем:

- 1) Участие с правом голоса в репертуарном комитете театра.
- 2) Полная самостоятельность при постановке на сцене пьес и распределении ролей между актерами.
- 3) Предоставление мне, как режиссеру, права по моему усмотрению нанимать и увольнять рабочих на сцене: плотников, техников, бутафоров, портных, парикмахеров и др.
- 4) Установление правил порядка для служащих на сцене, как артистов, так и рабочих.

Холева внимательно прочел проект контракта и, подумав, сказал:



— Я, видите ли, не уполномочен дирекцией решать этот вопрос окончательно... Я должен представить ваши условия на обсуждение дирекции театра... и, если она согласится...

— Тогда, будьте добры, сообщите мне, какое решение примет дирекция... До свиданья.

Мы расстались.

Вечером — или, вернее сказать, ночью, часов около двенадцати — того же дня я получил записку от Холевы с приложением написанного рукою Суворина следующего условия: «Поступая режиссером в театр литературно-артистического кружка, я получаю от дирекции за свой труд двести рублей в месяц».

С посыльным, принесшим мне записку от Холевы, я отвечал, что в заключении прилагаемого условия не нуждаюсь, ибо не сомневаюсь, что дирекция мне будет платить за мою работу жалование. Для меня важно принятие дирекцией моих условий, без чего я не могу взяться за режиссерство в театре кружка. Вложив вместе с моим письмом условие, написанное Сувориным, в конверт, я отправил его неподписанным обратно Холеве.

Утром ко мне приехал А. П. Коломнин.

Спокойный, корректный Алексей Петрович с первого же раза произвел на меня хорошее впечатление. Он сообщил мне, что на заседании дирекции большинство высказалось за принятие моих условий, но Алексей Сергеевич, как председатель театральной дирекции, не хочет подписывать формального контракта, будучи вообще противником всяких письменных условий.

— Я сам не охотник до формальных контрактов, — ответил я Коломнину, — и, признаюсь, был крайне удивлен, получив от Холевы написанное Сувориным условие. Оно меня не только удивило, но прямо возмутило...

— Самое лучшее, если мы не будем подписывать никаких условий, — предложил Алексей Петрович. — Приходите сегодня в три часа к Суворину... Там соберется наша дирекция... И мы порешим все на словах... Не настаивайте на подписании, Евтихий Павлович... Уверяю вас, что ваши права нарушены не будут... Я вам ручаюсь за то, что мешать вашей режиссерской работе никто из директоров не будет. Суворин горячо любит театр, увлечен им теперь донельзя, но ему некогда им занимать-



ся... Он ревнивый человек, но с ним можно работать... Уверю вас... Я хорошо знаю Алексея Сергеевича... Поверьте мне... Приходите в три... надо кончать...

В три часа у Суворина я застал А. П. Коломнина, П. П. Гнедича и Н. О. Холеву.

Алексей Сергеевич встретил меня приветливо и первый заговорил:

— Я не подписал вашего контракта, хотя в общем согласен с ним... но, собственно говоря, я никогда ни с кем не заключал письменных условий... Да и какие могут быть условия с подписями между литераторами... Не пристало это нам с вами... Да, собственно говоря, они никого и не гарантируют... Хотя мне вас рекомендовал Николай Федорович Сазонов, но ведь я вас как режиссера совсем не знаю... Вот поработаем вместе, узнаем друг друга...

— Я не стою за подписание вами условия. Ни вас, ни себя я не хочу связывать... Мне важно только принципиальное согласие дирекции на мои предложения... И, главное, на признание за мной права голоса при обсуждении репертуара, — ответил я.

— Ну, конечно, голубчик... Само собой, мы сообща все будем решать...

— Вопрос, значит, можно считать оконченным? — спросил Холева.

— Ну, конечно, Николай Осипович... Я, собственно говоря, очень рад.

Петр Петрович поднял вопрос о репертуаре, сказав, что надо заблаговременно позаботиться о заказе декораций, мебели, бутафории и костюмов.

— Мы предполагали поставить «Орлеанскую деву»... Постановка эта требует много времени и сложной работы... Надо теперь же, не откладывая, решить, будем ли мы ее ставить или нет?

Единогласно было решено ставить «Орлеанскую деву» и немедленно приступить к монтировке трагедии.

Алексей Сергеевич предложил возбудить в драматической цензуре ходатайство о разрешении к представлению в театре литературно-артистического кружка «Власти тьмы» Л. Толстого.



Заговорив о «Власти тьмы», Суворин внезапно загорелся. Он начал подробно рассказывать о постановке пьесы в любительском спектакле Приселковых.

— У Приселковых, собственно говоря, хорошо она была исполнена, но можно поставить ее лучше... Надо теперь же возбудить вопрос в цензуре... Я сам поеду к начальнику печати... Если разрешат — мы обеспечены успехом сезона, — закончил он.

— «Ганнеле» можно поставить, она еще даст несколько сборов, — предложил А. П. Коломнин.

С ним все согласились.

Алексей Сергеевич настаивал, чтобы написана была новая декорация последней картины.

Я сказал, как представляю себе эту картину.

Петр Петрович взялся сделать эскиз декорации.

Заговорили о том, какой пьесой открыть театр.

После долгих пререканий и горячих споров дирекция согласилась с моим предложением начать сезон пьесой Островского — «Гроза».

Заботы о формировании труппы были возложены на А. С. Суворина, совместно со мной.

— Приходите, голубчик, ко мне от часа до двух ночи... Поговорим о труппе, о репертуаре... В это время нам никто мешать не будет... — сказал мне на прощание Алексей Сергеевич.

II

Ночные заседания у А. С. Суворина. — Беседы о репертуаре и о труппе. — Приглашение артистов. — Наши поиски «за талантами». — Поездки с А. С. Сувориным по садам и по дачным театрам. — Орленев и Домашева. — Пасхалова и Яворская. — Поездка Суворина в Москву. — Н. Д. Красов и А. П. Никитина. — Заседание дирекции перед отъездом Суворина за границу. — Мое предложение не ставить в нашем театре пьес директоров и режиссера. — Полная уверенность мне составлять труппу и организовывать все дело. — Отъезд А. С. Суворина.

Намеченный репертуар театра кружка меня вполне удовлетворял.

«Если «Власть тьмы» нельзя будет поставить, благодаря цензуре, то все же в репертуаре остаются такие пьесы, как «Гроза» Островского, «Орлеанская дева» Шиллера и «Ганнеле» Га-



уптмана. На первое время этих пьес будет довольно, а в дальнейшем пьесы найдутся», — думал я.

Очень трудным представлялся мне вопрос о формировании труппы.

Артистические силы провинции я в то время хорошо знал. Будь дело зимой или, по крайней мере, Великим постом, можно бы собрать прекрасную труппу, но летом все выдающиеся артистки и артисты были уже законтрактованы. На всякий случай я составил список артистов, пригодных для нашего театра. В крайнем случае можно будет предложить дирекции заплатить за них неустойки.

В моем, довольно обширном, списке стояли имена: Романовской, Кудриной, Стрепетовой, Комиссаржевской, Мартыновой, Рыбчинской, Анненской, Домашевой, Холмской, П. К. Красовского, Каширина, Сашина, Анчарова-Эльстон, Орленева, Бравича, Ге, Инсарова-Рошина, Киселевского, Неделина, Чужбинова и многих других.

Обратившись в бюро Разсохиной, я просил выслать мне список свободных от ангажемента артистов и сообщить сведения о том, где служат намеченные в моем списке лица.

Бюро Разсохиной быстро исполнило поручение.

В списке свободных артистов было около ста фамилий, но среди них я нашел только три-четыре интересных для нашего дела: П. К. Красовский, Анчаров-Эльстон, Стрепетова и Холмская. Остальные были те, что в опере именуются неизвестными.

Около двух часов ночи отправляюсь, со списком в портфеле, к А. С. Суворину.

— Ну что, голубчик?.. Как дела?.. Нашли кого-нибудь? — торопливо спрашивает он меня.

— Кой-кто есть... Давайте, Алексей Сергеевич, все по порядку... — ответил я, вынимая список.

— По порядку, так по порядку... — согласился он, садясь в кресло.

Мы просмотрели весь список. Я давал подробные характеристики актеров. Суворин с большим вниманием меня слушал. Он мало знал провинциальные силы... Из всего списка знакомы ему были только Стрепетова, Инсаров-Рошин, Киселевский.



Времени терять было нельзя, а потому я предложил Алексею Сергеевичу немедленно вступить в переговоры с намеченными нами артистами: Комиссаржевской, Романовской, Холмской, Красовским, Анчаровым-Эльстоном.

Так как Домашева и Орленев играли в то время в Озерках, Алексей Сергеевич решил завтра же вместе со мной отправить в озерковский театр смотреть их.

«Ночные бдения» бывали у нас с Алексеем Сергеевичем раза три-четыре в неделю.

Мы обменивались мнениями о прочитанных пьесах, об актерах, о постановке пьес, о декорациях. Материальной, хозяйственной стороны дела мы почти никогда не касались. Об этом я разговаривал с А. П. Коломниным и Н. О. Холевой.

В одно из «заседаний» Суворин спросил меня, как я смотрю на артистку императорских театров Пасхалову, которая заявила ему о желании служить в театре кружка. Я, конечно, ничего против Пасхаловой не имел, считая ее одной из способных молодых артисток Александринского театра.

— Яворская тоже хочет служить у нас... Я с ней еще весной говорил о нашем театре... И мы с ней почти покончили... Я думаю, что мы, собственно говоря, соберем недурную труппу... Без актеров театр немислим... Актер в театре — все... Я помню старика Садовского, Мартынова, Васильева. Что это были за артисты!..

Суворин часто увлекался воспоминаниями о былых талантах русской сцены и с восторгом рассказывал об игре их в тех или других ролях, о пьесах, в которых они выступали.

— Теперь таких талантов нет, — говорил он. — Из глупых, ходульных ролей в водевилях, в мелодрамах они создавали живые, трогательные образы... А, впрочем, я люблю, собственно говоря, мелодраму... Знаешь, что чепуха, а трогательно... Добродетель торжествует, порок наказан... уходишь из театра удовлетворенный. Я, собственно говоря, вообще люблю, когда пьеса кончается благополучно... Заметьте, у Островского большинство пьес кончается свадьбой. В жизни это не всегда так случается, так хоть на сцене посмотреть приятно... Я даже думаю, не поставить ли нам хорошую мелодраму, Евтихий Павлович?..



Я протестовал самым энергичным образом, говоря, что время мелодрам прошло, что и актеры разучились их играть...

— Может быть, вы и правы, Евтихий Павлович... — согласился Алексей Сергеевич. — Но публика любит мелодрамы...

— Какая публика... Всякая есть публика...

И мы вступали в длинные горячие споры о задачах театра, о публике, о репертуаре, о пьесах, об исполнении актерами ролей. Алексей Сергеевич был страстный, искусный спорщик. Как все люди темперамента, он был крайне пристрастный человек.

Отдавая долг большому таланту А. Н. Островского, он не любил многих его пьес. Ибсена он тоже не особенно жаловал.

— Умный очень писатель... И пьесы его очень умные... но не драматург. Страсти в нем нет... Холодно все это, разумно очень... — говорил он об Ибсене.

Я был всегда горячий поклонник Островского и увлекался Ибсеном. На почве этих разногласий у нас загорались бесконечные споры.

Помню, прочел я пьесу Гауптмана «Одиноким людям». Она мне понравилась. Я принес ее Алексею Сергеевичу, просил прочесть, рекомендуя внести ее в репертуар. Суворину пьеса показалась неинтересной. И как я ни убеждал его, сколько ни спорил, он ни за что не хотел внести в репертуар театра «Одиноким людей», находя пьесу бледной, резонерской, утверждая, что она никакого успеха в России иметь не будет. Так она и не пошла у нас.

Как только в газетах появилось известие, что кружок открывает театр и я приглашен режиссером, к Суворину и ко мне потянулись авторы и актеры. В день поступало по три-четыре пьесы. Актеров и в особенности актрис с предложением своих услуг перебивало у меня бесконечное количество.

Алексей Сергеевич сам редко принимал актеров, отсылая их ко мне.

С авторами он вступал в переговоры, читал пьесы, давал советы и указания, как надо переделать или исправить пьесу. Мало-мальски интересные пьесы Суворин передавал мне на прочтение и спрашивал о них мое мнение.



По летним театрам «в поисках за талантами» мы обычно ездили вместе с ним.

Увидав в Озерках Орленева и Домашеву, в пустенькой комедии (если не ошибаюсь, «Под душистой веткой сирени»), А. С. Суворин пришел в восторг. Он сейчас же после спектакля просил меня вступить с ними в переговоры. На мое замечание, что они служат у Корша, он сказал:

— Мы заплатим за них неустойку... Таких актеров упустить нельзя, голубчик... Это таланты... Переговорите с ними и постарайтесь, чтобы они были у нас в труппе.

Другие наши «смотрины» актеров были не из удачных.

Посетили мы Измайловский сад (теперешний «Летний Буфф»), где провинциальная актриса С-ая играла, как она сама выражалась, «опрошенную Медею», Петергоф, театр «Невского общества» и много других.

Посмотрев два-три акта, Суворин, разочарованный, уезжал домой, ворча, что нам не собрать хорошую труппу, что талантливых людей совсем нет...

Мною были разосланы десятки писем и телеграмм с приглашениями актерам.

Ответы получались медленно.

Алексея Сергеевича это досадовало. Его брало нетерпение. Он каждый раз, как я приходил, встречал меня вопросом:

— Ну что, есть от кого-нибудь известие?

Мой отрицательный ответ всегда приводил его в раздражение.

— Знаете что, Евтихий Павлович, я завтра поеду в Москву к Разсохиной... Как вы думаете? — сказал он мне однажды.

— Что же, поезжайте... Может быть, кого-нибудь там найдете, — согласился я.

Через два дня Суворин уже вернулся из Москвы, пригласив, через бюро Разсохиной, А. П. Никитину и Н. Д. Красова.

Я получил телеграммы от Анчарова-Эльстона и П. К. Красовского с согласием служить в труппе и от В. Ф. Комиссаржевской письмо, в котором она благодарила за приглашение и сообщала, что, к сожалению, не может принять ангажемента, так как заключила уже контракт с Незлобиным в Вильну.



Нельзя себе представить, до чего раздражали и огорчали Алексея Сергеевича отказы актеров и до чего радовался и ликовал он при удачах.

Не раз мне приходилось убеждать его, что отчаиваться нет никаких оснований, что у нас уже есть ядро труппы, с которым мы не пропадем, а остальных подобрать нетрудно.

Суворин, по-видимому, успокаивался, но рано утром на другой день я уже получал от него записку с вопросом: не получил ли я ответа от того-то или той-то?..

К концу мая в труппу уже вступили: Пасхалова, Яворская, Домашева, Никитина, П. К. Красовский, Анчаров-Эльстон, Орленев и Красов. Со многими приглашенными артистами мною еще велась переписка.

Нервный и нетерпеливый, Алексей Сергеевич возмущался, что формирование труппы идет, по его мнению, медленно, и просил меня все сношения с актерами вести телеграфом.

Он весь «ушел в театр», жил только мыслью о театре, ни о чем другом, кроме театра, актерах, пьесах, не говорил.

Сотрудники «Нового Времени» ворчали, что Суворин совсем забросил газету, душил их разговорами о театре, об актерах, о пьесах и слышать не хочет о редакционных делах.

Волнуясь, горячась и спеша, он в сильной степени растрепал свои нервы.

На заседаниях театральной дирекции он раздражался по всяким пустякам, придавая им более важное значение, чем они имели. Всех торопил, подгонял, писал мне и директорам письма, сердился, упрекал в недостатке энергии.

Благодаря нервности А. С. Суворина иногда происходили на заседаниях курьезные сцены.

Как-то, говоря о бутафории для «Орлеанской девы», П. П. Гнедич заметил, что надо заказать орифламму. Алексей Сергеевич, будучи в нервном настроении, разразился по этому поводу грозной филиппикой.

— Вот всегда так у нас делается!.. «Нужно заказать»... А, собственно говоря, ничего не заказано... Так невозможно... А потом — ставить пьесу, — того нет, другого нет!.. Спешно... кое-как... черт знает что!.. Вы, Петр Петрович, пожалуйста, голубчик, сей-



час же закажите орифламму... Это необходимо теперь же сделать...

Петр Петрович поспешил успокоить Суворина.

Когда Гнедич ушел, Алексей Сергеевич еще долго не мог успокоиться, озабоченный заказом орифламмы. Он негодовал, волновался, бранился и, наконец, остановившись передо мной, спросил:

— Да что такое, позвольте, эта орифламма, Евтихий Павлович?

— Это знамя с нарисованной на нем Богородицей, которое носила Орлеанская дева...

— Так ведь это сушая чепуха!.. — расхохотался Суворин. — Это знамя можно в один день сделать... Петр Петрович давно уж мне твердит: «орифламма, орифламма!..» Я думал, и в самом деле... — успокоившись, с добродушной улыбкой сказал Суворин.

Июнь подходил к концу.

Алексей Сергеевич сидел в Петербурге, занимался театральными делами, откладывая со дня на день свой отъезд за границу. А. П. Коломнин, любивший старика, уговаривал его бросить на время дела и ехать отдохнуть, предоставить директорам и мне заниматься театром.

— Действительно, голубчик, я устал, да и Петербург летом, собственно говоря, мне противен... — отвечал обыкновенно Суворин и, тем не менее, оставался в своей роскошной, огромной пустой квартире один с преданным ему человеком Василием.

Несколько раз укладывались чемоданы и даже брались билеты, но отъезд все откладывался.

Наконец Алексею Петровичу удалось-таки уговорить Суворина уехать.

Перед отъездом было назначено заседание дирекции. Говорили снова и снова о репертуаре.

Ответа из цензуры на ходатайство кружка о разрешении «Власти тьмы» получено не было. А между тем в газетах появилось известие, что «Власть тьмы» будет разрешена только для императорских театров и пойдет в бенефис Н. В. Васильевой.



Мы приуныли. Алексей Сергеевич, узнав об этом, страшно заволновался. Он решил снова отложить отъезд, чтобы лично просить начальника печати о разрешении пьесы для театра кружка. Коломнин и Холева взяли хлопоты на себя и успокоили этим Суворина.

В этом заседании я, между прочим, внес предложение, чтобы в театре кружка в течение, по крайней мере, первого сезона не шли пьесы директоров и режиссера. Предложение мое было принято.

Рассмотрев представленный мною проект условия с артистами, дирекция, внося поправки, приняла его, уполномочив меня от имени режиссера театра приглашать артистов, декораторов, рабочих на сцене и заключать с ними контракты.

Вся организационная работа по составлению труппы и рабочих на сцене была всецело поручена мне. П. П. Гнедич взял на себя подготовку монтировочной части дела по декорациям, костюмам и бутафории.

Вечером А. С. Суворин уехал, прося меня сообщать ему все касающееся театра и присылать на прочтение пьесы, которые я найду достойными внимания.

III

Работа по подготовке сезона. — Чтение пьес. — Переговоры с артистами и заключение с ними условий. — М. А. Михайлов — Первая считка «Грозы» — Начало репетиций. — Отношение ко мне А. П. Коломнина и Н. О. Холевы. — Тайные враги. — Письма Суворина. — Моя телеграмма. — Первый спектакль 17-го сентября. — Письмо Суворина. — Отношение ко мне труппы.

С отъездом Алексея Сергеевича за границу труд прочтения пьес, переговоры с авторами и артистами, рабочими, плотниками, бутафорами, техниками лег всецело на меня. С утра до вечера у меня в квартире толкался народ. Вечером я делал монтировки и *mise en scene*, читал пьесы, желая поскорее дать ответ нетерпеливым авторам.

При заключении контрактов я предварительно сообщал дирекции о приглашении мною такого-то артиста и цифру его жалования. По получении согласия дирекции я подписывал с ними условия.



Формирование труппы шло довольно успешно.

Труппа была уже почти собрана, когда в одно прекрасное утро ко мне в кабинет вошел уже немолодой, среднего роста робкий человек с выразительным, бритым лицом, с выцветшими серыми, умными глазами и крупным носом.

Одетый в короткое, потертое, старенькое пальто горохового цвета, вылинявшее на плечах, и обтерханные светлые брюки, он неловко, конфузливо поклонился, шаркнул ножкой и подал мне дрожащими руками письмо.

Я пригласил его сесть.

«Рекомендую вам, Евтихий Павлович, способного провинциального артиста Михаила Адольфовича Михайлова...» — писал мне мой старый знакомый, режиссер Павел Петрович Ивановский.

До этого дня я никогда не слышал об актере Михайлове, а потому стал подробно расспрашивать его: где он служил, какое его амплуа, какие роли он играл и давно ли он на сцене?..

Робким, тихим голосом Михайлов рассказал мне свое *singulum vitae*.

Его настоящая фамилия Дмоховский. Он дворянин, помещик Харьковской губернии. Имел большое состояние, но был разорен вконец после ареста брата, осужденного по политическому делу в каторгу. Сам был арестован, но скоро освобожден. Продал последние крохи из имения и пошел в актеры, так как раньше с успехом играл в любительских спектаклях. Служил в Харькове у Андреева-Бурлака, в Курске и еще где-то на юге. Играл вначале вторые, а потом и первые роли характерных комиков и резонеров. А теперь вот на зиму свободен...

— Ваш брат — Лев Дмоховский? — спросил я его.

— Да, Левушка... Лев...

— Я знал вашего брата еще до его ареста... И потом сидел с ним в тюрьме в Красноярске... И сестру вашу знал, что добровольно пошла за братом в Сибирь... — сказал я.

Никогда не забуду выражения лица Михайлова, когда он услышал о моем знакомстве с его братом.

Весь он просиял, на глазах показались слезы.



— Вот как!.. Вы знали Левушку?.. и сестру?.. Брат умер в тюрьме, в Иркутске... — проговорил он, заикаясь, и замолк на полуслове.

— Нам нужен в труппу комик... — сказал я, чтобы переменить разговор, сильно взволновавший Михайлова. — Я возьму вас... Рекомендации Ивановского я доверяю...

— Благодарю, благодарю... — горячо ответил он, крепко пожимая мою руку.

— Какие же ваши условия?

— Полтора ста... дадите?.. — неуверенно произнес Михайлов, смотря на меня умоляющим взглядом.

— Нет, Михаил Адольфович... Ведь вы хотите занимать роли первого комика и резонера... Вам необходимо будет обзавестись приличным платьем... Да и жизнь в Петербурге значительно дороже, чем в провинции... Меньше двухсот рублей на первое время я вам не могу дать... а там посмотрим... — ответил я.

Михайлов, видимо, был сердечно тронут и горячо благодарил меня.

Наступил август.

Близилось время открытия сезона. Приглашенный мной художник И. А. Суворов, под наблюдением П. П. Гнедича, приступил к работам декораций «Грозы».

Некий Г-ий (бывший соарендатор Малого театра) предложил дирекции взять напрокат его театральное имущество: декорации, костюмы и бутафорию.

Дирекция, совместно со мной, осмотрела подробно все «имущество».

Оно состояло из старых, использованных оперных и опереточных декораций: неправдоподобных пейзажей, нигде не виданных зал, улиц фантастических городов, театральных нарочных хижин, где могли обитать только опереточные бедняки; из костюмов, истрепанных и непригодных для драмы; из арсенала деревянного оружия, поломанной мебели и аляповатых статуй и ваз...

П. П. Гнедич и я высказались решительно против аренды этого никуда непригодного хлама, но дирекция принуждена была взять напрокат это имущество за какую-то ничтожную плату.



Так как Суворов не мог один оборудовать декорациями театр, в котором, кроме названного хлама, ничего не было, П. П. Гнедич заказал часть работ декораторам императорских театров. С братьями Лейферт было заключено условие на поставку бутафории и костюмов по рисункам, доставляемым П. П. Гнедичем.

Освещение сцены Малого театра было самое примитивное. О радикальном переустройстве его нельзя было и думать. Пришлось ограничиться только незначительными поправками и приобретением необходимых принадлежностей, как-то: рефлекторов, луны, комплекта разноцветных лампочек и т. п.

А. С. Суворин, узнав из моего письма о неудовлетворительности освещения на сцене, приобрел за границей прекрасный фонарь для световых эффектов, изображения на сцене туч, дождя, снега, молний и т. п.

Переделанная когда-то, по указаниям М. В. Лентовского, сцена была недурно оборудована, но неудобна, вследствие непропорциональности размеров. Ее глубина почти равнялась ширине. Проходы за кулисами были узки, что представляло большое неудобство при постановке так называемых обстановочных пьес. Весь театр был загрязнен, благодаря неряшливому отношению арендаторов. На сцене люки не действовали, подъемы декораций производились «вручную», софиты — на бечевках, в трюме — склад всяческого ненужного хлама: сломанных площадок, лестниц, декоративного хлама и возов мусора. Надо было много энергии и настойчивости, чтобы очистить эти Авгиевы конюшни и привести сцену в порядок и зрительный зал в приличный вид.

В продолжение августа месяца мне приходилось каждый день бывать в Малом театре, наблюдая за ремонтом и работой в декоративном зале.

Наконец работы по ремонту и очистке театра были окончены. Труппа сформирована, рабочие все наняты. Труппа состояла из 45 артисток и артистов. В ее составе были такие выдающиеся силы, как Пасхалова, Яворская, Холмская, Глама-Мешерская, Домашева, Никитина, Каратыгина, П. К. Красовский, Орленев, Михайлов, Анчаров-Эльстон, Бастунов. Режиссерское управление состояло из меня и моего помощника Мировича.



Стоимость всей труппы, вместе с режиссером, не превышала восьми тысяч рублей в месяц.

Настало время приступить к репетициям.

Помню, как сильно я волновался, идя на первую считку «Грозы». Большинство из исполнителей были артисты, мне мало знакомые, набранные из провинции, с разных сторон обширной России.

Распределять роли пришлось по чутью и догадке, по заявленным актерами амплуа и по внешним данным. Многие из участвующих в пьесе раньше играли в «Грозе» не те роли, которые я назначил им, другие считали роли не их амплуа.

Орленев с боязнью отнесся к роли Тихона.

— Никогда не играл я этих ролей — боюсь, Евтихий Павлович, не совладаю.

Как истинный артист, он строго относился к самому себе и с глубоким уважением к искусству.

— Попробуем, Павел Николаевич... Посмотрим на репетициях... Не выйдет роль, я вас насильно не заставлю играть, — убеждал я его.

Роли в «Грозе» были распределены так: Дикой — Марковский, Борис — Красов, Кабаниха — Чижевская, Тихон — Орленев, Катерина — Холмская, Варвара — Никитина, Кудряш — Чернов-2, Шапкин — Богатилов, Феклуша — Каратыгина, Глаша — Ланская, полусумасшедшая барыня — Зиновьева.

Сказав несколько слов о художественных задачах возникающего театра, о необходимости дружной, совместной работы, я попросил артистов приступить к считке пьесы.

Роли были проверены моим помощником Мировичем до считки, а потому я просил артистов читать в полный тон, давая интонации. Мне необходимо было узнать, как артисты понимают роли и какими тонами передают их.

Большинство участвующих читало удовлетворительно, но у многих слышались рутинные театральные интонации, заимствованные от прежних исполнителей «Грозы», и обрисовка характеров действующих в драме лиц носила шаблонный, традиционный прием. Об общем тоне исполнения на первой считке нельзя было судить.



Мне пришлось подробно развить артистам мой взгляд на драму Островского, на среду, где произошла драма, на время, когда она происходила, на психологическое развитие драмы, обрисовать характеры и переживания действующих в «Грозе» лиц, как главных, так и второстепенных, иллюстрируя мои слова чтением из драмы.

Мне хотелось услышать мнения актеров о полученных ими ролях. Я просил их высказаться по поводу моих взглядов.

Большинство молчало, но П. Н. Орленев, М. А. Михайлов и З. В. Холмская довольно подробно изложили свои взгляды на характер их ролей.

Приступили к репетициям.

Я весь отдался театру.

Труппа относилась к делу с любовью и тщательностью необычайной. Репетиции проходили оживленно, дружно. Видно было, что всех захватила работа.

Кроме «Грозы» мы до открытия спектаклей репетировали «Нору» Ибсена, «Трудовой хлеб» Островского, где роль Карпелова неподражаемо играл П. К. Красовский, талантливый провинциальный актер, и «Ганнеле» с новыми исполнителями, за исключением Тихомирова, за которым осталась роль каменщика Маттерна. Ганнеле в очередь играли Домашева и Надеждина.

На репетициях, продолжавшихся ежедневно от 10 до 4 час. дня и от 6 до 12 час. ночи, почти всегда присутствовали А. Н. Коломнин и Н. О. Холева. Часто бывал П. П. Гнедич, занятый работами по декоративной и бутафорской части.

Генеральная репетиция «Грозы» принесла мне много неприятностей. Декорации оказались недописанными. Костюмы, доставленные Лейфертом, из рук вон плохие.

Я волновался до отчаяния.

Суворов уверял меня, что к спектаклю все декорации будут готовы, Лейферт обещал мне вновь подобрать костюмы, по моим указаниям. Но эти уверения меня мало успокаивали.

Правда, я придавал главное значение внутреннему содержанию пьесы, игре актеров, но и внешняя сторона постановки меня весьма озабочивала.



17-го сентября состоялось открытие сезона в театре литературно-артистического кружка.

«Гроза» прошла с приличным ансамблем, имея успех у публики. Несмотря на вполне понятную робость и волнение, артисты играли стройно, заражая публику своими переживаниями. Особенно выделялись своим исполнением З. В. Холмская, А. П. Никитина, П. Н. Орленев и М. А. Михайлов, выдвинувший на первый план второстепенную роль Кулигина.

Пресса в общем отнеслась одобрительно к спектаклю, за исключением «Нового Времени», поместившего строгую рецензию, и А. Р. Кугеля, с яростью напавшего на З. В. Холмскую за ее исполнение роли Катерины.

А. С. Суворин, живя за границей, вел деятельную переписку с директорами, некоторыми из артистов: Пасхаловой, Яворской, и со мной, интересуясь, очевидно, до мельчайших подробностей, что происходило в театре.

Первые письма ко мне Алексея Сергеевича носили дружелюбный характер, но затем стали суше. Я почувствовал в его отношениях ко мне раздраженность и недоверие.

Вскоре после открытия театра я получил от него письмо о постановке «Грозы», в котором он, судя, вероятно, по рецензии «Нового Времени», критикует заглазно мою постановку и описывает план постановки пьесы, как она рисуется ему.

Вслед за этим письмом он телеграфирует мне: «Что хорошо за Невской заставой, то не годится в нашем театре».

На это я ответил Суворину телеграммой: «Хорошее везде хорошо. Издалека судить трудно. Приезжайте, посмотрите сами».

После этой телеграммы переписка наша с Алексеем Сергеевичем прекратилась.

Из последних писем Суворина я понял, что кому-то было необходимо поссорить меня с ним, вызвать в нем недоверчивое и недоброжелательное чувство ко мне. Кому это нужно было, я до сих пор не знаю. Занятый с утра до глубокой ночи работой в театре, я мало интересовался интригами. Я был уверен, что Суворин, приехав из-за границы, сам увидит мою работу, мое отношение к делу, изменит свой взгляд на меня как режиссера. В этих мыслях меня очень поддерживали Н. О. Холева и Алексей



Петрович Коломнин, относившийся ко мне с трогательной любовью, доходящей до нежности.

Благодаря доброму отношению ко мне директоров и дружно сплотившейся вокруг меня труппе, доверявшей мне, как режиссеру и человеку, я мог, несмотря на закулисные интриги и влияния, свободно работать в том направлении, какое считал необходимым для правильного развития молодого театра.

IV

Постановка пьес: «Нора», «Трудовой хлеб», «Ганнеле». — Слухи о разрешении «Власти тьмы» и приглашение И. И. Судьбинина. — Приезд Суворина из-за границы. — Суворин на репетиции, его грозное внушение Холмской и Никитиной. — На представлении «Ганнеле». — Ссора Суворина со мной и примирение. — Разрешение нашему театру постановки «Власти тьмы». — Желание дирекции пригласить для постановки Алексея Антиповича Потехина. — Приглашение П. А. Стрепетовой. — А. С. Суворин желает поставить пьесу непременно раньше Александринского театра. — Постановка «Власти тьмы». — А. А. Потехин и Д. В. Григорович на генеральной репетиции. — Успех «Власти тьмы».

Второй постановкой театра была «Нора» Ибсена, с Л. Б. Яворской в заглавной роли. Гельмера играл Анчаров-Эльстон, Рапка — Красов, Линден — Ланская, Гюнтер — Быховец-Самарин.

«Нора» прошла пять раз, давая сравнительно недурные сборы.

Затем были поставлены сцены А. Н. Островского — «Трудовой хлеб».

Несмотря на то, что пьеса шла при слабом сборе, она имела хороший успех благодаря бесподобному исполнению П. К. Красовским роли Карпелова и дружному ансамблю.

«Самоуправцы», трагедия А. Ф. Писемского, представленная в первый раз 25-го сентября, где роль князя Имшина исполнил Бастунов, не давала сборов и скоро сошла с репертуара.

Вообще до возобновления «Ганнеле» дела театра-кружка в материальном отношении были неважные.

«Ганнеле» я поставил заново, изменив *mise en scene*, насколько это позволяла декорация, сделанная для постановки пьесы в Панаевском театре.

Исполнители ролей почти все были новые, за исключением Тихомирова (каменщик Маттерн), Корсаковой (мать Ганнеле).



Мосоловой (ангел) и Поляковой (ангел смерти). Остальные роли играли: Готтвальда — Красов, Марту — Зиновьева, Тульпе — Чижевская, Гедвигу — Никитина, Плешке — Михайлов, Ганке — Чернов-2, Зейдель — Аристов, Бергер — Быховец-Самарин, Портного — Орленев, Шмидт — Тихомиров, Вахлер — Богатилов, Светлые призраки — Борги, Мосолова и Стальская.

«Ганнеле», чудная, глубокая драма детской души забитой, несчастной девочки, требовала необычайно тонкого, проникновенного исполнения, заражающего зрителя грустно поэтическим настроением.

Особенно трудно было достигнуть едва заметного перехода от реальности к бредовым фантазиям Ганнеле. Мельчайшая неверность тона нарушала иллюзию. И мне долго и напряженно пришлось работать, пока, наконец, был достигнут правильный общий тон пьесы. Но, кроме того, в «Ганнеле» очень важную роль играют музыка (прекрасно написанная М. М. Ивановым) и световые эффекты. Все это должно было сливаться в одну общую гармонию.

Домашева хорошо справилась с ролью Ганнеле. Если в ее исполнении было менее истерического драматизма, чем у Озеровой, то мягкой, детской поэтичности, искренности и трогательности несравненно больше. Михайлов был превосходным Плешке, Орленев тонко играл портного, Чижевская и Никитина, как нельзя более, подходили к своим ролям. Красов мягко и красиво обрисовал Готтвальда.

Пьеса прошла с настроением. Публика горячо принимала актеров. Пресса отметила успех артистов и одобрила постановку.

В одном спектакле с «Ганнеле» шла комедия И. С. Тургенева «Нахлебник», где неподражаемы были П. К. Красовский в роли Кузовкина и М. А. Михайлов в роли Иванова.

После совещаний относительно декораций с П. П. Гнедичем и художником Суворовым, в конце сентября, я приступил к репетициям «Орлеанской деви».

Алексей Сергеевич все еще был за границей и не давал о себе знать.

А. П. Коломнин, ходатайствовавший в цензуре о дозволении представления на сцене «Власти тьмы», в последних числах



сентября сообщил мне под большим секретом, что есть некоторая надежда на разрешение цензурой пьесы для представления исключительно нашему театру.

Я спросил Алексея Петровича, не приступить ли нам заходя к монтировке «Власти тьмы». Осторожный А. П. Коломнин советовал мне подождать с этим, говоря, что шансы на разрешение пьесы весьма слабы и мы можем непроизводительно затратить и деньги, и время.

На всякий случай я наметил распределение ролей во «Власти тьмы». Пьеса довольно хорошо расходилась по труппе. Не было только подходящего исполнителя на роль Никиты. Единственный актер, который, с грехом пополам, мог бы играть роль Никиты в нашей труппе — Н. Д. Красов, но я боялся поручить ему эту роль, требующую от артиста сильного драматического темперамента и верного бытового тона. Без хорошего исполнителя роли Никиты, центральной в драме, пьеса, несомненно, много потеряла бы на сцене и не произвела бы должного впечатления на публику. Я предложил дирекции теперь же пригласить в труппу И. И. Судьбинина, известного в провинции артиста на роли «рубашечных любовников».

Дирекция дала свое согласие. На наше счастье Судьбинин был свободен от ангажемента. Мы покончили с ним телеграммами. С 1-го октября Судьбинин вступил в труппу нашего театра.

Как-то в начале октября, после репетиции, когда я уже собрался уезжать из театра, ко мне в режиссерскую прибежал рассыльный Филипп.

— Приехал в театр Алексей Сергеевич, послали за Холмской и Никитиной и просит вас... Они-с на сцене, с Алексей Николаевичем.

Я вышел на сцену.

Суворин весьма сухо поздоровался со мной.

— Я, собственно говоря, приехал поговорить с вами серьезно, Евтихий Павлович... — начал Алексей Сергеевич.

— В чем дело? — спросил я.

— Так невозможно вести театр!.. Мы провалимся!.. Сборы слабые... Публика плохо посещает театр... Ничего интересного... Так, позвольте, нельзя...



— Ведь мы только что начали, Алексей Сергеевич... Новое дело для Петербурга... Труппа не успела себя зарекомендовать... Сезон начался позже...

— Когда есть интересные артистки и артисты, публика всегда ходит, — уже повышая голос, перебил меня Суворин.

В то время пришла З. В. Холмская, жившая рядом с театром. Еле протянув ей руку, Алексей Сергеевич начал горячо упрекать ее в том, что она ничего не делает... Что актеры вообще ничего не делают... Что театр нисколько не интересен... актрисы бездарны!..

Холмская и подошедшая А. П. Никитина, бледные, перепуганные, большими глазами недоумевающе смотрели на Суворина.

Алексей Сергеевич, очевидно, кем-то настроенный, с жаром нападал на ни в чем не повинных актрис.

Меня, наконец, это возмутило.

— Позвольте, Алексей Сергеевич... почему вы обращаетесь с упреками к Холмской и Никитиной?.. Они добросовестно и честно делают свое дело, как и вся труппа... Если кто виноват, так это я... Вы говорите, что труппа мало работает, а я удивляюсь, как у них не распухнут мозги и не лопнет сердце от той работы, какую они несут от начала репетиций до сего дня...

Я горячо стал доказывать Суворину, приводя факты, что труппа не может работать больше того, чем она работает теперь. Поставить и сыграть сколько-нибудь сносно семь больших пьес в течение полутора месяцев — труд громадный и требовать большего несправедливо.

— Я нахожу, — сказал я в заключение моей горячей реплики Суворину, — что дирекция должна в ножки поклониться труппе за ее отношение к делу и ее работу, Алексей Сергеевич.

— Ну, я, собственно говоря, не думаю... — ответил Суворин и, увидав, что Холмская и Никитина утирают слезы, воскликнул: — Слезы... Ну, я уйду!..

Ни с кем не простившись, Суворин, стуча палкой, быстро ушел со сцены, сопровождаемый А. Н. Масловым.

Декоративные и костюмерные работы для «Орлеанской девы», несмотря на все старания и заботы П. П. Гнедича, не



могли быть окончены ранее конца октября. А. А. Пасхалова весьма тяготилась положением безработной артистки и просила А. С. Суворина дать ей сыграть, до выступления в «Орлеанской девице», пьесу Рихарда Фосса — «Ева». Я долго убеждал А. А. Пасхалову отказаться от этой мысли, говоря, что ей выгоднее выйти в первый раз перед публикой нашего театра в роли «Орлеанской девицы», но она оставалась непреклонна. Дирекция, большинством голосов, решила исполнить просьбу А. А. Пасхаловой.

«Ева» была представлена 10-го октября. Поставленная наспех, с четырех или пяти репетиций, несмотря на то, что роль Евы играла Пасхалова, Иоганна Гартвига — Судьбинин, Элимара — Анчаров-Эльстон, «Ева» не имела успеха.

На представлении «Ганнеле» 8-го октября произошла ссора Суворина со мной, едва не окончившаяся моим уходом из театра кружка навсегда.

Шла «Ганнеле», с Надеждиной в заглавной роли. Дублерка Домашевой, способная, начинающая артистка как нельзя более по своей внешности подходила к роли Ганнеле. И хотя Надеждина была менее опытна и талантлива, чем Домашева, но обладала большим драматизмом и мягким, прекрасного тембра голосом.

Во время антракта между первым и вторым актом «Ганнеле» на сцену стремительно вошел Суворин.

— Это черт знает что такое! Так, в конце концов, невозможно ставить!... — громко кричал он, направляясь ко мне.

— Прежде всего не кричите, Алексей Сергеевич... На сцене, да еще во время спектакля, кричать нельзя...

— Но, позвольте, собственно говоря, это безобразие!

— Повторяю, здесь кричать нельзя... А если вы хотите мне что-нибудь сказать, пожалуйста ко мне в режиссерскую...

Я направился в свою маленькую конуру, где в это время находились: А. П. Коломнин, П. П. Гнедич, Н. О. Холева и А. Н. Маслов.

Суворин последовал за мной.

— Что вы мне хотели сказать? — обратился я к Суворину.

— Это Бог знает что!.. Зачем у вас бургомистр, входя, раздается!.. Я был в Германии, там никто не снимает пальто,



входя... Что это вы придумали?... Откуда вы взяли, собственно говоря?..

— Я в Германии не был и готов верить вам, что там пальто не снимают... Но я не знаю, кому больше верить, вам или Гауптману...

— Как?... Что такое!.. Что такое, позвольте, вы говорите...

— А то, что у автора есть ремарка, которую актер буквально исполняет...

— Где же эта ремарка, собственно говоря?..

Я потребовал у суфлера экземпляра пьесы и показал Суворину напечатанную ремарку.

Алексей Сергеевич, видимо, несколько смутился.

— Да, действительно, у Гауптмана это есть... Но Никитина у вас в валеных калошах, — снова возвышая голос, начал Суворин. — И вообще я, собственно говоря, не желаю, чтобы роль Ганнеле играла эта Надеждина...

— А я вам должен сказать, Алексей Сергеевич, — остановил я его, — что я не метранпаж «Нового Времени» и на себя кричать никому не позволю. А потому не надо мне вашего меду, не трогайте моего хлеба... Я проведу сегодняшний спектакль, а завтра буду считать себя свободным от режиссерства в вашем театре...

— Пожалуйста! — крикнул Суворин и убежал из комнаты.

А. П. Коломнин и Н. О. Холева стали меня успокаивать, уговаривали не покидать театра и не придавать значения словам Суворина, сказанным сгоряча.

Я остался при решении уйти из дела и условился с П. П. Гнедичем завтра в час дня встретиться с ним в театре, чтобы сдать ему пьесы, монтировки и все прочее.

Весть о моей ссоре с Сувориным и об отказе от режиссерства быстро разнеслась по театру.

Когда я уезжал после спектакля домой, в коридоре меня встретили все участвовавшие в пьесе артисты, во главе с Орлевым и Михайловым.

Услышав лично от меня, что я, действительно, оставляю режиссерство, они заявили мне, что они также уйдут, так как контракты они заключили со мной, а без меня они не хотят служить в этом театре.



Я был, конечно, тронут их сочувствием, но просил их не бросать дела, имеющего будущность... И вообще не затевать никаких демонстраций по поводу моего ухода.

Когда на другой день я приехал в театр, чтобы сдать Петру Петровичу книги, на сцене уже собралась поголовно вся труппа. Актеры волновались. Они упрашивали меня остаться режиссером, хотели идти к Алексею Сергеевичу объясняться по поводу вчерашнего инцидента.

На сцену неожиданно для всех быстро вошел Суворин, в шубе и шапке, и, подойдя ко мне, громко сказал при всей труппе:

— Я вчера накричал на вас, Евтихий Павлович... Я был неправ, прошу вас простить меня... Я старик, нервный, вспыльчивый человек... Прошу вас забыть вчерашнюю нашу ссору, простить меня и остаться режиссером.

Актеры закричали:

— Оставайтесь, Евтихий Павлович, оставайтесь!..

Я, признаюсь, не ожидал такого сердечного, искреннего порыва от Суворина. Меня поразило его извинение, сказанное так открыто и добродушно.

Растроганный, я, ничего не говоря, пожал ему руку.

— Я на вас накричал, да ведь и вы тоже кричали... Мы квиты! — добродушно улыбаясь, сказал Алексей Сергеевич, беря меня под руку и уводя в режиссерскую.

— Я, собственно говоря, очень рад, что мы примирились... Вы не можете представить, что мне писали за границу про вас... и что мне говорили здесь, когда я приехал... Какие гадости!.. Какие сплетни!.. У меня голова сделалась как котел от всех этих интриг и сплетен... Все время настраивали против вас.

— Не стоит об этом говорить, Алексей Сергеевич... Вы теперь будете здесь и сами все увидите, — ответил я.

— Ах, да, — вспомнил Суворин. — Я вам забыл сказать — нам разрешили постановку «Власти тьмы».

И он вытащил из кармана экземпляра дешевого издания пьесы, скрепленный цензурой.

Я чуть не вскрикнул от радости.

— Тут кое-что зачеркнуто... Жаль, конечно... но, я думаю, мы, немного погодя, выхлопочем, чтобы нам это восстановили... Это не важно...



Вычеркнут цензурой был весь монолог Митрича в третьем акте о банке. Одно из лучших мест драмы¹⁾.

— Кто у нас играть будет? — спросил Алексей Сергеевич. Мы совместно начали распределять роли.

— Матрену вы наметили кому? — спросил Алексей Сергеевич.

— Чижевской.

— Она подойдет, — сказал, раздумывая, Суворин. — А не пригласить ли нам для этой роли Стрепетову?

— Это было бы превосходно... Но станет ли она играть старуху? — усомнился я.

— Попробуем... я сам с ней поговорю, — торопливо вставая, сказал Суворин. — А вы, Евтихий Павлович, сейчас же принимайтесь за монтировку пьесы. Надо спешить...

На афишах императорских театров уже появились анонсы, что в бенефис Н. В. Васильевой, в среду 18-го октября, идет в первый раз драма «Власть тьмы» Льва Толстого. В газетах заpestрели заметки о постановке пьесы. Публика ждала, волновалась. Билеты, как сообщали газеты, все были разобраны.

Когда я сообщил А. С. Суворину, что «Власть тьмы» 18-го идет в Александринском театре, Алексей Сергеевич сказал:

— А нельзя ли нам, Евтихий Павлович, предупредить постановку Александринского театра?... Хорошо бы...

Мысль о том, что на мою долю выпадет честь поставить «Власть тьмы» впервые в театре, так меня окрылила, что я, не задумываясь, ответил:

— Поставим.

Сказал я это сгоряча.

Когда я перечел пьесу, меня охватило сомнение и страх. Мне страшно стало ответственности и перед гениальным автором, и перед публикой, и перед самим собой.

В Александринском театре для пьесы «Власть тьмы» были уже давно написаны декорации художниками, ездившими для этого в Тульскую губернию. Оттуда же были привезены костю-

¹⁾ После пятого представления пьесы цензура восстановила это место. *Авт.*



мы и бутафория. Пьеса уже давным-давно разучена артистами и срепетована. А у нас ровнехонько ничего, и всего семь-восемь дней срока до первого представления. Ни декораций, ни костюмов, ни бутафории, ни даже расписанных ролей... Как необдуманно взвалил я на себя такую задачу, решившись в неделю поставить такую пьесу, как «Власть тьмы»... Мне самому надо изучить пьесу, распланировать декорации, наметить *mise en scene*, разобраться в характерах действующих лиц, поставить ряд народных сцен, подобрать величальные, свадебные песни и проч. А актеры?.. Смогут ли они в такой короткий срок приготовить роли, передать все характерные и бытовые особенности народных типов, их языка, всей повадки крестьян?..

Но долго раздумывать было некогда... Всякая минута дорога... И я с какой-то невероятной, бешеной энергией принялся за дело.

В тот же день я раздал всем участвующим в пьесе артистам книжки «Власти тьмы». Роли были распределены так: Петр — Марковский, Анисья — Холмская, Акулина — Никитина, Анютка — Домашева, Никита — Судьбинин, Аким — Михайлов, Матрена — Стрепетова, Марина — Пасхалова, Митрич — Красовский, кума Анисья — Чижевская, Сват — Макаров-Юнев. Тут же я пригласил известного знатока русских народных песен А. А. Архангельского и попросил его подобрать для хора несколько величальных, свадебных песен Тульской губернии, приготовить их ко второй репетиции с хором с тем, чтобы я мог выбрать подходящие песни для пьесы. Покончив это дело с г. Архангельским, я занялся с декораторами, бутафорами и костюмерами.

Кроме Суворова, постоянного нашего декоратора, был приглашен талантливый художник-декоратор Аллегри.

Им в пять дней, или, вернее, суток, предстояло написать четыре сложных декорации: избу, улицу деревни, внутренность двора и гумно. Несмотря на все мои увещевания и просьбы, они наотрез отказались. Тогда мне пришла в голову мысль соединить две декорации в одну. Написать внутренность двора вместе с задворками и гумном. Так часто строятся у нас в деревнях Орловской и Тульской губерний. В четвертом действии поставить внутренность двора с погребом, а в первой картине пятого



действия отнести внутренность двора вглубь сцены, а на первом плане поставить задворки, с гумном. Аллегри согласился написать эту декорацию, а И. А. Суворов, по моему плану, взялся написать избу и улицу деревни.

Аллегри никогда не бывал в деревне средней России, и мне пришлось при помощи рисунков подробно объяснять ему, чего я от него хочу. Делать макеты было некогда, пришлось довольствоваться легкими карандашными набросками. Дело с декорациями, слава Богу, уладилось. Но дальше как быть с костюмами и бутафорией? Мне непременно хотелось достать подлинные деревенские костюмы Тульской губернии. Телеграфирую знакомой помещице в Тульскую губернию, прося ее закупить и немедленно выслать рубахи, зипуны, свитки, паневы, кички, повойники, лапти... Отвечает отказом. Тогда вспоминаю, что у Прибыткова играли в любительском спектакле «Власть тьмы» и посылаю с письмом туда. С величайшею любезностью г. Прибытков присылает несколько подлинных рубах, панев и зипунов. Остальные костюмы подбираем по образцам. И это дело уладилось... За ткацким станком, сохой, бороной, телегой и другими деревенскими хозяйственными вещами посылаю бутафора в село Рождество к знакомому крестьянину.

Дело постановки кипит.

Никогда, ни прежде, ни после, мне не случалось видеть в театре такой дружной, согласной, живой, поистине художественной работы... Но... Да, и тут было свое «но»...

Ночью перед первой репетицией я еще раз проштудировал внимательно пьесу, наметил *mise en scene*, согласно выработанному мною плану декораций, и утром принялся за постановку на сцене. Труппа была хорошая, дружная, работающая, жила со мной душа в душу. Первая репетиция шла стройно, нервно, энергично. Вдруг, среди репетиции, меня просит к себе в директорскую А. П. Коломнин и сообщает, что дирекция предполагает пригласить для постановки «Власти тьмы» А. А. Потехина. Известие это как обухом ударило меня по голове. Помню, что, услышав это, я сидел несколько секунд, как потерянный. Добрый, прекрасно относившийся ко мне Алексей Петрович стал меня утешать. Я отвечал, что высоко ценю А. А. Потехина как



знатока народной жизни, как талантливого писателя и руководителя театра, понимаю желание дирекции поручить ему постановку «Власти тьмы», но оставаться режиссёром не могу. До вечера я жду ответа.

Не знаю до сих пор, кому пришла мысль пригласить А. А. Потехина, не знаю, велись ли с ним об этом переговоры, не знаю, почему мысль эта была оставлена. Во всяком случае, постановка драмы «Власть тьмы» осталась за мной.

На второй репетиции А. С. Суворин сообщил мне, что П. А. Стрепетова изъявила согласие играть в пьесе «Власть тьмы» роль Матрены. Г-жа Чижевская с неохотой уступила роль Матрены и взяла небольшую роль кумы.

Имя П. А. Стрепетовой было для меня еще с детства окружено ореолом. Я видел П. А. юношей в лучших ее ролях: Катерины в «Грозе», Лизаветы в «Горькой Судьбине». Легко представить, как я был обрадован согласием П. А. Стрепетовой. Я предчувствовал, что Стрепетова внесет в изображение Матрены не только правдивые бытовые черты, но вместе с тем захватит публику силой своего трагизма.

Появление П. А. Стрепетовой на репетиции было встречено всеми участвующими с искренней радостью. Отношение к делу П. А., ее сценическая дисциплина, ее готовность входить в самые мельчайшие детали работы, ее аккуратность придавали артистам еще более старания и тщательности.

Медлить было некогда. Со второй репетиции, разобравшись в местах, я требовал, чтобы артисты давали интонации, заботясь об общем тоне пьесы. Образный и необыкновенно типичный крестьянский, разговорный язык, каким написана драма, требовал от актеров простых и вместе с тем глубоко жизненных интонаций, большого знания народной речи и ее своеобразных особенностей.

Помимо моей основной задачи — показать во всех деталях психологическое развитие драмы — необходимо было дать в возможно ярких подробностях картину жизни деревни средней России.

Мне хотелось, чтобы в декорациях, в бутафории, в одежде, в говоре, в песнях, в движениях, во всем чувствовалась деревня.



Сколько труда и внимания надо было положить на то, чтобы актеры перевоплотились в крестьян средней России, которые так бесподобно правдиво выведены на сцену Л. Н. Толстым; чтобы их походка, говор, умение браться за крестьянскую работу, умение носить мужицкую одежду производили со сцены жизненное, подлинное впечатление. Чтобы это были не ряженные, а «заправские» бабы и мужики.

Особенно трудно было добиться правильных, однородных крестьянских интонаций с артистами, уроженцами разных губерний России, из которых одни «окали» по-волжски, другие «ака-ли» по-московски, третьи «гака́ли» по-малороссийски. Работа была трудная, напряженная, полная строжайшего внимания и одухотворенная страстным желанием не уронить в глазах публики одно из величайших созданий русской литературы.

Надо отдать справедливость артистам: все, начиная с П. А. Стрепетовой и кончая последним выходным, с охотой принимали мои указания, интонации, толкования народных выражений, обычаев, зная, что я уроженец средней России, жил среди народа, и веря в меня как режиссера.

С каждой репетицией я воочию видел, как разворачивается пьеса. Передо мной проходила живая, трогательная, ужасная по своей бессмысленной жестокости картина деревни, живущей во власти тьмы, полная удивительных, бытовых подробностей. И чем дальше шли репетиции, тем меня все более и более увлекала драма.

Уже мне ясно представлялся слабохарактерный, испорченный «чугункой», добрый и чистый по натуре Никита в изображении Судьбинина. Разумный, хотя и темный Митрич — Красовский, изумительно передававший уверенный тон обученного в полку солдата, из которого никакая муштра не могла выбить здравого смысла и чуткой совести. Шустрая девчонка Анютка — Домашева, жалостливая и пугливая; красавица, «крепкая, как бобочек», придурковатая, глухая Акулина — Никитина; по-своему добрая и любящая, мягкая сердцем, влюбленная Анисья — Холмская, под влиянием животной страсти отравляющая мужа... И благодухный Аким, русский мужицкий праведник, не то дурак, не то святой, в изображении Михайлова. И нудный, носа-



тый Петр... Шумят уже в третьем акте бабы, видна их злобная ревность... И голоса звучат бранчливо, и руки ходят правильно. Вот уже в четвертом акте и свадьба чувствуется. На фоне заунывных, чудных, деревенских свадебных величаний слышится пьяная, разгульная песнь сватов, гармоника и топот залихватской пляски...

Труднее всего налаживалась последняя картина пятого акта. Все на своих местах, все знают свои реплики, переходы. В избе душно от народа, так она вся набита людьми, и в окнах рожи любопытных, и на полатах — дети с Анюткой едят пироги. Но я еще не чувствую жизни во всей этой сложной картине. Мало одушевления, подъема, мало «веселой свадьбы», на которой «пьяные все, уж так-то почетно, хорошо так...»

На пятой репетиции случился инцидент, едва не погубивший все дело.

В четвертом акте, когда Никита пьяный приезжает из города и ломается перед женой, А. С. Суворину, сидевшему в ложе, показалось, что И. И. Судьбинин ведет эту сцену утрированно, с большим опьянением, чем нужно.

А. С. Суворин, будучи, как и все, нервно настроен, закричал из ложи:

— Послушайте, что вы так ломаетесь... Этого совсем не нужно.

И. И. Судьбинин, не ожидавший такого окрика, остановился среди действия, посмотрел пристально в зал и ушел со сцены. Репетицию пришлось прервать... Я бросился к Судьбину. Он уже надевал шубу, чтобы идти домой и никогда больше не переступать порога Малого театра. Много усилий стоило мне уладить дело. Уставший от напряженной работы, нервно разбитый, оскорбленный тоном замечания, Судьбинин и слушать ничего не хотел. Иду к Алексею Сергеевичу, уговариваю его поговорить с Судьбининым... А. С. Суворин сам пошел объясняться к Судьбину. Дело уладилось. Мы начали четвертый акт с начала. Он прошел на редкость хорошо. Стройно и с большим настроением. Все были как-то особенно в ударе: Холмская, Никитина, Домашева, Чижевская, Судьбинин, Михайлов, Красовский. Все без исключения...



Накануне спектакля состоялась генеральная репетиция «Власти тьмы». Партер был наполнен литераторами, артистами, журналистами, рецензентами. Среди публики были — А. А. Потехин, Д. В. Григорович, В. П. Буренин, С. А. Толстая с дочерью и сыном, Львом Львовичем Толстым, и мн. др.

Пьеса шла на удивление стройно. Кое-какие погрешности постановки и игры актеров покрывались общим подъемом исполнения. Сцена ссоры Анисьи и Акулины и уход Акима вызвали шумные аплодисменты. Успех пьесы рос с каждым актом. Особенно захватывающее впечатление произвели третий, четвертый и пятый акт. Я очень боялся, что закулисные звуки: песни девушек, пляски, говор толпы, гармоника, звон бубенцов, пьяные выкрики — помешают тому, что происходит на сцене. Но и это удалось ввести в должную меру.

Игра П. А. Стрепетовой на генеральной репетиции была прямо поразительна. Стрепетова создала, по моему мнению, удивительный образ. Не злодейку-отравительницу и убийцу изобразила она. Нет, она создала тип старухи-крестьянки, которая натерпелась в жизни уйму горя, нужды, бедности, колотилась весь век, изворачивалась, унижалась, чтобы не умереть с голоду, и вынесла из такой горемычной, каторжной жизни убеждение, что только деньги дают обеспеченное, желанное, спокойное существование. Совесть, грех, душа — все это пустяки. Были бы деньги — все хорошо будет... «И не пахнет»... Вся ее жестокость при отравлении Петра, изворотливость со сватом при отдаче замуж Акулины, ее бесчеловечность и видимое хладнокровие при удушении ребенка, все это для того, чтобы ее «карасик» Никита, ее «сынوك роженный», честно, благородно, на зависть людям, ни в чем не нуждаясь, прожил свой век.

Притворно-ласковая, мягкая до приторности в сценах с умирающим Петром, беспощадно-настойчивая, когда внушает бесхарактерной Анисье убийство мужа, грубая с мужем, она искренно трогательна и нежна, как с ребенком, с Никитой. Она прекрасно оттенила перед Анисьей бесполезность как хозяина и мужа «исчадевшего» Петра, раздражила ее воображение жизнью со здоровым Никитой, заранее позаботилась о том, кому



достанется двор и хозяйство, когда умрет Петр, она выдает за муж Акулину, она душит ребенка. Везде она хлопочет для блага Никиты.

В сцене закапывания в погребке ребенка П. А. Стрепетова возвысилась до трагизма. Когда Анисья, в бешенстве, начинает кричать: «Народ!.. э-э...» — Стрепетова, как тигрица, бросилась на нее, зажала ей рот и страшным трагическим шепотом произнесла:

— Что ты... Очумела!.. Он пойдет...

Затем тяжело перевела дух, выдержала паузу, подошла к Никите и, глядя его по голове, произнесла необычайно ласковым голосом:

— Иди, сынок, иди, роженный...

Вся эта сцена шла хорошо, но этот момент производил потрясающее впечатление.

По мере того, как я пишу воспоминания, в моей голове встают все новые и новые подробности постановки и исполнения. Мне очень хотелось бы все это запечатлеть на бумаге... Но ни время, ни размеры статьи не позволяют этого.

Генеральная репетиция окончилась.

Несмотря на то, что две декорации, улица и часть гумна, были неокончены, что значительно ослабляло впечатление, несмотря на кое-какие грехи актеров, исполнение пьесы произвело сильное впечатление. Со всех сторон меня поздравляли,жимали руки. Особенно памятно и дорого мне отношение А. А. Потехина и Д. В. Григоровича, хваливших верность и тщательность бытовой обстановки, правильность тона, в котором выполнена вся пьеса.

В день спектакля я не назначал утром репетиций, дал артистам отдохнуть, а сам весь день, не выходя, пробыл в декоративной мастерской, вместе с маляром (декоратор И. А. Суворов заболел от переутомления), доканчивая декорацию сарая и покрывая соломой крышу. Только в семь часов вечера в день спектакля были спущены из декоративного зала на сцену полусырые декорации.

Наконец, 16-го октября, в понедельник, за день до представления «Власти тьмы» в Александринском театре, состоя-



лось первое в России публичное представление знаменитой драмы.

Зал был переполнен. Пьеса прошла с возрастающим громадным успехом. Исполнителей вызывали без конца. После каждого акта вызовы автора становились все настойчивее и шумнее. Публика потребовала, чтобы Л. Н. Толстому была отправлена телеграмма.

Смушенный, взволнованный до слез, я вышел на сцену, сказал довольно несвязно несколько слов к публике и прочел текст телеграммы.

И опять бурные, долго не смолкавшие овации.

«Власть тьмы» была сыграна.

Пресса единогласно констатировала большой успех драмы, одобрила исполнение артистов и постановку.

«Власть тьмы» прошла в сезон двадцать девять раз, при переполненных сборах, по возвышенным ценам, принеся в кассу дирекции театра более пятидесяти тысяч. Пьеса шла три-четыре раза в неделю, но могла бы идти ежедневно весь сезон, давая полные сборы, если бы не желание Алексея Сергеевича ставить в репертуаре театра другие, намеченные заранее пьесы.

Я помню, когда «Власть тьмы» прошла раз двенадцать, Суворин, просматривая представленный мною репертуар на следующую неделю и увидав, что «Власть тьмы» поставлена четыре раза, недовольный, проворчал:

— Опять «Власть тьмы», да еще четыре раза... Надоела она мне... Хоть бы что-нибудь новенькое...

На мое возражение, что «Власть тьмы» делает сборы и нравится публике, Алексей Сергеевич, добродушно улыбаясь, ответил:

— Конечно, вы правы: публика ходит — надо ставить... но только мне-то скучно в театр ездить... Все одно и то же...

Постановкой пьесы Л. Толстого театр Литературно-Артистического кружка упрочил за собой в печати и в публике репутацию серьезного художественного предприятия.



V

Приглашение меня главным режиссером императорских театров. — Мой ответ К. Р. Гершельману — Переговоры с А. П. Коломниным и А. С. Сувориным. — Визит к Ив. А. Всеволожскому. — Отношения мои с А. С. Сувориным. — Дальнейшая работа в театре кружка. — Изобилие постановок. — «Чужие» И. Н. Потапенка — «Родина» Зудермана — «Месяц в деревне» Тургенева. — «Орлеанская дева» Шиллера. — «В тисках» Поля Эрве и «Тайны души» Меттерлинка. — «Около денег» Потехина. — «Выдержанный стиль» Потапенка. — «Гость» Брандеса. — «Венецианская актриса» В. Гюго. — «Равенский боец» Гальма. «Принцесса Греза» Ростана. — «Муравейник» Смирновой. — «Марсель» В. Сарду. — «Бедность не порок» Островского.

Вскоре после первого представления в нашем театре «Власти тьмы» меня как-то, во время репетиции, попросил к телефону управляющий конторой императорских театров К. Р. Гершельман.

От имени директора он предложил мне занять должность главного режиссера драматической труппы императорских театров, сообщив, что у В. А. Крылова вышел инцидент с артистами и он покидает свой пост.

— Хорошо бы, если бы вы могли теперь же занять его место... — сказал мне Гершельман.

Я ответил, что в настоящий момент ничего не могу окончательно сказать, не переговорив с Сувориным, но, во всяком случае, не считаю себя вправе покинуть театр кружка среди сезона.

Попросив Константина Романовича передать глубокую благодарность директору, я сказал, что, переговорив с Алексеем Сергеевичем, лично повидаясь с И. А. Всеволожским.

Неожиданное приглашение на императорскую сцену, конечно, радостно взволновало меня. Я поспешил поделиться новостью с бывшим в театре А. П. Коломниным.

Добрый Алексей Петрович горячо посочувствовал мне, он одобрил мое намерение докончить сезон в театре кружка, а затем перейти на императорскую сцену.

Вечером того же дня я сообщил А. С. Суворину о сделанном предложении и мой ответ. Видимо, предупрежденный уже Коломниным, Алексей Сергеевич сказал:

— Мне, конечно, жаль, что вас берут от нас... Вы знаете, я, собственно говоря, полюбил вас после нашей ссоры... Как ре-



жиссера я вас особенно оценил при постановке «Власти тьмы». Не хотел бы я, чтобы вы уходили, но я, голубчик, понимаю, что императорская сцена даст вам больше простора... Да и главное режиссерство там всякому лестно... Дай вам Бог всего хорошего... — он дружески, крепко пожал мою руку.

В первое же свободное от репетиций утро я поехал к директору.

У И. А. Всеволожского мне приходилось и раньше бывать не раз. Визиты мои к нему были кратковременны, ограничиваясь переговорами о постановке моих пьес на сцене Александринского театра. Впервые мне довелось беседовать с Иваном Александровичем более или менее продолжительно, подробно обменяться мнениями о положении дел в драматической труппе императорских театров.

Я не намерен передавать здесь нашу беседу, скажу только, что Иван Александрович произвел на меня впечатление тонкого знатока искусства, человека европейски образованного, утонченно-деликатного и тактичного.

Сказав, что обо мне, как режиссере, он слышал от А. А. Потехина, Д. В. Григоровича и А. Е. Молчанова, директор предложил мне заключить условие на три года, назначив, как главному режиссеру, содержание — пять тысяч рублей в год.

Покончив принципиально вопрос о моем поступлении на службу императорских театров, с 1-го мая 1896 года, я счел необходимым сообщить Ивану Александровичу, что в юности был замешан в политическое дело и провел несколько лет в административной ссылке.

Выслушав мою историю, Иван Александрович сказал, что мое прошлое едва ли помешает мне занять место главного режиссера, но что он, на всякий случай, снесется по этому поводу с министром внутренних дел.

Вскоре я узнал, что департамент полиции не встретил препятствий к поступлению моему на императорскую сцену¹⁾.

¹⁾ Думаю, что этим я весьма обязан А. П. Колومнину и А. Е. Молчанову, по собственному почину хлопотавшим за меня перед директором полиции Зволянским.



С А. С. Сувориным у нас установились хорошие отношения, не нарушаемые никакими инцидентами до конца сезона, несмотря на закулисные интриги и подкопы.

«Власть тьмы» продолжала собирать полный театр. Дирекции на было надобности спешить с постановкой новых пьес, но Алексей Сергеевич настаивал, чтобы каждую неделю шла новинка. Он основывал свое требование на том, что дирекция должна выполнить обещания, данные авторам, — поставить их пьесы в текущем сезоне и, кроме того, дать возможность играть выдающимся артистам труппы, не занятым во «Власти тьмы».

Пьесы посыпались, как из рога изобилия. Ставились они с пяти-шести репетиций, а то и меньше, наспех, с нетвердым знанием ролей, что, конечно, отражалось на исполнении отдельных артистов и на ансамбле.

24-го октября была поставлена драма «Чужие» И. Н. Потапенка, на вечно новую тему отношений между отцами и детьми. Пьеса имела успех у публики, но пресса нашла ее тенденциозной и мало разработанной.

31-го октября — «Родина» Зудермана для Л. Б. Яворской; 12-го ноября — «Свои собаки грызутся» Островского, 14-го — «Месяц в деревне» Тургенева. Роль Натальи Петровны должна была играть Глама-Мещерская, прекрасно репетировавшая ее, но в день спектакля по болезни она отказалась играть и вышла из состава труппы. На спектакле ее экспромтом заменила Холмская, не раз исполнявшая эту роль на провинциальных сценах. 16-го шла «Женитьба» Гоголя, где роль Подколесина чудесно играл М. А. Михайлов.

«Орлеанская дева» была исполнена 21-го ноября. Обставленная прекрасно написанными, художниками Аллегри и Суворовым, декорациями, тщательно сделанными по рисункам П. П. Гнедича, костюмами и бутафорией, хорошо срепетованная, трагедия Шиллера имела успех. А. А. Пасхалова, талантливая драматическая артистка, в верных тонах сыграла роль Орлеанской девы, прекрасно читая стихи, но не захватила зрителей своим исполнением, требующим от артистки трагического подъема и большой силы голоса.



Для Л. Б. Яворской, 28-го ноября, была поставлена драма Поля Эрвье — «В тисках». В этом же спектакле шла пьеса Метерлинка — «Тайны души», в переводе В. П. Буренина. Скандал, разыгравшийся на этом спектакле, надолго останется у меня в памяти.

Гладко прошла пьеса П. Эрвье. Игра Л. Б. Яворской, в роли страдающей Ирэн Ферган, произвела на публику сильное впечатление. Пьеса окончилась под аплодисменты всего зала.

Началось представление «Тайны души», весьма тонкой психологической драмы Метерлинка.

Пьеса эта была особенно тщательно обставлена и срепетована, при участии переводчика В. П. Буренина. На генеральной репетиции «Тайны души» производили таинственно-жуткое впечатление.

Содержание пьесы таково: вечером в уютно обставленной комнате мирно коротает время дружная семья.

Отец у горящего камина, в покойном кресле, читает книгу. Мать и две дочери заняты рукоделием при свете стоящей на столе лампы.

Тишина и спокойствие царят в семейном уголке.

В освещенные окна дома ясно видна эта картина ничем не нарушаемого, спокойного счастья.

Вот одна из дочерей подняла голову и, чем-то встревоженная, встала. Задумчиво подойдя к окну, она смотрит в непроглядную тьму ночи... Мало-помалу семью охватывает непонятное, инстинктивное предчувствие чего-то страшного, неведомого, рокового... Настроение тревоги все разрастается, заражая всю семью...

Хотя публика не слышит, что говорится внутри дома, но ясно видит, по выражению лиц и движениям находящихся там, как ужас перед каким-то неожиданным ударом судьбы нарушает их спокойную жизнь.

И, на самом деле, ужасное свершилось. Одна из дочерей этой семьи бросилась в озеро и утонула. Старик и Чужой, видевшие утопленницу, приходят сообщить об несчастье семье, но не решаются сразу войти в дом с такой вестью.

Старик смотрит в окно и передает Чужому, что там делается, как подкрадывается тревога и безотчетный страх в эту счастливую семью.



Когда толпа поселян выносит труп девушки, одна из сестер, увидя входящего в комнату старика, с ужасом бросается из дома, поняв, что с сестрой случилось непоправимое несчастье...

Из моего краткого, набросанного по памяти пересказа пьесы Метерлинка, думаю, можно заключить, какая трудность предстоит артистам, желающим вызвать в зрительном зале должное впечатление.

Кончился антракт. Открывается занавес. Начинается представление «Тайн души».

В синем сумраке ночи горят огнями окна уютного домика. Мирная картина счастливой семьи. Уходящая вглубь густая, темная аллея упирается в берег озера, спокойного, отливающего свинцовым, матовым, зловещим блеском.

Публика притихает.

Вот из мрака аллен выходит Михайлов и Марковский (Старик и Чужой).

Я замечаю, что у Михайлова-Старика — нетвердая походка.

«Зачем это он придумал... На репетициях никогда так не ходил!.. Ох, уж эти мне сюрпризы!..» — думаю я с досадой. Слушаю — язык у Михайлова заплетается.

Догадался, и с замиранием сердца жду: что-то будет?..

Пронеси, Господи!

Артисты, исполняющие роли членов семьи, делают хорошо свое дело... Но Старик-Михайлов коснеющим языком мелет нестерпимую чушь... и все невпопад.

Публика переглядывается, улыбается, кое-где слышны смешки... Актер, играющий отца, встает с кресла.

А Михайлов, стоя задом к окнам, говорит: «Вот удрученный отец опустил в кресло...»

Смех в публике.

Одна из дочерей поправляет лампу.

Михайлов говорит: «Вот одна из девушек подошла к окну и смотрит... Хоть сто лет будет смотреть — все равно ничего не увидит...»

В публике взрыв хохота.

Дальше — больше. Что ни фраза Михайлова, то хохот пуше.



Когда мать, стоя, обнимает дочку, Михайлов вешает: «Они заперлись на задвижку и сидят на диване...»

В это время в партере слышится, среди неистового хохота, голос отчаяния: «Батюшки, не могу... Голубчики, довольно!..»

И снова взрыв гомерического смеха.

Бледный, взволнованный, прибежал за кулисы Алексей Сергеевич...

— Что же это такое, собственно говоря?.. Михайлов все перепутал... Что за безобразия!.. Он роли не знает...

— Да разве вы не видите, Алексей Сергеевич, что он не в своей тарелке... Оттого и путает...

— Да неужели?! Я, признаться, не мог понять, что с ним!.. Как же вы его выпустили... Ведь это черт знает что!..

— Перед открытием занавеса говорил с ним и, винюся, ничего не заметил...

— Что же делать?.. Надо опустить занавес... Вы слышите, что происходит в публике...

В зрительном зале стоял непрерывный хохот, шум, слышались протестующие голоса, шипение и свист.

Я выпустил раньше времени на сцену процессию поселян, несущих утопленницу... И опустил занавес. Пьеса кое-как закончилась.

М. А. Михайлов, оказалось, страдал запоем. После этого случая он в продолжение двух недель не появлялся в театре.

Роль Старика в «Тайнах души» была передана Марковскому, так как Алексей Сергеевич настаивал, чтобы эта пьеса была в репертуаре. «Тайны души» прошли несколько раз при среднем успехе.

Спустя дней десять после знаменательного представления пьесы Метерлинка, узнав от кого-то из актеров, что Михайлов пришел в себя и сожалеет показаться в театр, я перед репетицией утром заехал к нему.

Он жил в дешевеньких грязных меблированных комнатах на Вознесенском проспекте.

Постучав и услышав за дверью хриплое «войдите», я переступил порог тесной, полутемной комнаты и остановился.



На койке, на грязном тюфяке, ничем не покрытом, сидел Михайлов, одетый в затасканное рыжее, летнее пальто и рваные брюки, в опорках на босу ногу.

Упершись руками в тюфяк, он дико смотрел на меня полубезумным взглядом воспаленных, стеклянных глаз.

Не столе, около кровати, стояла недопитая бутылка водки, на оберточной бумаге — два соленых огурца. Вдоль стены, на полу, целая батарея пустых бутылок.

— Кто такой?.. Что надо?.. — прохрипел Михайлов, не спуская с меня удивленных глаз.

— Здравствуйте, Михаил Адольфович!.. — сказал я, протягивая руку.

Он подавленно ахнул, закрыл руками багровое, опухшее лицо и заплакал, вздрагивая всем телом.

Я стал утешать его.

— Не говорите... не говорите... Я несчастный, погибший человек. Я никогда не прощу себе... На сцене... в спектакле!.. Никогда!.. Я уеду... не приду больше в театр... — выкрикивал он, истерично рыдая.

Растерянно пожав его руку и взяв с него слово, что он, как только поправится, придет в театр, я ушел от Михайлова в крайне подавленном настроении.

Вскоре я получил от него письмо, полное раскаяния, извинений и обещаний навсегда бросить пить.

Алексей Сергеевич, интересовавшийся Михайловым как актером, прочтя это письмо, никому ничего не сказав, поехал к нему и сам привез его в театр.

П. А. Стрепетова, участвовавшая только во «Власти тьмы», несколько раз обращалась ко мне с просьбой поставить для нее пьесу, где бы у нее была центральная трагическая роль.

— Для всех ваших артисток ставят пьесы в этом театре, а для меня и пьесы нет... — говорила она желчно, с раздражением. — Что я, обсевок в поле, что ли?.. Не хуже я ваших актрис... Я с тем и соглашалась играть Матрену, чтобы для меня непременно поставили «Грозу» и еще какую-нибудь пьесу... Алексей Сергеевич сам мне обещал...



— Раз обещал Алексей Сергеевич, приглашая вас играть Матрену, — я, конечно, ничего против не могу сказать, Полина Антиповна!..

— Вот и поставьте «Равенского борца»... Я там играю мать... А сына сыграет Судьбинин... Он тоже, кроме Никиты, ничего не играет...

Я находил, что ни Стрепетова, ни Судьбинин не подходят к ролям псевдо-классического репертуара, и предложил П. А. Стрепетовой сыграть «Около денег» Потехина, где она когда-то на Александринской сцене бесподобно играла Степаниду.

— Я «Около денег» сыграю с удовольствием, — ответила Полина Антиповна, — а вы все-таки и «Равенского борца», и «Грозу» непременно поставьте... Мне Алексей Сергеевич обещал. 5-го декабря была сыграна пьеса «Около денег».

Стрепетова с сильным драматическим подъемом провела роль Степаниды, вложив в нее бездну искреннего чувства и художественных характерных деталей. Прекрасным партнером ей был Ив. Судьбинин, в роли Капитона.

Несмотря на малое количество репетиций, пьеса прошла стройно, с хорошим ансамблем.

12-го декабря с успехом прошла веселая комедия И. Н. Потапенка — «Выдержанный стиль» и «Гость» — Эд. Брандеса. 19-го декабря «Венецианская актриса» Викт. Гюго, с Яворской в роли Тизбы, Пасхаловой в роли Катарины и Анчаровым-Эльстоном в роли Родольфа.

Перед Рождеством П. А. Стрепетова решительно заявила мне, что не станет дальше играть Матрену, если на праздниках не поставят для нее «Грозу» и «Равенского борца».

Когда я сообщил ее ультиматум Алексею Сергеевичу, он сначала горячо протестовал:

— Какая она, собственно говоря, Туснельда... Матрена она будет, а не Туснельда... Да и для Катерины она уже устарела... И ничего я ей не обещал... Это она во сне видела... Я положительно протестую против постановки этих пьес... и все!..

Однако на другой день Алексей Сергеевич показал мне письмо Стрепетовой с категорическим требованием постановки заявленных ею пьес и сказал:



— Она не уступит... Придется поставить... Хотя она и стара для Катерины, а все же сыграет ее хорошо!.. Поставьте, Евтихий Павлович...

На представлении «Равенского бойца» случился трагикомический казус, подстроенный кем-то из недоброжелателей П. А. Стрепетовой.

Едва Полина Антиповна вышла на сцену и начала монолог, откуда-то сверху послышался жалобный вой собачонки.

Стрепетова опешила, смешалась, потеряла тон.

Я разослал сторожей на галерею отыскивать собаку.

Действие продолжалось. Артисты вели свои сцены, а собачонка заливалась все жалобней и громче.

В публике слышался смех.

Ясно было, что собака спрятана где-то наверху.

Я бросился по лестнице на колосники. Смотрю, следом за мной лезет Алексей Сергеевич.

Я убеждаю его спуститься, говоря, что ему трудно будет ходить по колосникам. Суворин и слушать ничего не хочет.

Обыскали мы с Алексеем Сергеевичем все галереи, все закоулки — нет собаки!.. А визг и лай все сильнее и сильнее...

По слуху мы дошли до чердака.

Ощупью, согнувшись, в полутьме, бегаем по чердаку и, наконец, обретаем собаку. Ее кто-то бросил в сетку люстры, висящей над зрительным залом. Для того, чтобы вынуть собаку, пришлось в антракте разбирать доски над люстрой и спускать на веревке человека.

Перепаханные в саже и пыли, мы с Сувориным спустились с чердака прямо в уборную Полины Антиповны, которая с пеной у рта каталась в истерике.

Послали за доктором. Привели ее в чувство и кое-как докончили спектакль.

Алексей Сергеевич страшно негодовал, требовал открыть виновника, возмущаясь подлостью театральных интриганов.

Но виновники хорошо спрятали концы в воду — их так и не нашли...

28-го декабря П. А. Стрепетова выступила в «Грозе».



Роль Катерины была коронной в ее обширном репертуаре. Еще юнцом я видел Полину Антиповну в орловском театре в этой роли. Это было удивительное создание великой артистки. Впечатление, которое она производила на зрителя, было поистине потрясающее!

В этом спектакле Стрепетову нельзя было узнать. Ни силы чувства, ни тонкости, ни искренности переживаний, ни льющегося в душу зрителя чарующего когда-то голоса.

Осталась одна заученная, внешняя техника хорошей, опытной актрисы. До слез жалко было смотреть на Стрепетову в Катерине. Старое, злое лицо, тусклый, негибкий голос, неуклюжая согбенная фигура с угловатыми движениями не в меру длинных рук.

Полина Антиповна, очевидно, сама чувствовала это. Она нервничала, ворчала на актрис и актеров, подчеркивала фразы, стараясь их ярче преподнести в публику, пронзительно громко кричала в четвертом акте в сцене покаяния. И устало, однообразным тихим голосом провела последний акт.

Алексей Сергеевич, большой поклонник Стрепетовой, пришел в полное отчаяние, смотря ее в этом спектакле.

— Куда же это все делось? — говорил он, чуть не со слезами на глазах. — Тени не осталось от прежней Катерины Стрепетовой... Смотришь — и жалко не Катерину, а актрису Стрепетову.

При обсуждении вопроса о заключении контрактов с артистами дирекцией, еще до начала сезона, было постановлено, что никому бенефисов не будет дано. Подписывая условия с актерами, я объявлял им это постановление дирекции.

В начале декабря Алексей Сергеевич заявил дирекции, что при переговорах его с Л. Б. Яворской, еще задолго до открытия театра, он обещал дать ей бенефис. Дирекции оставалось только, что называется, принять это к сведению.

Вопрос о пьесе, которую Яворская ставила для своего бенефиса, долго был обложен тайной. Наконец, я как-то спросил А. С. Суворина: что за пьесу выбрала Яворская в бенефис?..



— Пьесу Ростана «Princesse Lointaine»... — ответил он.

— Обстановочная?

— Да, придется, собственно говоря, делать декорации...

— А содержание пьесы?

— Да содержания, собственно говоря, никакого нет... Просто какая-то дура сидит на дурацком острове, какие-то дураки на дурацком корабле едут, черт их знает зачем, на этот остров. Ну, а потом — дураки уезжают, а дура, собственно говоря, остается... Вот и все содержание...

Бенефис Л. Б. Яворской был назначен на 4-е января, а только к середине декабря я имел возможность прочесть «Принцессу Грезу» в чудном, поэтичном переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Наскоро стали готовиться к постановке, требующей сложных декораций, костюмов и тщательной срепетовки массовых сцен. И это все надо было сделать во время праздников Рождества, когда каждый день ставились утренние и вечерние спектакли.

Пришлось назначать репетиции с девяти часов утра до двенадцати часов дня и, по окончании спектаклей, с двенадцати часов ночи. И артисты, и рабочие трудились до изнеможения. Л. Б. Яворская, сравнительно мало занятая в праздничном репертуаре, проходила свои сцены с Анчаровым-Эльстоном и Красовым еще у себя на квартире. Репетиции общих сцен после спектакля часто затягивались до трех-четырех часов ночи.

Уставшие, разбитые нервами актеры волновались, капризничали... Споры и пререкания возбуждались по самым пустячным поводам, и мне большого труда и напряжения нервов стоило вести репетиции.

На генеральной репетиции не были поставлены декорации, лежавшие сырыми в мастерских. Костюмы тоже не были готовы. Нельзя было испробовать освещения, а оно имело в пьесе важное значение. Пришлось всю ночь накануне спектакля провозиться с установкой декораций и освещения. Во всей этой работе деятельное участие принимали П. П. Гнедич, декораторы Аллегри и Суворов.

Бенефис Л. Б. Яворской все-таки состоялся в назначенный день.



«Принцесса Греза» шла при следующем распределении главных ролей: Мелиссанда — Яворская, Бертран — Анчаров-Эльстон, Жоффруа — Красов, Трофимий — Михайлов, Эразм — Высоцкий, Скарчафико — Самарин-Быховец.

Пьеса имела выдающийся успех.

Л. Б. Яворская и Анчаров-Эльстон красиво и стильно, с большим поэтическим воодушевлением провели свои роли. Красов трогательно играл умирающего Жоффруа.

«Принцесса Греза» до конца сезона шла по исключительно высоким ценам, давая театру полные сборы.

Сезон подходил к концу, но, тем не менее, сейчас же после «Принцессы Грезы» приступили к постановке комедии С. И. Смирновой «Муравейник», прошедшей 12-го января. 30-го, накануне масленицы, была сыграна новая, нигде не игранная комедия В. Сарду «Марсель», приобретенная Алексеем Сергеевичем у автора, с платой за рукопись, в исключительное пользование театра кружка.

3-го февраля, по назначению дирекции, состоялся мой бенефис, в котором была занята вся труппа. Шла комедия А. Н. Островского — «Бедность не порок»

4-го февраля драмой «Власть тьмы» был закончен первый зимний сезон театра Литературно-Артистического кружка.

С 17-го сентября 1895 г. по 5-е февраля 1896 года, т. е. за четыре с половиной месяца, было сыграно двадцать пять больших пьес и девятнадцать — одноактных.

Когда я теперь вспоминаю этот сезон, мне кажется невероятным, чтобы труппа могла вынести такой каторжный труд!

И какая это была дружная, веселая работа. Сколько любви к театру, сколько сил было проявлено всеми участниками дела!

А. С. Суворин принимал самое деятельное участие в жизни театра, читая пьесы, беседуя с авторами и артистами, почти всегда присутствуя на репетициях и спектаклях.

Горя пламенной любовью к театру (что не мешало ему иногда проклинать и театр, и актеров), А. С. Суворин сумел вдохнуть энергию и любовь к делу во всех с ним работающих и заложить прочный фундамент для дальнейшего существования театра.



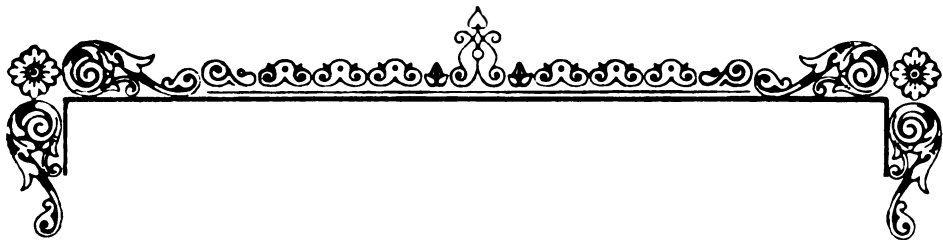
Скоро уже стукнет двадцать лет со дня открытия театра кружка. Много, очень много работников первого сезона сошло в могилу, другие разбрелись по городам и весям России. Не более двух-трех второстепенных актрис только удержались в труппе с начала до сего дня.

Немало мне пришлось потрудиться за это время для русского театра и на императорской сцене, и на частных столичных сценах. Много пришлось пережить и хорошего, светлого и дурного, но ни один сезон не оставил во мне такого глубоко-приятного воспоминания, как первый сезон основания театра Литературно-Артистического кружка.

С теплым чувством я вспоминаю всех, с кем мне привелось работать: и директоров, и артистов, и рабочих.

Все недоброе, неприятное, все мелкие закулисные интриги, уколы самолюбия и подвохи — все это стерлось временем. Одни светлые впечатления живут во мне. Любовью ко всем сотрудникам по общему делу, живым и умершим, бьется мое сердце!





В. М. ГРИБОВСКИЙ

ЧЕСТВОВАНИЕ А. С. СУВОРИНА В МАЛОМ ТЕАТРЕ



В ночь на первое мая в Малом театре состоялся праздник в честь Алексея Сергеевича Суворина «по случаю исполнившегося сорокалетия его театрально-критической деятельности» на пользу русской сцены. Предлог сам по себе оказался несколько сомнительным и погрешил против хронологических дат. Как сам виновник торжества в Малом театре печатно заявил на следующий день, текущий год -- не юбилейный год его жизни: пятидесятилетие его литературной деятельности исполнится в следующем году, а писать о театре он начал более сорока лет тому назад. Таким образом, настоящий литературно-артистический праздник явился скорее задушевным праздником круга лиц, пожелавших выразить свои лучшие чувства человеку, который в течение многих лет являлся душою этого круга, его в своем роде руководителем и искренним лучшим старшим другом. Под этим углом зрения освещено чествование А. С. Суворина и в отчете «Нового Времени» (№ 11.183), где говорится:

Статья «Чествование А. С. Суворина в Малом театре» перепечатывается из журнала «Исторический Вестник» (1907, № 6, с. 913-937). Эту публикацию В. М. Грибовский (о нем см. страницу 124) подписал инициалами В. Г.



«Великий пост на этот раз не завершал сезона Малого театра и ночь под первое мая была признана наиболее удобною для товарищеского праздника людей, проработавших вместе дружно и непрерывно в течение 9 месяцев. Во главе этой работы стоял неизменно А. С. Суворин, и вот неожиданно для себя он явился именинником этого праздника, юбиларом вне всяких юбилейных дат, явился душою общества, собравшегося 30 апреля в Литературно-Художественном театре, как был душою этого театра со дня его возникновения. 49-летняя литературная деятельность, 11-летие существования Литературно-Художественного театра, 72-летняя годовщина рождения А. С. Суворина — все это, казалось бы, совсем неюбилейные нормы. Но когда у людей находится порыв сказать дорогому человеку «спасибо», наговорить ему миллион приятных слов, для этого не надо никакого специально-юбилейного настроения. Это всегда делается само собой, неожиданно и просто, юбилей же обыкновенно высиживаются годами и, кроме тоски и ужаса в душе юбиляра, ничего не поселяют. В данном случае нечто в стиле юбилейном выросло из чисто семейной затеи среди актеров Малого театра. Решили пригласить А. С. Суворина, по традиции, поужинать с ними после окончания сезона; тут кто-то вспомнил, что А. С. состоит при русском театре, любит его и пишет о нем много-много лет... В результате же желающих провести вечер с А. С. Сувориным собралось вчера около 700 человек, а вспомнивших о критической и драматургической деятельности его оказалось уже более 150 имен, которые прислали издалека свои телеграфные приветствия».

Сам г. Суворин в своем семисотом «Маленьком письме» («Новое Время» № 11.187) так рассматривает этот во всяком случае знаменательный для него, как писателя и общественного деятеля, день:

«Никакого юбилея не было, — говорит он. — Просто актеры Малого театра хотели мне сделать милую любезность, а я, вместо того, чтоб отказаться от этого, как подобало бы скромному человеку, принял ее. Да «подобало» ли? Это еще вопрос, но только в зависимости от того, весел ли был праздник? Он был бесспорно весел, и я чувствовал себя прекрасно, как в родной



стихии, среди людей, которые относились и ко мне, как к родному. Актерская душа и душа журналиста — родные души. Они живут ежедневными интересами, минутными успехами, рукоплесканиями того же самого общества. Газета и сцена — общественные трибуны. У журналиста нет такого непосредственного удовольствия от своего успеха, как вызовы, рукоплескания и прочее; он, кроме того, и ездит на актере, иногда жалея его и бичуя без сострадания, а иногда возбуждая общество к рукоплесканиям ему. Но и он такой же актер, как и те, которых он освящает или которым рукоплещет; он так же прислушивается к обществу, к его порицаниям и похвалам и так же иногда льстит ему, как актер. Общество пользуется и тем, и другим вволю, почитывает одного, посматривает другого, находит удовольствие, даже любит; но тем не менее надо заметить такую черту: и с тем, и с другим оно еще недостаточно примирилось; в нем еще есть некоторая грубая или некоторая аристократическая вражда и к журналисту, и к актеру, вражда, затаенная где-то в особом уголке мозга, но она есть. Все еще это гистрионы, в некотором смысле рабы, рабы, бунтующие более и более, требующие более и более дани от этого самого общества за свой труд, но все еще рабы. Журналист, конечно, освободился шире, чем актер, но зависимость его существует и вражда к нему, конечно, тоже. Без журналиста и актера — я в этом названии разумею все роды актерства, т. е. и оперу, и балет — общество не может обойтись ни теперь, и никогда после, даже во времена какого угодно режима, хотя бы и анархического. Без этих талантов публициста, фельетониста, критика, рассказчика, без этих талантов актера, актрисы, певца и певицы, танцовщика и балерины общество лишилось бы прежде всего развлечения, интересного, забавного или вдохновенно-чудесного отдыха. Актерство и журнализм вечны, и, когда земной шар станет замерзать при потухающем солнце, журналист и актер будут последними силами служить замерзающим братьям своим, будут сквозь слезы смеяться и смешить последними нервами бодрости, будут возбуждать в своих братьях бодрость и надежду, развлекать их на сцене и в газетной болтовне, и тем не менее и тогдашние властители и аристократы будут поглядывать на них косовато, как на что-то не со-



всем им равное, неуравновешенное и, замерзая вместе с другими, будут подписывать приказы о награде обер-полицмейстера за устроенный им порядок. Это важнее даже при замерзании».

Итак, ночь на первое мая не была специально литературным праздником, а две родственные среды — артистическая и журнальная — дружески сошлись на общий пир любви к театру, и первая любовно и низко поклонилась представителю второй за то многое, что он для нее сделал и чем он для нее дорог, близок и мил. А. С. Суворин много потрудился для отечественной сцены, вложил в нее много своего ума и сердца, и она постаралась воспользоваться первым подходящим случаем, чтобы сказать ему громкое «спасибо». Инициативу приняли на себя артисты Малого театра и некоторые из сотрудников по газете; на их зов горячо откликнулся театральный мир — явились на чествование единичные видные представители артистической семьи, корпорации и учреждения, отозвалась провинция рядом телеграмм и писем, откликнулись корифеи европейской сцены... Чествование, скромное по замыслу, расширилось в своих рамках и получило характер общественного события — писатель снял достойную понесенного труда жатву, и отныне имя А. С. Суворина реально и непреложно зарегистрировано в летописях русского театра в качестве деятеля, которому этот театр многим обязан как драматургу, театральному критику и руководителю Малого театра и литературно-художественного общества.

В нашей литературе имеются имена, которые связали свою деятельность теснейшим образом с театром и теми или иными представителями сцены. Когда приходится говорить о Белинском, то невольно вспоминаются его горячие статьи, посвященные игре Мочалова. Когда говоришь о Юрьеве, то по необходимости на первый план выступает та сторона его жизни, которая связывалась с судьбою Малого московского театра, его репертуаром в семидесятых и восьмидесятых годах, его выдающимися сценическими силами того времени, многие из которых обязаны своей удачей, своей известностью именно покойному, легендарному по своей чудаковатой рассеянности, московскому театральному критику. К этим двум именам по всей справедливости должно быть в истории нашей литературы присоединено и имя



А. С. Суворина, журнальная деятельность которого значительно наполнена мотивами, почерпнутыми из театральной атмосферы, и статьям которого многие представители отечественной сцены обязаны своей популярностью и развитием своего таланта. Если Белинский изъяснил публике Мочалова, то г. Суворин с не меньшей силою выдвинул дарования Стрепетовой, Заньковецкой, Кропивницкого и др. К его голосу деятели нашей сцены чутко прислушивались, и его слово об их игре в рецензии или «Маленьком письме» было решающим словом для их успеха в текущем сезоне. «А. С. Суворин похвалил» или «А. С. Суворин выругал» — для артистов было не простым уколом самолюбия, а некоторым итогом общественного значения. Но не только на деятелей отечественной сцены распространялись его суд и осуждение — и представители иностранного театра в значительной степени в волнении и с нетерпением ожидали рецензии самого руководителя «Нового Времени». И он произносил его всегда искренно, горячо, не считаясь ни с какими обстоятельствами внеартистического или внехудожественного значения. Отвечая своему оппоненту, г. Морскому, по поводу отмеченного тем его увлечения малороссийским театром, г. Суворин писал¹⁾: «Задачу театральной критики я всегда разрешал для себя так: передавать свое впечатление вполне, передать то, что я чувствовал в театре. Ежедневная газета обязывала передать это тотчас же, иногда в тот же день, когда впечатление сохранилось в своей свежести и горячности. Ведь слово эстетика, или наука о прекрасном, образовано из греческого слова, которое значит «чувствовать», и я того мнения, что литературная и театральная критика (если она не рассматривает писателя исторически) есть не что иное, как передача вкуса, чувства критика, которое он испытывает при чтении произведения или при представлении его на сцене. Затем остается решить вопрос уже о самой личности критика, о его развитии, вкусе, опытности и т. д. Если я был искренен, как признает г. Морской, я не грешил и принципиально в своих отчетах об игре артистов и артисток. А затем, насколько я верно чувствовал, насколько можно верить моему вкусу — это решать не мне».

¹⁾ «Хохлы и хохлушки». А. С. Суворин. Ст. «Мои увлечения», СПб. 1907



Таким образом, элемент искренности — вот, по свидетельству самого автора, отличительная черта его писаний. Что же касается вкуса, то, не касаясь его театральных рецензий, на коих можно бы было вполне убедительно показать крупную наличность и этого писательского элемента, достаточно вспомнить тот репертуар, который был установлен в Малом театре после того, как г. Суворин стал во главе литературно-художественного общества и когда подбор пьес для театра, как из числа новых, так и старых, стал главным образом делом его рук, его вкуса, его понимания театральных запросов. Наличие искренности и вкуса не обнимает собою всех качеств дарования писателя; они, пожалуй, могут считаться даже качествами второй категории, а на первый план должны быть поставлены талантливость и удивительная работоспособность. Не считая удобным говорить на страницах «Исторического Вестника», издаваемого г. Сувориным, по первому пункту, отметим лишь, что по сему предмету сказано в «С.-Петербургских Ведомостях» (№ 96), которые никоим образом нельзя заподозрить в постоянно доброжелательном отношении к издателю «Нового Времени». Г. Рославлев, постоянный сотрудник г. Ухтомского, приветствуя праздник г. Суворина, ставит между прочим вопрос, на чем основан успех «Нового Времени», в чем тут секрет, и говорит:

«Секрет, кажется, — в самом Суворине. В нем, не без основания, видят первого и, пожалуй, единственного журналиста России. Можно не разделять его взглядов и осуждать его литературные приемы, но нельзя не признать за ним первоклассного публицистического и издательского таланта. А. С. Суворин дал образчик стиля, которого до него публицисты не знали: стиля между фельетоном и передовой статьей. Его «Маленькие письма» в этом смысле могут быть поставлены наряду с классическими образчиками, выведшими русскую поэзию и прозу из тисков накрахмаленности. Как Пушкин в поэзии, как Гоголь в прозе, г. Суворин в публицистике пробил путь к тому идеалу ее, который можно назвать публицистическим творчеством. До Суворина публицистика пробивалась тем суконным языком, которым писали корифеи «Голоса», «Отечественных Записок», «Вестника Европы» и других изданий, — языком, блестящим предста-



вителем которого были Михайловский, Градовский, Анненский и целая плеяда либеральных профессоров. Сначала блестящими фельетонами своими в газете Корша, а затем еще более блестящими шедеврами «своего» стиля в «Маленьких письмах» Суворин дал могучий толчок русской публицистике в сторону красоты, изящества, остроумия и краткости. Публика впервые увидела, почему можно «говорить», говоря о политике, что иная заметка на злобу дня стоит блестящего стихотворения или рассказа. Сразу же появился огромный спрос на такое чтение, родивший и подражающих г. Суворину писателей. Целая плеяда их пришла в «Новое Время», воспитанная на таланте Суворина (Атава, Житель, Сигма, Амфитеатров и другие). Множество других отозвались в других органах печати. Началось как бы состязание на поприще изящной публицистики, сделавшее нашу печать чрезвычайно разнообразной и интересной. В этом состязании, в этих поисках все новых форм публицистического творчества, к сожалению, мысль приносилась в жертву форме. Образовалась публицистика цветистая, но бессодержательная, нечто вроде публицистического жаргона (Дорошевич с подражателями). При всем том, однако, пальма первенства на поприще изящной публицистики принадлежит еще А. С. Суворину. Он — еще мастер своего дела.

В день его литературного торжества я, как один из тех, кого талант г. Суворина восхищал и побуждал к совершенствованию, не могу не послать ему привета как первому русскому художнику слова в публицистике. Заслуга его в этом смысле будет оценена потомством. Муть освободительного движения помешает многим отнестись к ней беспристрастно. Но, сдастся, история впишет в формуляр Суворина, прежде всего, его талант публициста и издателя, создавший целую школу русской журналистики и высоко поднявший значение русского дарования. Успех «Нового Времени» есть успех лично суворинский. Прочность его указывает на то, что, несмотря на все погрешности газеты, русская публика ценит в ней самобытный русский талант».

Вот любопытное свидетельство журналиста, чрезвычайно ценное для характеристики литературного послужного списка



издателя «Нового Времени». Младший член литературной семьи ударил челом старшему и откровенно и искренно признал в нем своего учителя, т. е. проявил такое действие, на которое по адресу г. Суворина весьма и весьма немногие из наших писателей склонны, предпочитая в погоне за уличным успехом и одобрением союзников по «колокольному приходу» его злословить и обливать ушатами грязи.

Что касается до работоспособности, то в цитированном уже выше «Маленьком письме» сам г. Суворин так говорит по сему предмету:

«Сердце мое преисполнено благодарности ко всем тем, кто так или иначе принял участие в маленьком празднике, всем, кто в письмах, телеграммах или простом рукопожатии выразил мне свои симпатии. Согласитесь, что, прожив так долго, я все-таки кое-что сделал доброго и совершенно бескорыстного для своей родины. Очень возможно, что я мог бы сделать больше и лучше, и, вероятно, потому в печати меня так много и так неустанно бранили, и я не могу сказать, чтоб эта брань не приносила мне некоторой пользы. Человеку необходимо чувствовать над собой какой-нибудь контроль, иначе он быстро балуется и забывается. Но есть одна область, в которой я могу говорить о себе с несокрушимой гордостью. Это — область труда. Я неизменно исполнял ту Божью заповедь, которая говорила человеку о необходимости трудиться. Я всегда был и остаюсь доселе, несмотря на свою преклонную старость, превосходным работником, именно превосходным в своем неизменном прилежании. Я не знал праздности, и отдых в моей жизни был не правилом, а только исключением, счастливой случайностью. Вероятно, этим я в значительной степени обязан моим отцу и матери, которые были бедные, но здоровые, религиозно-нравственные и благородные люди. Это великое счастье иметь таких родителей.

Вы скажете, с какой стати я распространяюсь о том, что я превосходный работник. А вот с какой стати: ни хорошим журналистом, ни хорошим актером нельзя сделаться без особенного прилежания. И актеры, по самому ремеслу своему, превосходные работники, ибо это искусство, как, впрочем, всякое искусство, требует прежде всего огромного и постоянного труда. Близко



стоя к театру, я очень хорошо знаю тот большой труд, который требуется от актера, и я хотел упомянуть, что в этом отношении я от него не отстал».

Талант, трудоспособность, искренность, переходящая порою в страстное увлечение, — таковы свойства писательской природы г. Суворина, которые далеко выдвинули его на авансцену русской журналистики, создали из него такого общественного деятеля, около которого всегда наблюдается толпа друзей, с одной стороны, и врагов — с другой. Громкие крики одобрения чередуются вокруг его деятельности с криками злобы, зависти к его удачам, и порою ненависти, переходящими порою границы всякого приличия. И в ночь на первое мая гул одобрения взял верх — голоса врагов смолкли, и праздник театрального деятеля, по-видимому, не омрачился никакими эпизодами отрицательного свойства, на которые так охоча наша общественная жизнь. Остается пожелать, чтобы в день полувекового литературного юбилея г. Суворина этот праздник прошел бы так же удачно, как и торжество в ночь на первое мая.

Незадолго до своего случайного праздника г. Суворин издал небольшую изящную книжку с массой иллюстраций, в которую собрал все им написанное, начиная с 1886 г., по поводу малороссийского театра, его репертуара и его главнейших деятелей: длинной вереницей проходят здесь перед читателями сыны и дщери благодатной Украины — Кропивницкий, Заньковецкая, Затыркевич, Садовский, Саксаганский, Манько и др., рассмотренные автором и как представители определенного театра и репертуара во всем объеме их талантов, и как исполнители тех или иных ролей, как истолкователи замыслов украинских драматургов. Г. Суворин, этот типичный великоросс, только с южной, а потому с горячей кровью, не мог не отозваться рядом статей по поводу появления на подмостках столичной сцены украинской труппы, которая поразила его обилием талантов. Сам талант, он узрел родственное себе по духу и восторженно откликнулся в своей газете на игру Заньковецкой и Кропивницкого и др. их сотоварищей по сцене. Теперь, когда статьи г. Суворина о малороссийском театре собраны воедино, уместно поставить вопрос: кто из наших журнальных деятелей, не исключая



отсюда и покойного Д. Л. Мордовцева, больше содействовал успеху у нас «хохлов и хохлушек», кто наиболее энергично поддерживал их, поставил их на вид публике и в образец великорусским артистам, нежели именно А. С. Суворин, которого инородческая печать с ее фальшивыми сепаратистическими тенденциями всегда заподозревала в принципиальном несочувствии всему, что не исходит из великорусского источника? Можно без преувеличений сказать, что г. Суворин увековечил малороссийский театр своими статьями, а ныне вышедшая книжка, ему посвященная, является для украинцев такого рода живым памятником, какого от родных и единоутробных авторов им еще не ставили. Чего стоят одни собранные воедино портреты представителей украинской сцены, жанровые обильные виньетки, изображающие разные моменты и стороны малороссийской жизни! А с какою видимою любовью книжка издана! Все в ней свидетельствует о наличии доброго чувства автора-издателя, воздающего обильную и щедрую дань чудному краю и его талантливым сынам, а потому и книжку г. Суворина всего лучше было наименовать — «хвалою таланта». И малороссы, в лице своих представителей сцены, прекрасно понимают, какую крупную и благодарную роль сыграл в их деятельности издатель «Нового Времени», и, сочувственно-лукаво кивая в сторону своих сепаратистов-земляков, тем не менее в подходящий момент не могут, однако, громогласно не исповедать своих добрых чувств к доброжелательному рецензенту. Эти чувства и были ими выражены в адресе, поднесенном ему от малороссийского театра г. Сусловым

«Вельми-шановний Добродію, Олексію Сергієвичу! — сказано здесь. — Випадково наше артистичне товариство опинилось в Петербурзі саме в той час, коли все театральне братерство святкує вкупі з Вами сорокоріччя Вашої критично-літературної діяльності. Колишній «Незнакомец» за цей коротенький час став добрим знайомим всім, кого театр цікавить не тільки як виграшка, або загальна забава, а як школа життєвої правди, на котру не гріх тратити сили. Добродій Суворін має право, взявшись у боки і закинувши погордо голову, оглянути пройденний за сорок років шлях і промовити самому собі: «Багато я поклав праці на любий мені театр, на його талановитих і неталановитих



діячів, багато й сам писав за для театру, багато передумано, не менше й засіяно»... Я не буду тратити часу на перелічування всього, що зробив добродій Суворін взагалі за для театру, моя мета далеко менша: — я хочу дати невеличкий огляд того, що добродій Суворін зробив за для нашого Українського театру: як тільки наші первачі у 1886 році з'явились в Петербурзі з маленькою торбиною української драматичної літератури за плечима, але з великими таланами, хто перший підтримав їх могутнім печатним словом? Хто перший орлиним поглядом розгледів великі артистичні сили непочатої української цілини? Це був добродій Суворін. Він вдарив у дзвони і закликав весь Петроград подивитись на вільних синів і дочок України, котрі одвернулись від брехливо-класичної школи і дали натуральний стрій народному театрові. Він смиливо кинув рукавицю діячам старої школи, указуючи театральній рутині — де натура і де хвальш. Чарівна гра Заньковецької, різноманітний талан велетня-артисти Кропивницького опанували душею Суворіна і примусили його оголосити на весь мир славу «України». Кажуть люде, що ми далеко відстали від сучасного театру. Може це одзнака української натури? Хто його зна? Тоді як люде вже додумались до автомобілів, а ми все ідемо на волах, погоняючи бато-гом. Може. Але раніше чи пізніше, а ми досягнемо нашої мети. Тоді внуки и правнуки будуть згадувати того, хто перший привітав на чужині наших великих артистів. Слава-ж тобі довічня, Олексію Сергієвичу, і щира подяка від діячів Українського Театру».

Рецензии г. Суворина, посвященные малороссийскому театру, исчерпывают, конечно, в малой степени все то, что г. Сувориным было писано о театре вообще; поэтому было бы в высшей степени желательно, чтобы издатель «Нового Времени» к своему пятидесятилетнему юбилею издал еще хотя бы избранные свои рецензии, обнимающие собой те или иные страницы из жизни русского театра вообще, сгруппировав их по важнейшим моментам жизни этого театра. Это была бы безусловно в высшей степени интересная летопись русского театрального дела, особенно если бы эту летопись ему удалось еще иллюстрировать, как это им сделано применительно к собранию малороссийских рецензий.



Приняв во внимание свыше сорокалетнюю театральную-рецензентскую деятельность автора и все разнообразие затронутых им в области русского театрального дела вопросов, можно себе заранее представить, какое летописное богатство представит такое издание, сколько в нем будет поучительного для тех, кого оно непосредственно касается, и для той широкой публики, которая будет потребителем книги. Совершенно справедливо поэтому говорит А. И. Сумбатов (Южин) в своем «частном письме», напечатанном отрывком в праздничном выпуске «Иллюстрированных программ Малого театра» (№ XX), где дается характеристика г. Суворина как театрального деятеля, что «охарактеризовать хотя бы в кратких чертах его деятельность по русскому театру ввиду того, что «нет еще собрания его статей» — решительно невозможно». Несмотря на такое указание, г. Сумбатов, человек в высшей степени компетентный в театральном деле, дает следующую меткую характеристику Алексея Сергеевича, которую мы и позволим себе привести почти полностью.

«... О значении А. С. для театра в самом широком смысле — я лично чрезвычайно высокого мнения. Из нескольких единиц, пожалуй, во многих отраслях театральной жизни — он единственная единица, с которой нельзя не считаться как с явлением исключительным. Так нервно и страстно воспринимать и отражать в своих статьях, пьесах, в своем руководстве петербургским Малым театром, созданным его неугасимой энергией и безграничной любовью к делу, наконец, в своих разговорах, в том, как он смотрит, как он переживает спектакль — может только тот, кто, как А. С., любит и чувствует искусство глубокой и художественной душой. Если он занял в театре то важное, часто решающее значение, которое он имеет, то, по-моему, причина лежит не в большом таланте, не в огромной эрудиции, даже не в его несомненно утонченном вкусе, а именно в том, что он в театре — рыба в воде. Это его область, в которой его нервы вибрируют, как натянутые струны. Он любит театр и горит им. Поэтому он близок и понятен деятелям театра, будь это автор или актер. Они чувствуют в его нервности тот художественный беспорядок, который в творческом деле важнее всякого порядка.



...Его особое отношение ко всему, что касается театра, делает из него, пожалуй, единственного критика, с которым хочется страстно спорить. Вы чувствуете, что вам, автору или актеру, надо вытеснить из его художественного сознания тот образ, который в нем самом создан, и заменить его своим. От этого он так часто изменчив и резок в своих суждениях: в нем самом живет архитектор, строящий свое здание на месте того, которое он разбирает и рассматривает. Я убежден, что ему хочется часто самому сыграть роль, которую он видит в исполнении актера, написать самому пьесу, исполняемую перед ним как перед зрителем. Посмотрите, как он сидит в театре: ему скучно — скука его злит, ему нравится — он весь сплошное наслаждение.

Я давно интересуюсь им просто как типом чуткого, необычайно впечатлительного таланта, который отражает, как компас бурю, то затихая, то мечась из стороны в сторону. И это чувствуется всеми: и авторами, которых он разбирает, и актерами, и театром, которым он руководит. Все, даже объекты его саркастических и злых нападок, чувствуют, когда он их судит, может быть пристрастно, может быть несправедливо, что их судит тот, кто носит в душе то же, что кроется и в их художественной индивидуальности.

Это «то же» — чисто художественная черта, которая ярко горит в каждом художнике. Разве актер, смотрящий на другого актера, писатель, читающий другого писателя, так сразу открывают свою душу чужому творчеству? Наивно думать это; наивнее — объяснять это завистью и ревностью. И в Суворине как в критике главное, доминирующее свойство — живая страстность, живая борьба за или против. Он никогда не был лианой, тем чужеядным критическим паразитом, который без своих корней и соков обвивается вокруг художественного произведения и живет его силами; высосав его кровь, бледную ли, холодную ли, или яркую и горячую, паразит ею наполняет свои пустые жилы. У Суворина всегда были свои соки, свои корни. Они давали ему право существовать и бороться с тем произведением, которое он обвивал своей критикой. И эта полнота сил делала его всегда ценным в области театра. Он его знает, он его любит, горит им — и своей страстностью вечно волнует его, держит его в состоянии напряжения и чуткой настороженности.



А. С. Суворин много, очень много сделал именно для театра. Он сам не спал в нем и ему не давал спать. Если он мучил его деятелей, то и сам мучился, если он умел язвить и колоть, он умел любовно и восторженно отдавать должное тому, что его захватывало. Он понимал огромное общественное значение театра, но еще больше он его любил и любит, как женщину. Пожалуй, как с женщиной, он с ним и обращается — неровно, мучая и мучаясь, ревнуя и всегда любя...»

Таково свидетельство драматурга-знатока театрального дела, которое достаточно полно исчерпывает вопрос о положении, занятом А. С. Сувориным по отношению отечественного драматического искусства. Но все сказанное относится к нему скорее как к критику, как к теоретику; а вот что повествует о нем на страницах той же (XX) иллюстрированной программы П. П. Гнедич как о деятеле-практике, как о руководителе Мало-го театра.

«Я был ближайшим свидетелем того, как двенадцать лет назад А. С., уже в преклонном возрасте, но с юношеской энергией, взялся за директорство, по-видимому, совершенно чуждого для него дела. Быть критиком и драматургом еще не значит иметь способность стать во главе театра. И сам А. С. долго колебался, как бы не надеясь на себя. — Только четвертый сезон убедил его в прочности и полезности начатого дела.

В 1895 году я состоял председателем скромного литературно-театрального кружка (еще не преобразовавшегося в общество) — когда неожиданный огромный успех «Ганнеле», которую мы поставили, сняв на месяц Панаевский театр, побудил нас подумать о серьезном театральном деле. Дирекция наша — А. Н. Маслов, В. П. Далматов и ныне умершие А. П. Коломнин и Н. А. Лейкин — единогласно решила обратиться к А. С. и просить его стать во главе предприятия. Колебаний с его стороны было много, наконец он решился — и 17 сентября — в день Веры, Надежды и Любви — мы скромно открыли наш театр...

Через месяц после открытия театра уже «весь Петербург» наперебой стремился в театр: шла «Власть тьмы» Толстого. Я помню тот лихорадочный подъем, с каким велось дело: даже в две-три ночи набрали в типографии заново пьесу, с теми цен-



зурными урезками, которые были *sine qua* поп появления драмы на сцене. Объясняться с начальником по делам печати — Феоктистовым — довелось мне, и надо было видеть, с каким упорством он воевал за каждую фразу этой «мерзости, которую за чем-то Суворин хочет ставить...»

В первый же год своего существования театр кружка дал три крупные вещи — совершенно разных масштабов: «Власть тьмы» Толстого, «Орлеанскую деву» Шиллера и «Принцессу Грезу» Ростана. «Орлеанская дева» впервые на русском языке была дана в Петербурге, а «Принцесса Греза» явилась отзвуком того необычайного успеха, который она имела в Париже. Наряду с романтиком Шиллером и очистителем отхожих мест Акимом, со сцены заговорил «поэт с изломом», поэт недосказанных предутренних грез, поэт белых лилий и бледной немочи.

Второй сезон был ознаменован крупным успехом «Нового мира», перевод которого сделал А. С., и даже изменил несколько сцен подлинника. Опять двери театра ломались от наплыва публики...

Затем началось отвоевание шаг за шагом от цензуры запрещенных пьес. Многих усилий стоило провести «Юлия Цезаря» Шекспира — и все-таки он прошел, и его впервые поставил театр Суворина. «Потонувший колокол» Гауптмана имел у нас в тот же сезон успех чуть ли не больший, чем в Берлине. А на четвертый сезон постановка «Царя Феодора Иоанновича» окончательно показала, что такое «Литературный» театр. Кто не помнит того необычайного подъема, который был дан пьесой Толстого? Все находили превосходным, даже ошибки и недочеты. Покойный Стасов, несмотря на неприязнь к «Новому Времени», разразился громоносным панегириком, особенно придя в восторг от шитых жемчугом боярских сапог, каких никогда, конечно, бояре не носили.

Помню, как волновался, горел и кипятился А. С. при постановке этой пьесы. Ни лет, ни болезней как не бывало — все было забыто, — и он, полный жара, то смеясь, то ворча, по мере сил трудился над сценическим воспроизведением каждой сцены. Он ездил в Москву, смотрел репетиции Художественного театра, возмущался, восхищался — и в конце концов все делал по-своему.



Несомненно, что главной «интеллигентной силой» в нашем театре явился сам Суворин. Он хорошо знал все, что «делается за границей» — и у нас иногда новинки почти совпадали с представлением оригинала. Репертуар иногда имел действительно вид «иностранный хроники»: английская, немецкая, датская, французская пьесы, даже американские — шли пестрым калейдоскопом. Но русские авторы всегда были на первом плане — их всегда, даже начинающих, встречали с распростертыми объятиями. Иногда А. С. шел на риск, ставил неудачные вещи, но он никогда не ставил преград, а напротив, всегда сочувствовал всяким начинаниям русских писателей, к каким бы лагерям они ни принадлежали. Посмотрите длиннейший список драматургов, выступавших у него, помимо уже лиц, ранее составивших себе прочное имя театрального писателя: Амфитеатров, Градовский, Авсеенко, Туношенский, Найденов, Рышков, Зеланд, Ге, Смирнова, Бухарин, Мосолов, Дымов, Косоротов, Гриневская, Л. Л. Толстой, Самойлов, Фоламеов, Трахтенберг, и т. д. и т. д. — можно насчитать десятки. Большинство из них впервые увидело свет рампы именно в Суворинском театре и окрылилось для дальнейшей деятельности.

Свобода театров сделала переворот в репертуаре столиц. До 80-х годов все сосредоточивалось в одном правительственном театре — от Шекспира до Оффенбаха включительно. Все авторы стекались сюда и чаяли, чтоб «ангел возмутил воду» и настал черед окунуться в вожаденный источник. Это губило единственный театр, заставляло громоздить пьесу на пьесу, репетировать наскоро, ставить новинки еженедельно. Как только дана была свобода — оперетка и фарс тотчас же отпали и открыли свои вертепки в сторонке, уйдя из серьезного театра навсегда. Но литературный театр долго не нарождался. Были, правда, попытки, но в этих попытках не было ни вкуса, ни знаний, ни денежных средств.

Дело А. С. Суворина — первое крупное дело в Петербурге. Это не мелкое базарное предприятие: тут шел и Шекспир, и Шиллер, и Толстые, и Ростан, и Ибсен, и Гауптман. С разросшимися со всех сторон частными театрами, правительственный



театр постепенно стал переформировываться в академический, чем он и должен быть, т. е. Эрмитажем, Лувром — музеем образцов. Частные же театры специализировались в декадентские выставки, в музеи восковых фигур, в превосходные кинематографы — и наконец в ту форму, какую приобрел теперь театр А. С. Суворина, — в постоянную выставку всех новинок. Все это имеет законное право на существование.

Через театр А. С. прошла уже целая плеяда артистов, составивших себе почтенное имя, когда другие театры что-то мало выработали талантов. Театр этот, как я уже сказал выше, культивировал целую фалангу новых авторов.

Театр этот по цензурным завоеваниям стоял все время во главе свободных театров. Он стойко переживал тяжелые периоды политических невзгод — и всегда являлся твердым прибежищем для актерской братии. Менялись деятели, директора, режиссеры — успех театра то падал, то поднимался, то вновь падал, но в трудные минуты его всегда поддерживало и нравственно, и материально одно лицо: Алексей Сергеевич Суворин».

Кроме рецензентской деятельности и деятельности по управлению Малым театром, А. С. Суворин навсегда соединил свое имя с русским драматическим искусством созданием и собственных пьес, с большим или меньшим успехом поставленных на сценах столичных и провинциальных театров. К числу таких главнейших относятся «Татьяна Репина», «Медея» (написана в сотрудничестве с В. П. Бурениным), «Вопрос» и «Царь Дмитрий Самозванец и царица Ксения». Оставляя в стороне первые три пьесы, как относящиеся главным образом к творчеству в области изображения бытовой русской жизни, скажем несколько слов о последней.

Вопрос о том, кто такой был Дмитрий Самозванец, уже давно интересовал г. Суворина, и этому вопросу, начиная с 1894 г., им было посвящено на страницах «Нового Времени» немало заметок, причем автор очень остроумно и вполне научно, опираясь на громадный по сему предмету исторический материал, доказывал, что Лжедмитрий «мог быть именно сыном Ивана Грозного и что вожди мятежа, который кончился смертью его и смертью многих поляков, знали, что убивали последнего Рюрикови-



ча, а не отважного монаха Чудова монастыря¹⁾». Такой взгляд, шедший вразрез со всем тем, что по сему предмету было высказано такими знатоками русской истории, как Карамзин, Костомаров, Соловьев, Иловайский и др., был нов, оригинален и вводил в круг изучения событий «смутного времени» нечто очень смелое и рискованное... Несмотря на то, что в распоряжении автора не было данных и доказательств прямого и положительного характера, он справился с поставленной задачей в пределах возможного вполне удачно и если не утвердил своего взгляда на личность Лжедмитрия вполне непреложно, то во всяком случае создал из своей гипотезы нечто очень вероятное и непротиворечащее расположению событий той эпохи. В связи с своей непосредственной темой работы, каковая создала ему выдающееся имя знатока «смутного времени», г. Суворин походя высказал немало любопытных второстепенных взглядов на тогдашние события и на действующих в них лиц, как, например, на Шуйского, на Ксению Годунову и др. Таким образом он явился новатором в известном историческом вопросе, который ему удалось разработать не только путем научных изысканий, но и провести в еще более живой форме изложения — в виде исторической драмы, куда и вложил свои вынесенные из научных занятий оригинальные и определенные взгляды.

В пьесе «Царь Дмитрий Самозванец и царевна Ксения» А. С. Суворин выказал большую авторскую смелость: он первый после Пушкина, вразрез с этим колоссом нашей литературы (о не совсем удачной попытке А. Хомякова на ту же тему не стоит говорить), представил интересное драматическое произведение на новых исторических основаниях и в новом историческом освещении, где действующие лица являются не выдуманными и вымученными персонажами, а живыми людьми, где вся обстановка является не простыми кулисами, кое-как состряпанными, а поставленную согласно с историческою тогдашнею действительностью, где эпоха дышит на зрителя захватывающим интересом, где по сцене протекает настоящая жизнь со всеми ее причудливыми переливами и драматическими положениями. Пьеса

¹⁾ «О Дмитрие Самозванце». Критические очерки А. С. Суворина. СПб. 1906.



г. Суворина имела большой успех на сцене, пробудила и в зрителях, и в литературе значительный интерес к важной и загадочной отечественной эпохе и прибавила в литературный послужной список издателя «Нового Времени» еще одну почетную рубрику, куда была занесена его удачная разработка животрепещущего вопроса русской жизни.

Мы отметили главнейшие моменты в деятельности А. С. Суворина как театрального критика, руководителя театра и драматурга, и этими моментами, полагаем, в достаточной полноте исчерпывается его значение в истории нашего театра. Они-то и послужили в их совокупности источником праздника в «ночь на первое мая».

Самое торжество составилось из двух главнейших частей, где в первой были принесены виновнику дня поздравления, а во второй в честь его поставлен дивертисмент.

Из числа адресов отметим в порядке следования следующие, согласно сокращенному отчету «Нового Времени».

Первый был от литературно-художественного общества; его произнес артист императорских театров г. Дарский.

«Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич, литературно-художественное общество, председателем которого вы состоите, приветствует вас, талантливое русского критика и театрального деятеля. Являясь по своей горячей любви к театру и яркому, увлекательному таланту прямым преемником Белинского, вы создали новый вид театральной критики с широкими публицистическими задачами... Желая ознаменовать это многолетнее, беззаветное служение национальному театру, литературно-художественное общество учреждает драматическую школу вашего имени».

Затем следовал адрес от театра общества; его прочел Е. П. Карпов, главный режиссер труппы.

«Создав свой театр, вы с истинно юношеским увлечением работали, не щадя сил и средств, для его процветания. Помышляя о будущем русского искусства, вы страстно искали новых, молодых авторов и артистов. С любовью, трогательной нежно-



стью вы заботились о талантливых людях. научая их, поощряя и радея о них, памятуя, что:

Ум светит тысячами глаз,
Любовь глядит одним!
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым...»

Артисты поднесли А. С. его статую работы талантливого скульптора Л. В. Шервуда.

Третий адрес был от Александринского театра; его поднес В. П. Далматов.

«Артисты русской драматической труппы императорского Александринского театра считают своим приятным долгом пожелать автору «Татьяны Репиной» и «Вопроса», впервые увидевших свет ramпы на нашей сцене, не оставлять деятельности драматурга и с тем же неизменным успехом еще долгие годы подвизаться на этом тернистом, но прекрасном пути».

Дальше следовал вышеприведенный адрес от малорусского театра, трогательно и с большим юмором продекламированный г. Сусловым.

Приветствие от наборщиков типографии «Нового Времени»:

«Мы, служащие и рабочие вашей типографии, являясь по печатному станку ближайшими сотрудниками ваших произведений, с захватывающим интересом, с любовью относились к каждой написанной вами страничке дорогого нам почерка, напоминающего славянскую вязь. Мы, ближайшие свидетели тех творческих трудов, плодом которых явились для русской сцены три пьесы: «Татьяна Репина», «Вопрос» и «Царь Дмитрий», охотно печатали их и днем и ночью».

Приветствие сотрудников:

«Мы, ваши сотрудники по «Нов. Времени», иногда с ревнивой тревогой следили за вашим увлечением сценой; нам казалось, что театр отвлекает вас от главного дела вашей жизни, от журналистики. Но эта тревога не мешала нам видеть и ценить искренний талант, посвященный русской сцене, и ваши заслуги преобразователя в театральном деле».

Далее следовали приветствия и адреса от петербургских и провинциальных театров с подношением венков и бюваров.



Вице-президент императорского русского театрального общества г. Молчанов произнес от лица общества краткое приветствие Алексею Сергеевичу, «как единственному в своем роде антрепренеру». А. А. Плещеев сказал речь по уполномочию общества русских драматических писателей и поднес Алексею Сергеевичу серебряный венок. От артистов и руководителя петербургских народных театров г. Алексеева прекрасное слово сказал известный артист г. Печорин. Он венчал юбиляра колоссальным лавровым венком, на изумрудных лентах которого стояло: «Высокоталантливому А. С. Суворину, честному и неутомимому». Среди множества поздравлений следует отметить несколько теплых слов, сказанных г. Тумпаковым от имени труппы театра «Буфф» и г. Пальминым.

Товарищ председателя литературно-художественного общества А. Н. Маслов, давнишний сотрудник А. С., поднес ему осыпанный брильянтами почетный знак общества, а Я. А. Плюшевский-Плющик — оригинальную чеканной работы серебряную телеграмму от анонима. Вот эти 32 серебряных слова, вырезанных на серебряном телеграфном бланке «53-го почтово-телеграфного отделения»:

В порыве искреннего чувства
Ты отдавал театру много сил,
Не только сам любил искусство,
Но и других любить его учил.

В. П. Далматов продекламировал Алексею Сергеевичу, которого предварительно насильно усадил перед собою в кресло, следующий сонет, посвященный юбиляру В. Шуфом:

С Акрополя, когда алел закат,
Сходил я, помню... Гору золотила
Игра лучей вечернего светила.
Огнем зари храм Феба был объят.
Я видел сцену, древних арок ряд.
Здесь был театр. Но память сохранила
Среди камней разбитых колоннад
Трагедии Софокла и Эсхила.
Искусство вечно. Говорил ты нам
О творчестве, о тайнах вдохновенья —
И были образцом твои творенья.
Пример высокий — ряд прекрасных драм.



И мнится мне в пыли, из разрушенья
Возник опять театра светлый храм.

Из дальнейших приветствий приведем адрес музыкальных деятелей, подписанный М. Ивановым, Н. Соловьевым, А. Коняевым, А. Матовой и В. Баскиным:

«Уважаемый Алексей Сергеевич, вы первый из издателей русских газет обратили внимание на значение музыки в общественной жизни. На столбцах «Нового Времени» вы отвели широкое место обсуждению ее нужд и дел, и вашему примеру последовали другие издания. Русская музыкальная критика, помещавшаяся в былые времена почти что на «задворках», за «музыкантским столом» газетного листа, получила равноправие среди других отделов. Через вас она достигла свободы, в которой ей раньше отказывалось в республике слова. Она помнит также, что вы и единственный из редакторов русских газет, бравшийся — хотя и редко — за перо, чтобы говорить о музыке. Она имеет право считать вас своим даже против вашего желания. Мы счастливы, что в этот день вашего триумфа можем выразить вам чувства нашей признательности и уважения за ваше прекрасное дело».

Чтение адресов и приветствий завершилось речью артистки Малого театра В. А. Мироновой, сказавшей:

«Алексей Сергеевич! Вы — революционер, я знаю, что, по нынешним временам, это слово — ужасное. Но революционером был Ньютон — в науке, Шекспир — в драме, Пушкин — в литературе, Белинский — в критике. Все большие умы — революционеры. Они оправдывают старые традиции, старую мораль и создают новые верования и новые идеалы. И вы своим большим умом, своим огромным талантом старались опрокинуть старый и нелепый взгляд на женщину. Вы отстаивали и отстаиваете теперь страшную революционную идею. Вы работали, работаете и теперь над созданием нового сословия — пятого сословия. Это пятое сословие — женщина. Вы в течение сорока лет любили не женщин, а женщину. Вы проповедывали ее освобождение от рабства. Ваша Медея, ваша Татьяна Репина, ваша Варя Болотова — это женщины, протестующие против рабства, против подчинения той морали, которую создали мужчины для собственного удобства.



И ваши героини шли напролом. Одни погибали, как Татьяна Репина, другие — как Варя — одерживали победу. В этой борьбе вы вашим огромным талантом поддерживали женщину. Вы хотели, чтобы женщина имела такие же права на моральную свободу, как и мужчина, чтобы она была ответственна за свои деяния не больше мужчины, чтобы ей не зачитывалось в грех то, что мужчине не только прощается, но часто возводит его на пьедестал особого геройства. Когда Варя Болотова со страстной болью говорит: «Почему за один и тот же грех Фаусту наслаждение, а Маргарите позор и казнь», — она говорит революционные речи, которые вложены в ее уста.

Из всех женских профессий до сих пор только одна истинно свободна — профессия актрисы. Кроме свободы актриса должна обладать талантом. За всю вашу жизнь вы любили и то, и другое. Вот почему вы всегда любили актрису.

Сколько добра вы сделали актрисе вообще и русской актрисе в особенности, как ярким светильником вашего таланта вы прокладывали ей путь к прекрасному будущему, об этом скажет история театра. А я, как русская актриса, могу только сказать вам, Алексей Сергеевич: за сорок лет вы неустанно вели нас, уничтожая те скверные преграды, которые на каждом шагу ставили актрисе люди, видевшие в ней не свободного, талантливого человека, а женщину-рабу.

Мое спасибо — ничтожно по сравнению с тем, которое должны сказать вам все русские актрисы последних сорока лет, но пусть оно будет маленькой незабудкой в прекрасном венке вашего неувядаемого таланта».

Из наиболее интересных телеграмм приводим в сокращенном тексте следующие:

«Внезапный припадок моей все еще продолжающейся болезни помешал мне быть на празднике, которому искренно сочувствую.

Вейнберг».

«Дорогой Алексей Сергеевич, ваш постоянный читатель сначала «Спб. Вед.», а потом «Нового Времени» шлет вам сердечное поздравление. Он помнит вас еще в то время, когда вы были



главным корректором «Спб. Вед.». Ваши статьи оставили в нем самые приятные воспоминания, и впечатления от них залегли в тайны души: статьи были богаты, как по содержанию, так и в особенности по языку.

К. Ф. Петров».

«Вам, славному Алексею Суворину, меценату искусства, шлет горячие пожелания и привет всякое сердце, одинаково с вами чтущее искусство, у которого нет отечества.

Цакоини».

«Я среди тех, кто вас любит и вами восхищается. Шлю вам мои пожелания и приветствия.

Сара Бернар».

«Хоть я далеко, но я разделяю ваш праздник; желаю счастья и благополучия доблестному вождю.

Баттистини».

«Гаррик-театр в Лондоне присоединяет свои поздравления.

А. Баурджер».

«Примите мой сердечный привет на вашем празднике, дорогой Алексей Сергеевич.

Присоединяюсь к хору почитателей вашей блестящей и плодотворной литературной деятельности.

Блейхман».

«Искренно жалею, что заседание Думы и вечерняя комиссия лишают меня, убежденного читателя и почитателя вашего прекрасного таланта, всякой возможности лично поздравить и пожелать долгого продолжения талантливой и художественной деятельности.

М. Стахович».

«Мои сердечные поздравления.

Т. Сальвини».

«Пьем за здоровье и поздравляем; мысленно все с вами.

Маркони».



«Примите, высокочтимый Алексей Сергеевич, от сердца идущий привет к светлому в вашей жизни дню сорокалетия живого даровитого и достойного служения вашего русскому печатному слову.

Член Государственного Совета Тимирязев».

«Приветствуем маститого художественного критика и блестящего истолкователя сценических образов в день 40-летия служения русскому театру.

Ф. и С. Проппер».

«Самые лучшие и просвещенные друзья театра выросли и научились любить и понимать истинное драматическое искусство и его талантливых представителей по вашим всегда живым и горячо написанным статьям. Знаю, что многие из моих современников и современниц забыли об этом и возненавидели то, чему когда-то поклонялись, но я тверда, как сталь, в своих симпатиях и никаким клеветам и гнусным инсинуациям не удастся поколебать моего доверия к вам как к безусловно честному журналисту... В вас я верю свято, как верила и 40 лет назад. И это, полагаю, тем для вас убедительнее, что я никогда никаких личных сношений с вами не имела, следовательно мое мнение вполне беспристрастно.

А. Бородина».

«Горячо приветствую достойного сына Русской земли, высокоталантливого литератора, публициста, историка и критика.

Проф. П. Ковалевский».

«Великого человека земли русской просим принять сердечное поздравление и лучшие пожелания.

Академик А. Новоскольцев».

«Ассоциация лондонской иностранной прессы поздравляет выдающегося собрата с сорокалетием его услуг родине.

Комитет ассоциации в полном его составе».

«Богатея, вы никого не погубили, не погубили и души своей; остались добрым, хорошим человеком.

В. Ламанский».



«Честному и мужественному гражданину, крупному литературному таланту, верному выразителю истинного настроения родины, неусыпному стражу возникших национальных интересов, создателю влиятельнейшего органа в стране — шлют сердечный привет давнишние почитатели.

Князь Андрей и Людмила Ширинские-Шихматовы, Иванов».

«Приношу глубокочтимому Алексею Сергеевичу в юбилейные дни его драгоценной патриотической деятельности мои лучшие пожелания.

Михаил Нестеров».

«Желаю, чтобы русская жизнь процветала талантом, любовью к родине и чувством свободы, которыми так ярко отмечена ваша блестящая деятельность.

Сидоров».

«Большая заслуга ваша уже в том, что с вашим мнением все считаются, ибо оно уже сделалось авторитетным. Глубокий русский поклон заслуженному «дедушке Суворину».

С. Хворов».

«Примите искреннее приветствие от инициатора первого русского частного театра в Москве.

Сергей Танеев».

«Правление союза драматических и музыкальных писателей приветствует в вашем лице талантливого, способного увлекаться и увлекать театрального критика и энергичного деятеля, которому дороги и близки интересы театра во всех многогранных проявлениях.

Правление».

«Маленький журнал «Шут» приносит большие поздравления в день юбилея вашей популярной литературной деятельности.

Ред.-изд. Вера Языкова».

«Приветствую талантливого драматурга и сведущего театрального критика с 40-летием его полезного служения театру,



деятелям драматической литературы и публике. Да продлит судьба жизнь А. С. Суворина еще на долгие годы и да не иссякает его любовь к театру и артистам во все дни его жизни. Резюмирую сказанное словами Виссариона Белинского: «Живите, любите театр и, когда придется умирать, умрите в театре».

Николай Россовский».

«Я оказался бы неблагодарнейшим из неблагодарных, если бы не вспомнил с искренним чувством все то, что вы для меня сделали как горячий театрал, правдивейший критик и просто как добрый человек. Приношу вам, дорогой и глубоочтимый Алексей Сергеевич, без лишних фраз, мое наисердечнейшее русское спасибо.

Иван Щеглов».

«Сердечно поздравляю Нестора русской театральной критики с сорокалетием его плодотворной деятельности.

Глама-Мещерская».

«Болезнь лишила меня счастья присутствовать на заслуженном торжестве. Искренно желаю многие годы радовать нас и заставлять гордиться вами. Вечный поклонник ваш

Константин Варламов».

«Искренно приветствую многоуважаемого Алексея Сергеевича.

Медая Фигнер».

«Семья Достоевских, принадлежащая к числу искренних почитателей вашей высокоталантливой критической и театральной деятельности, шлет вам поздравления и лучшие пожелания.

Анна Достоевская».

«Недуги мои лишают меня возможности и удовольствия лично приветствовать вас и высказать вам мои добрые пожелания в день чествования вашей критической и театральной деятельности, поэтому ограничиваюсь заочным заявлением моего искреннего к вам уважения и желания, чтобы еще на многие годы Бог дал вам здоровья и сил на продолжение вашей полезной и благотворной деятельности.

Алексей Потехин».



«Приносим наши искренние приветствия во славу ваших многолетних почетных заслуг перед русскою драмой и сценическим искусством; желаем многих лет жизни и неустанной работы на вашем славном пути.

Ермолова, Шубинский».

«Примите, многоуважаемый Алексей Сергеевич, мое поздравление и сердечные пожелания еще долгой плодотворной литературной деятельности.

Софья Аверкиева».

Примите, дорогой Алексей Сергеевич, и мое сердечное поздравление с сорокалетием вашей театрально-критической деятельности и десятилетием литературно-художественного вашего детища. Дай вам Бог еще на многие годы здоровья и сил для служения истинно прекрасному делу.

Долина».

«Честь и слава неутомимому и бодрящему политическому деятелю, созидательному и вразумительному публицисту, ярко-му драматургу и увлекательному романисту.

Князь Голицин-Муравлин».

«Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!

К великому моему сожалению, я, по неосведомленности своей о готовившемся чествовании вас в понедельник, не мог вовремя присоединить к общему хору своего душевного приветствия. Иначе я, конечно, постарался бы и лично присутствовать на этом симпатичном празднике русской мысли, русского искусства и литературы.

Я имел уже ранее случаи высказывать вам чувства моего глубокого почитания и горячего сочувствия вашей неослабевающей замечательной деятельности — истинно патриотической и многосторонне-плодотворной.

Не стану повторять то, что вы от стольких уже слышали.

Горячо приветствуя вас, спешу высказать вам мои усерднейшие и сердечные пожелания, чтобы вы сколько можно долее всецело пользовались здоровьем и всеми силами душевными и



телесными, столь нужными нашей бедной родине вообще, а особенно в переживаемое критическое, тяжкое смутное время.

Да сохранит вас Господь еще на долгие годы для ваших близких, для России и русского просвещения.

С глубоким почтением давний ваш почитатель.

К. Грот'.

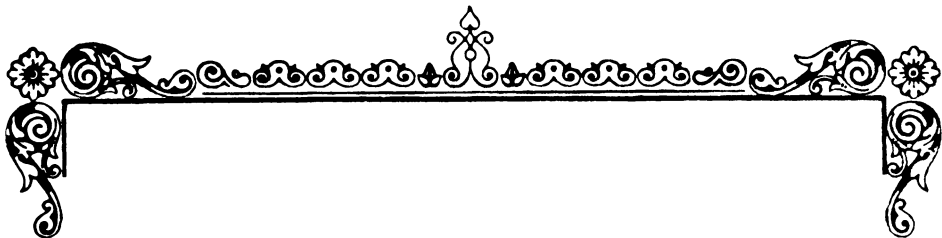
Из присланных приветствий следует отметить, кроме цитированных, от гг.:

Подписчика Карпова, Пальма, Нотовича, Тихомирова, Жуковских, доктора Мацкевича, Конкевича, Кучинского, В. Рышкова, К. Антонова, Н. Мельникова, Э. Бастунова, вице-адм. Гильдебрандта, Б. Никольского, Б. Глинского, Н. Северского, проф. М. Яновского, ред. «Горнозаводчика», Гамова, Воробьева, баронессы Радошевской, О. Горцевой, наборщика Г. Ларионова, Brolio, Аристов, Ф. Горева, Федотова, М. Садовского, К. Рыбакова, О. Правдина, И. Красновского, Шанькова, Л. Афанасьева, кн. Сумбатова, Мичуриной, Преображенской, кн. Волконского, Ежова, Глинки с товарищами, Пуцыковича, Giovani, Maria, Tree, Болска, гр. Апраксина, Зеланд-Дубельт, С. Ратова, баронессы Била, кн. М. В. Волконской, Л. Гольштейна, Е. Боткина, М. Л. Кропивницкого, В. Нардучи, Манько, Суслова, Зарницкой, О. Корсакевич, Загорского, Ю. Загуляевой, сотрудницы Сусловой и многих других.

В концертно-драматической части вечера приняли участие: симфонический оркестр гр. Шереметева, хор г. Архангельского, оркестр балалаечников г. Андреева, скрипачка школы проф. Ауэра г-жа Парло, оперная певица г-жа Славина; танцевали русскую артисты г-жа Кшесинская и г. Кусов; рассказывал юмористические сцены г. Сладкопевцев. Были разыграны сценарированный рассказ г. Суворина «Гарибальди» при участии гг. Давыдова и Дальского и сцена из «Татьяны Репиной» в исполнении г-жи Савиной и журналиста г. Новицкого.

После этого отделения присутствовавшим был предложен ужин. Было шумно, весело, сердечно, дружно...





Н. И. КРАВЧЕНКО

А. С. СУВОРИН И ЖИВОПИСЬ



Большое, огромное вам спасибо, дорогой Алексей Сергеевич, за сегодняшнюю статью о Репине. Вы увидите потом, как много вы сделали для передвижной выставки.

Уверяю вас, что так еще никто у нас не говорил о живописи. То, что вы сегодня написали об исторических картинах, решительно прекрасно и нам, художникам, необходимо.

Я не слышал, чтобы кто-нибудь из художников отозвался о статье неодобрительно. Решительно все говорят: «вот это так, вот это дело».

Вы интересуетесь искусством и думаете о нашей бедной русской живописи.

Какие вы интересные вещи говорите, Алексей Сергеевич, и какие жгучие вопросы для художника поднимаете, если бы вы знали. Вы сильны, когда берете общие положения, одинаковые для всех родов искусства. В вашей статье есть то, что называют впечатлением и что художнику знать гораздо более важно, чем обыкновенно думают.

Кравченко Николай Иванович (1867-1941), художник. Статья Н. И. Кравченко «А. С. Суворин и живопись» перепечатывается по тексту статьи, опубликованной в газете «Новое Время» 27 февраля 1909 года.



Спасибо вам. Что за прелесть разбор картин Неврева, Литовченки, Милорадовича, Янова. Остальное очень поучительно для всех художников и то, что сказано, очень намотают себе на ус все художники.

Статьи ваши действуют, как хороший освежающий душ, как на тех, кому, как говорится, досталось, так и на тех, кого погладили по головке.

И. Крамской.

Я привел это письмо для того, чтобы словами одного из лучших и искренних русских художников охарактеризовать деятельность А. С. Суворина как журналиста в области художественной критики, в которой наше искусство так нуждалось и нуждается. Должен оговориться, что приведенное письмо есть компиляция. Это кусочек того, что Крамской во многих своих письмах считал нужным выразить Суворину, как публицисту, заглянувшему в сферу до того ему совершенно чуждую, всем им сказанным вызвавшему целую бурю в семье художников, привыкших к критике довольно банальной, большей частью только шеголяющей техническими терминами.

Всякий, кто прожил более четырех десятков лет, кто помнит славное время передвижников, давших такой сильный толчок в развитии русской живописи, не может не помнить статей Суворина и не считаться с мнением Крамского. Для многих нового поколения Крамской существует только как портретист, уже давно сошедший в могилу, но для тех, кто интересовался жизнью нашего искусства раньше — это большая, крупная фигура, бывшая представителем всей группы наших наиболее талантливых и мыслящих художников того времени.

Крамской, по выражению В. Стасова, «великий писатель об искусстве», «величайший художественный критик нашего времени». Он отражал в своих письмах всю умственную и творческую жизнь его собратий художников и под тем, что писал Крамской Суворину, могли бы подписаться и Репин, и Куинджи.

Статьи Суворина производили на этих художников огромное впечатление, и я знаю случай, когда Репин, после отзыва о его картине «Иоанн Грозный», вбежал в кабинет Алексея Сергеевича и со слезами благодарности повис на его шее.



Суворин никогда не был знаком с самой техникой живописи и почти никогда ее не касался, но до него, как сказал Крамской, «так еще никто не говорил об искусстве». Он говорил о нем своим простым, ясным языком, без ненужных, мало кому знакомых терминов. Он стремился проникнуть в сущность творчества, понять душу художника и, постигнув это, говорил своим читателям, привыкшим его слушать.

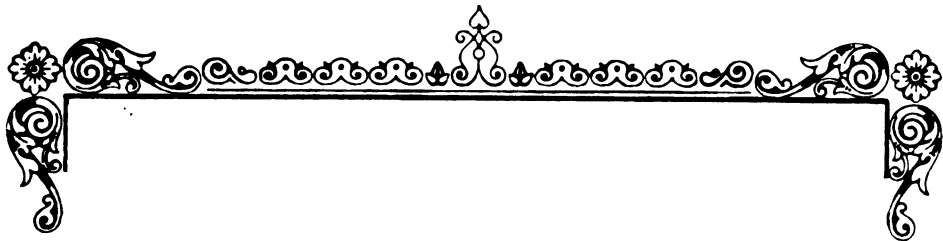
Он первый взял на себя риск поместить в своей газете беспощадную статью Крамского об Академии Художников, несмотря на то, что в то время Академия стояла как бы неприкосновенной и за что, как говорил тот же Крамской в письме к Репину в 1877 г., «Суворина вызывали и что-то там сказали».

Не объемом статей, не ежегодными отчетами обо всем, что ни напишут и сделают русские художники, художественный критик вносит свою лепту на пользу искусства, а тем, что он говорит иногда, но говорит так, что будит творческий дух и сближает толпу с художниками. В этом отношении Алексей Сергеевич сделал для русского искусства очень много. Он отмечал все яркое, сильное, и только он, и он один характеризовал художников так, что имена их читатель запоминал навсегда. «Отныне это время знаменито», — сказал он про А. П. Куинджи по поводу его «Ночи» и, как видите, сказал правду.

Понимая, что художественную критику нельзя оставлять в руках людей, ничего общего с искусством не имеющих, он всегда усиленно приглашал Крамского писать статьи и добивался этого, хотя каждая статья последнего всегда стоила ему нескольких дней.

Многие из наших художников теперь, оглянувшись на прошлое, могут сказать А. С. Суворину спасибо, и я уверен, что они ему это скажут.





М. О. МЕНЬШИКОВ

ТАЛАНТ И СТОЙКОСТЬ



автра — полустолетие огромной работы А. С. Суворина. Так как не бежать же, в самом деле, от собственного юбилея за границу, то почтенному юбиляру придется проделать этот обряд, торжественный и печальный, как приходится проделывать все обряды, исполнения которых требует общество. Стеснительна торжественность для человека столь застенчиво скромного, как Суворин, и печален праздник, напоминающий о том, что большая часть жизни уже отошла. Но публика — существо задорное и молодое. Ей нет дела ни до застенчивости, ни до печали знаменитых деятелей. Публика находит повод к шумной радости, когда неумолимое время указывает почти конец деятельности ее любимцев. Так как я принадлежу в данном случае к числу публики, то попробую разобраться, что собственно побуждает нас беспокоить приветствиями знаменитого старца, который слишком долго жил на свете, чтобы чего-нибудь хотеть и в чем-нибудь — кроме спокойствия — нуждаться.

Меньшиков Михаил Осипович (1859-1918), публицист. Статья «Талант и стойкость» перепечатывается по тексту сборника: Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998, с. 375-381.



Если юбилей выходит не деланный и не дутый, какими бывают казенно-официальные чествования, то побуждения публики понятны. В лице замечательного человека она интересуется не им лично, а редкими качествами, им проявленными. Талант вообще есть чудо, но еще чудеснее, если он проявляется с такой неутомимостью на протяжении целого полустолетия. Подумайте только: А. С. Суворин старше по крайней мере ста сорока миллионов живого русского народа. Огромное большинство нации еще не родилось, когда он уже сделался писателем. Полстолетия — большой срок даже в государственной истории. Приветствуя блистательный успех таланта на протяжении столь долгого времени, публика празднует собственный триумф. «Вот каких удивительных людей выдвигаем мы! Вот какая сила, несокрушимая временем, таится среди нас!» Замечательный человек, говорят, есть гордость человеческого рода. Во всяком случае, он — живая слава общества, к которому принадлежит. Если бы не так, будьте уверены, никаких юбилеев не праздновали бы. В лице большого деятеля общество видит и себя большим; все понимают, что только одаренные люди составляют народный гений. Вот почему древние триумфы и нынешние юбилеи представляют не личный праздник, а всегда общественный. Великих людей не спасает от юбилеев даже смерть: они давно в могиле, а общество продолжает праздновать 100-летие их дня рождения, 200-летие, 300-летие и т. д. Народ гордится великими людьми, как отдельные люди — предками. Народ только тогда чувствует себя аристократом, когда в прошлом у него галерея таких имен, каковы Петр Великий, Суворов, Пушкин, Глинка, Достоевский, Тургенев, Менделеев. В Бархатной книге цивилизации занесены имена лишь тех народов, которые выдвинули большие таланты. Только признанием таланта серая, как крестьянский паспорт, история народа с обычной характеристикой: «особых примет не имеет» — превращается в своего рода дворянскую грамоту, в генеалогию благородства. Замечательному человеку нельзя отказать от юбилея; это значит не признать свое родство с обществом, значит лишить последнее некоторого морального наследства. Вот отчего глубокоуважаемые юбиляры, немножко покобенившись, обыкновенно преодолевают конфуз и соглашаются па-



радиловать в должности, так сказать, идолов на час. Общество чувствует благодарность — нельзя же помешать ему в этой хорошей потребности. Последняя в искренних случаях превращается в нравственный долг, ничем неудержимый.

Писатели — даже великие, к сожалению, — не имеют возможности ощущать свои заслуги так реально, как великие изобретатели. Лампочка Эдисона освещает имя его по всему свету, между тем блестящая мысль поэта или публициста может облететь оба полушария, и никто не заметит, кому она принадлежит. Крылатое слово может укорениться всюду и стать пословицей, но у автора ее нет патента на нее, а раз это так, то великое изречение все гарсоны повторяют как свое. Человек со столь ярким талантом, как наш завтрашний юбиляр, за полстолетия работы выпустил в русское общество бесчисленное множество интересных и оригинальных мыслей, но все эти словесные изобретения тотчас поступали в общее достояние. Еще с классиками публика церемонится, но что касается живых публицистов, то экспроприация их мысли совершается с величайшею беспечностью. Восхищенный статьею читатель, благодаря за нее, высказывает вам ваши идеи, как свои. Публицистам приходится слышать в обществе не только собственные мысли, но часто с точностью цитат без всякого означения источника. Сегодня публицист печатает счастливую мысль, глядишь, через несколько недель она вошла в доклад влиятельного чиновника. Аргументы писателя доставили чиновнику орден. Прозорливость писателя дала дельцу высшее назначение, причем и общество, и сам отличившийся уверены, что все замечательное он «сам придумал». За полстолетия своей блестящей публицистической работы сколько А. С. Суворин подсказал правительству полезных решений! Сколько им, может быть, создано генеральских карьер! На сцене иной актер срывает гром рукоплесканий, а уберите-ка суфлера и посмотрите, что выйдет. Наше правящее общество, как русские актеры, преплохо учит роли, и если бы не печать, которую держат в будке, не было бы даже теперешней плохой игры.

Завтра в тысячу голосов будут славить талант почтенного юбиляра, но, вероятно, забудут второе его качество, более скромное, но не менее важное, чем талант. Это качество —



упорство воли. Вот драгоценная черта, которой обыкновенно недостает русскому характеру! Талант, конечно, — высшее счастье, это поистине дар, исходящий свыше, от Отца Светов. Без таланта нет писателя, нет искусства, ничего нет, кроме рабского ремесла. Талант А. С. Суворина слишком вошел в обычай, чтобы говорить о нем. Да и что значит говорить о таланте? Это чаще всего значит клеветать на него. Если сам Рубинштейн не мог дать вам понятия о себе, забираясь в тончайшие изгибы вашего слуха и касаясь всех струн души, то что же может сказать о Рубинштейне критик? Пересказать можно прозу, но такой лирический публицист, такой отзывчивый поэт общественности, как автор «Маленьких писем», непередаваем иначе, как самим собой. «Ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом», — крайне впечатлительное, до сих пор молодое сердце Алексея Сергеевича откликается, как эхо, как влюбленная нимфа, отыскивающая Нарцисса, поэтизируя, облагораживая призывные звуки. Талант есть вкус к красоте. Талант чувствует меру вещей и сглаживает крайности, как сама природа. Талант Алексея Сергеевича из тех, что постоянно возвращают сознание общества к красоте, к правде жизни, к трезвости, к тем оттенкам забавного и трогательного, что составляют прелесть вещей. Талант такого рода заставляет общество уметь и быть чувствительнее. Что значит «тьма низких истин», если она напущена в общество бездарными людьми? Это только тьма; и ничего больше. О таланте, как о любви, говорить почти кощунственно — это такая область, где действительно «мысль изреченная есть ложь». Позвольте же вернуться к другому громадной ценности качеству, о котором, я боюсь, забудут. Это упорство, стойкость...

С уважением смотрю я на всякую, даже бездеятельную старость. Дожить до 70, до 80 лет — в самом деле, это не всем дано. Средний возраст у нас — 37 лет, стало быть, 75-летний старец прожил два средних века, то есть пронес на своих плечах двойной груз жизни, доказал двойную силу. В наше бурное время жизнь — большая тяжесть. Столько судьба для всех заготавливает страданий, столько подчас трагического горя! И у А. С. Суворина личная его жизнь представляла далеко не розовый, а, ско-



рее, тернистый путь. И над ним обрушивались бедствия едва выносимые. А сколько мелких неприятностей, терзаний, тревог и огорчений, сколько разочарований и разрушенных надежд! Начать с суровой бедности, быть обремененным большой семьей, то есть страданиями хуже, чем собственными, иметь дорогих людей и терять их, терять в ужасных условиях и не впасть в отчаяние — это героизм. Обременить себя сверх семьи большой газетой, предприятием огромным и хрупким, окруженным острою враждою соперников, недоверием, непониманием — это большое мужество. Взвалить на себя ответственность за судьбу многочисленного круга вовлеченных в газету лиц, пребывать 30 лет под дамокловым мечом капризной власти, переживать одновременно черные дни отечества с небывалыми в истории унижениями — все это чувствовать своим повышенным сознанием и обостренной болью — и не свалиться в могилу, это сила редкая. Старость, за редкими исключениями, сама по себе есть свидетельство порядочности. Нужно много прирожденной честности и чистоты, чтобы удержаться от растлевающих соблазнов и донести чашу жизни, не расплескав ее вначале. Сбереечь себя для родины, для большой, сверхсрочной службы, дано не всякому. Посмотрите, как быстро тратятся у нас люди, как они сейчас же изнашиваются, точно платье, купленное в дешевом магазине. Посчитайте, сколько умирает людей, не дотянув до 30 лет, сколько их спивается, погибает от скверных болезней, от кутежей и ночных оргий. Большинство молодежи уходит из жизни как воры с награбленным имуществом: едва воспитаєте вы юношу и обучите в разных школах, едва он наконец одолеет курсы — глядишь, уже спился, замотался, застрелился, сошел с ума. Получить от Бога сильную душу и уберечь ее для полустолетней общественной работы — это добродетель, это высшая верность Богу и своей родине.

По поводу юбилея знаменитого старца, до сих пор сильного, кажущегося лет на 15 моложе своих лет, хочется сказать обществу: вот чему надо поучиться у Суворина — его упорству. Вы, Маниловы и Обломовы, вы, Гамлеты Щигровского уезда, рефлектики, нытики, чеховские слабняки! Вы сдаете все свои жизненные позиции первому врагу, вы только и умеете, что разо-



ряться, оскудевать, таскаться по заграницам да столичным при-
тонам доедая поскребки дедовских богатств. Посмотрите же,
как в наше время можно жить деятельно и с каким упорством
отстаивать себя и Россию. Убедитесь, что даже гигантский труд
не в силах утомить человека, если есть влечение к нему и насто-
ящее призвание. У нас кричат в унынии: где нам до Европы!
Мы, мол, такие и сякие. Да, вы — действительно такие и сякие,
но кто мешает вам быть самой настоящей Европой — сильной,
решительной, неутомимой? А. С. Суворин — коренной русский
человек, но чем же он не европеец в самом энергическом смысле
этого слова? Он и в Англии, и в Америке был бы очень крупным
деятелем, и его газета была бы и там одною из лучших газет.
Пожалуй, в Англии или в Америке Суворин был бы одним из
первых деятелей — при отсутствии там дряблой, обессилива-
ющей русской действительности. Но даже и при этом отвратитель-
ном условии, когда люди у нас тянут друг друга книзу, а не
кверху, — все же посмотрите, какая несокрушимая деятельность
и сколько стойкости за целое полустолетие!

Из всех отрицательных русских качеств недостаток стой-
кости, пожалуй, самое опасное. Вспомните, каким шеголем от-
рицания явился в Москву Александр Андреевич Чацкий. Поню-
хав европейских книжек и заразившись презрением к родине,
благородный идеалист гремит, гремит в гостиных. Но чуть лишь
дали понять ему, что он смешон, он сейчас же: «Вон из Москвы!»
Подавайте ему карету, и он на мужицкие деньги поедет опять
по европейским отелям искать уголок оскорбленному чувству.
Но что было бы с Россией, если бы все благородные идеалисты
осуществляли этим способом свое общественное служение? Что
было бы с Сувориным, если бы он, 50 лет назад, при первом же
столкновении с действительностью, закричал: «Вон из Петер-
бурга! Извозчика мне — и в Европу!» Одним несчастным эмиг-
рантом за границей было бы больше, одним из наиболее креп-
ких столпов русского общества — меньше. Недавно А. С. Суво-
рин издал свою книгу «Всякие», сборник остроумных беллетри-
стических сцен и фельетонов, который был 40 лет назад аре-
стован цензурой. Книгу тогда сожгли и автора судили. Стало
быть, и Суворин, как писатель, начинал в некотором роде с костра



мучеников и имел свою писательскую драму. Хорошо ли было бы, если бы он, возмущенный и оскорбленный, завопил тогда: «Довольно! С вами я горжусь моим разрывом!» — и отряс бы прах от ног своих, распрощавшись и с цензурой, и с Россией? Мне кажется, это было бы очень нехорошо. Суворин, достаточно измученный, все-таки остался на позиции. Сын бородинского героя, он из тех русских людей, которые не так-то легко сдаются. Он остался на журнальном редуте и в ответ на давление против него гг. Фамусовых и Молчалиных выдвинул такую силу, как «Новое Время». Вопреки пословице: один в поле не воин, он, не выпуская из рук сверкающего, как меч, пера, деятельно собрал вокруг себя дружину талантов и кое-что, как известно читателям, сделал. Из ложной скромности не будем говорить, что именно сделано Сувориным и его газетой. Во всяком случае он не уступил судьбе. Не сдался, не побежал! Он укрепился на своем месте, какое послал Бог, и свое дело упрочил, совершенно как это делают сильнейшие из европейцев. Хорошо, если бы все русские люди проявляли на своих местах кроме таланта то же упорство, то же мужество сопротивления. Отстаивайте из всех сил свои позиции! Укрепляйте за собою свои земли, усадьбы, хозяйства, конторы, фабрики, заводы, канцелярии! Осуществляйте прочно все предприятия и жизненные задачи! Развивайте жизнь, доводите ее до полноты! Добивайтесь каждый на своем месте успеха — и Россия станет великой и славной среди народов!

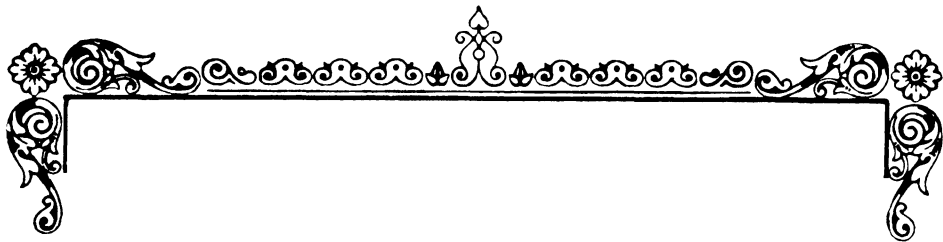
Юбилей А. С. Суворина тем примечателен, что это полу-столетие действительной борьбы общественной. Нетрудно дотянуть до полувека своей деятельности живописцу, скульптору, романисту, ученому, талантливому актеру. Нетрудно, постепенно пересаживаясь из кресла в кресло, пробираться в Сенат или Государственный Совет. Но на каторжной журнальной службе, на аванпостах политических битв, на арене, усеянной засадами, волчьими ямами и фугасами, — устоять на такой арене пятьдесят лет — серьезный подвиг! Оглядываясь на великое поле журнальной брани, Суворин может с удовлетворением сказать, несколько изменяя слова поэта:

У меня бы не было врагов,
Когда бы не твои, Россия!



Врагам родины, домашним и зарубежным, он настолько остался памятен, что и друзья родины надолго запомнят его имя. Это одно из тех больших русских имен, что перейдут не только в историю литературы, но и в историю родной государственности — не как стыд ее, а как ее гордость.





М. О. МЕНЬШИКОВ

ЖИВА РОССИЯ



билей А. С. Суворина неожиданно развернулся в большое событие. Вдруг откуда-то, из океана земли русской, прикатила волна общественного сочувствия, поднялась высоко и обрушилась в Петербурге внушительной «патриотической демонстрацией», говоря некрасивым, но более понятным газетным жаргоном. В самом деле, это была демонстрация, проявление жизни и воли той русской стихии, которая в обычное время как будто отсутствует. Тут не было крайних элементов, ни правых, ни левых, которых шумная возня на политической сцене заслоняет настоящую русскую жизнь. Не было на юбилей ни красных спасителей отечества, ни черных, а была та скромная, подлинная Россия, которой приходится самой спасаться от благодетелей справа и слева. В бесчисленном ряду депутатий, подходивших с приветствиями, не было таких необходимых персонажей, как, например, кадет, бомбист, экспроприатор, но, с другой стороны, не было дубровинских и мешерских типов, патриотов казенного кошелька, изолгавшихся и рас-

Статья М. О. Меньшикова «Жива Россия» перепечатывается по тексту сборника. Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998, с. 381-388.



тленных в своей лакейской службе. То, что явилось «нечаянною радостью» суворинского юбилея, самую примечательною его чертой — это наличие в России еще очень широкой и чистой, именно чистой, как океан, стихии, — среднего русского общества, трудового, трезвого, не запачканного жидовством и хамством.

Я лично не был членом юбилейного комитета и никакого участия в устройстве чествований не принимал, но мне приходилось встречаться со многими, кто уверял, что «ничего не выйдет» и что вместо почета знаменитому старцу выйдет оскорбительный скандал. «Вы знаете, — говорили мне, — какой смертельной ненавистью, до синих огоньков, ненавидят "Новое Время" жида. Вы знаете, какую сатанинскую власть захватили жида в кадетских слоях, до самых верхов общества, до университетов и академий включительно. Вся Россия сплошь, как старый сыр, прогнила этой плесенью. Те мощные слои, которые когда-то были верными духу русскому, теперь разлагаются в жидовских внушениях. Не говоря об интеллигенции, и дворянство и духовенство трусят, прямо до жалости трусят, как бы не скомпрометировать себя в глазах Иудиных... В неладную пору пришелся этот юбилей», — говорили малодушные.

На эти речи я отвечал с усмешкой. Да плюньте вы на г-д Евреев, вот и все. И жида, и кадетствующие жидоманы не есть Россия. Это — муть, это пена, что поднялась со дна и непременно туда оседет. Как не видеть из-за деревьев — леса? Как не видеть России, нам сочувствующей? Потому сочувствующей, что мы и она — одно. Если бы речь шла о доказательстве сочувствия Суворину со стороны общества, то для этого нет нужды устраивать юбилей. Более громкого доказательства, как самый факт существования «Нового Времени», придумать трудно. Это непрерывный, ежедневный документ, повторяемый тридцать три года, постоянно возобновляемое свидетельство о симпатии и поддержке общества. Другие газеты лопаются, а мы живем. Другие, крайние газеты, и левые, и правые, проваливаются, несмотря на огромные субсидии из жидовских банков и из казенного кошелька. «Новое Время» никогда ничьею «поддержкой» не пользовалось. Если оно процветает, то единственною силой — читателями, публикой. Так как же, имея за собою такой мате-



рик сочувствия, сомневаться в успехе юбилея? «Новое Время» не примыкает ни к какой партии, но откройте глаза: оно само — партия и, может быть, самая крупная в России. В смысле подлинности и стихийности огромный круг читателей наших более чем партия. Это — русское общество, насколько общество в наш анархический век возможно. Совершенно невероятно, чтобы суворинский юбилей не удался!

Так говорил я, не подозревая, что действительность превзойдет все ожидания. Судите как хотите, но нельзя же было искусственно подстроить, чтобы на юбилей простого издателя газеты, губернского секретаря такого-то, сошлись в приветствиях Государь, парламент, министры, писатели, артисты, члены Синода, столичная дума, представители ученых обществ, студенты, военные, купцы, учителя и целые тысячи людей всякого звания под общим титулом «читатель». Ни подстроить, ни устроить что-нибудь подобное никак нельзя. То и дорого в данном событии, что оно само устроилось, органически, как результат очевидно долгого и постоянного отношения русского общества к «Новому Времени».

Из утомительного дня, в этой туче слов и восхвалений, меня особенно тронули три момента. Первый — когда читал свой прекрасный адрес А. И. Гучков. Искренне и громко он приветствовал Суворина от большинства парламента, от конституционной России. Он подчеркнул государственную заслугу юбиляра — ту, что он в годину смуты имел мужество поднять голос против государственного «воровства». Чудесное, старомосковское, политическое слово, может быть, самое характерное в нашей древности! Второй трогательный момент, когда к Суворину подходили такие же седые, как он, товарищи по кадетскому корпусу, генералы в синих лентах и звездах. Шестьдесят лет истории русской, четыре царствования, свидетельство каких событий! Подумать только, что все эти старые люди начали помнить друг друга еще до Севастопольской войны. Молодые, они входили в мир, тогда для них волшебный, под впечатлением мысли, что Россия славна и непобедима и что ей предстоит не какое иное, а только великое будущее. И вот через шестьдесят лет немногие «однокашники» жмут друг другу старые руки в других условиях, со-



всем в других, весьма горестных. Но чувствуется, что они те же старые кадеты, — именно в том отношении, что Россия по-прежнему в их сердце остается сильной и непобедимой, и иною, как великой, они не могут ее мыслить; что хотите — не могут...

Третий момент, мне памятный, был за ужином у «Медведя». Громадный сверкающий зал, море голов, торжественная музыка... Но вот стучат по тарелке, все смолкает. Сидящий по правую руку Суворина Хомяков, председатель Государственной Думы, говорит своим известным всему Петербургу голосом старого папаша, что он гордится честью, по просьбе юбиляра, провозгласить первый тост за здоровье Государя Императора... Такого бурного гимна я не слыхивал в своей жизни. Дрожали стены. В огромной, не слишком стройной толпе голосов вплетались могучие голоса оперных артистов. Я сидел между двумя членами Государственной Думы — левым октябристом и крайним правым — оба пели гимн с одинаковым увлечением. Пел подошедший сзади камергер, заливался в двух шагах старый соловей русской оперы Фигнер, выводил героические ноты Ершов, со всем одушевлением молодого голоса пела гимн очаровательная примадонна оперы. Чудесно! Это был порыв настоящий, захватывающий неудержимо всю толпу, порыв искренний, как землетрясение...

Господи, какое это славное чувство — единодушие, хотя на один миг! Ругают толпу, говорят, что это тысячеголовый зверь. Пусть так, но что такое зверь — разве мы знаем? А особенно зверь человеческий, тысячеголовый? Зверь во многих отношениях блаженнее человека, искреннее его, в инстинктах своих разумнее, а иногда и нравственнее царя природы. Я, по крайней мере, не встречал еще зверя — грязного пьяницы, клеветника, фальсификатора, ростовщика, предателя, не встречал зверя-ханжи, зверя-иезуита, цинического невежды, притворяющегося, что он умен. Звери — загадочные и милые существа, как бы с других планет. По мнению Гёте, звери близки к богам. Лев, орел, бык выражают собой откровение какой-то высшей жизни, как и человеческое лицо четвертого евангелиста. Если толпа — зверь, то народ — ведь тем более зверь, а между тем глас народа — глас Божий. Не составляет ли задачу всех философов и проро-



ков объединить толпу, дать ей общее верование, одно сердце и одну душу? Собранное из анархии, такое многоголовое существо приобретает, мне кажется, выше чем человечность. Народ единоклубный приобретает могучие страсти, титанический размах тех чувств, которые в отдельных людях тикают, как маятники карманных часов. Не все ли равно, в каких словах и звуках скажется, например, чувство, что жива Россия?

Если оно хотя бы на миг объединит нас в громовых криках — я чувствую, что это жизнь, большая жизнь...

На юбилее Суворина на несколько часов сошлась подлинная, натуральная Россия и дала понять, что она еще есть, что она и впредь будет, как была. С необыкновенным любопытством я всматривался в столь знакомое мне лицо центрального в этот день русского человека и в огромную толпу, его окружавшую. «Всматривайтесь зорко в факт природы, — вспомнил я совет Флобера. — Еще раз пристально всмотритесь в него, наблюдайте до возможного напряжения — и вы непременно найдете нечто новое, до тех пор не замеченное». Хотелось бы понять, наконец, что такое мы, Россия, судя вот по этим, сошедшимся вместе людям. Как хотите, в общем это наша человеческая природа, притом сильного типа. Мы, Россия, похожи не на строевой лес, что ствол к стволу поднимается к небу стройными колоннами, где стоит, как в храме, сумрак и смолистый запах. Строго, чинно, в нерушимом каком-то порядке стоят некоторые законченные народы. Мы, наоборот, напоминаем чернолесье, где перемешаны все породы, где анархия зеленого узора, стволов и сучьев не поддается никакому определению. Все перепутано и тем не менее — картинно, богато, разнообразно и, пожалуй, даже более полно жизни, чем в подобранных расах Востока или Запада. Чего нам недостает — это чистки, ухода. В чернолесье — как растения в диком поле — народы душат друг друга, взаимно глушат. Сильные существования окружены зачаточными, подлинными — мнимыми. Как в нечищенном чернолесье, сколько в России бурьяну, сколько безнадежных особей, сколько ходячих претензий, которым не суждено сбыться! Они засоряют жизнь, больше того — они засоряют историю русскую, как и всякого слишком еще стихийного и сырого племени.



Не-самозванец

А. С. Суворин в числе других пристрастий, а именно: к театру, к женской красоте, к книгам, к журнальным сшибкам и пр. — имеет одну слабость: к истории России, в частности, к эпохе самозванцев. Как справедливо сказано в одном ученом адресе, исторические изыскания Суворина относительно этой эпохи оставили свой след в науке. Самозванство в самом деле любопытное явление, и не только историческое. Если самозванство определить как претензию, то самозванством особенно изобилует современная Россия. Мимо длинного носа Гоголя такое явление, конечно, не могло пройти, не зацепившись, и в лице И. А. Хлестакова мы имеем более вечный тип, чем в лице разных Лжедмитриев, из которых последний «был едва ли не жид», по выражению Устрялова. А. С. Суворин, кажется, убежден, что так называемый Гришка Отрепьев был подлинный Дмитрий Иванович, сын Грозного. Семисотлетняя династия варягов разбилась не о нашествие татар, не о какую-нибудь внутреннюю катастрофу, а о забравшуюся внутрь страны, к самым центрам власти, инородческую интригу. Не захвати трон Мономаха татарин, не было бы причин скрывать последнего Рюриковича, не было бы возможности фальсифицировать настоящего царя в поддельного. Вся драма Лжедмитрия в том, что он был подлинный Дмитрий, а его расславили не подлинным. В качестве такового его не только убили, но и утвердили каким-то мошенником в истории. Восстановить правду об этом царе было бы прекрасным делом. Но мне кажется, подобной же правды скоро придется доискиваться обо всей России. Вся она теми же юго-западными фальсификаторами опутывается почти тою же клеветой. В течение полувека и даже больше Россия, как она есть, объявлена не настоящей, не законной дочерью своего прошлого, а какою-то самозванкой. Настоящая Россия, видите ли, не эта, не Россия царей и чудотворцев, не Россия богатырей вроде Петра Великого, Пушкина, Суворова, Менделеева, — настоящая Россия должна быть Россией гг. Милюкова, Винавера, Пергамента, Грузенберга. Еврейская, несуществующая Россия объявлена подлинной, а русская, существующая, расхаяна как подделка. При-



тязания существующей России царствовать на земле предков приняты как какая-то узурпация, а законным хозяином объявлен «едва ли не жид». Русским патриотам суворинского склада придется — и уже приходится — доказывать, что это ложь, что «так называемая» Россия есть в действительности, что Россия вовсе не притворяется, нося свое великое имя.

В похвалу А. С. Суворину можно сказать то самое, что он сказал о своем царе Димитрии: он не самозванец. Каков он ни есть, он — подлинный человек, не сочиненный, не сочинивший сам себя, как это делают многие, даже иной раз крупные люди. Каких-каких претензий мы не насмотрелись хотя бы за последнее горестное десятилетие! Разве мы не видели старых министров, которые удачно симулировали «глубоко государственных людей», между тем вся мудрость их состояла лишь в том, чтобы, запугивая власть, усидеть на собственном кресле? Разве мы не видели генералов, притворявшихся Суворовыми, кричавших: «Пуля — дура, штык — молодец!», вследствие чего мы остались на войне без горной артиллерии, без пулеметов, с гнувшимися штыками и дурацкой тактикой. Разве мы не видели хитрых журналистов, которые, пользуясь связями при Дворе, притворялись оракулами самой верной преданности, а на деле продавались и покупались, как кокотки? Разве мы не видели святошей, получавших награды и подготавливавших бунт в духовенстве? Одно время от «вождей общества» проходу не было. Радикальный попугай из «Русского богатства» шел за идола. Отставной конногвардеец открывал новую веру. Аристократы рядились в блузы, пахали землю, шили сапоги, объявляли все человеческое насмарку: Евангелие, церковь, государство, отечество, героизм. Художники издевались над поэзией, романисты проклинали любовь. Лень и слабость были воспеты как откровения Лао-цзы и Христа. Ниспровергнуто было все, что выдвинула природа: национальность, характер, пол, все элементы общежития и вкусы. При этом, выпуская одну шумную чепуху за другой, вожди не забывали призывать фотографов и сниматься так и этак, в одиночку и группами — словом, рекламировали себя из всех сил и продавали сочинения свои очень бойко. На босячестве и нищете один посредственный автор нажил миллион, другой —



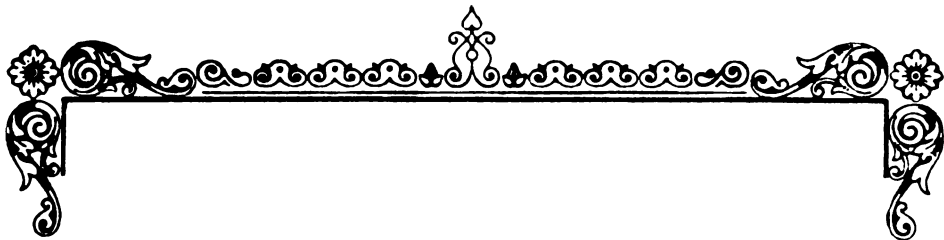
ограбил миллионера во славу революции. Третий воспел какие-то свои пакостные утехы с козой — и сразу был поставлен выше Пушкина. Четвертый объявил себя содомитом — и тотчас стал центром притяжения для молодежи. Пятый, шестой, десятый, сотый впали во всевозможное юродство черта ради, и вся эта бесноватая, полужидовская компания при ревностной поддержке еврейской прессы высыпала на авансцену русской жизни под именем «молодой» России, «России будущего»...

В характеристике А. С. Суворина следует отметить полнейшую неспособность его «играть роль». Как все действительно крупные люди, он жил и действовал, но никакой роли не брал на себя. Публицист — он был действительно публицист, театрал — действительно театрал, издатель — действительно издатель. Тут не было ни малейшего притворства, ни игры, ни рекламы. Суворин никогда, сколько мне известно, не лез в пророки, в вожди общества, во властители дум и сердец. Ему не приходило в голову рядиться *a la* Горький, в рабочую блузу. Он не писал декретов человеческому роду, отменяя сегодня, например, национальность, завтра — половую любовь, послезавтра — собственность и т. д. Никаким декадентством в наш декадентский век Суворин не согрешил, по глубокой скромности своей беря природу, как она есть, как ее измыслил Бог. Всякий истинный талант есть восхищение перед природой, чувство действительности. Таковы были наши классики, начиная с Пушкина. Такова вся старая, органически сложившаяся Россия. Все органическое слагается безотчетно, не зная, откуда является и чем живет. Все органическое — в вечной вражде с анархическим и до сих пор Божьей милостью преодолевает хаос. Как в химии есть вещества кристаллические и — аморфные, есть человеческие характеры, склонные к порядку и не склонные. Последних отродился слишком обильный урожай. Анархизм грызет нынешнее общество сверху и снизу. Босяки, никогда не знавшие культуры, естественные враги ее. Но такие же враги культуры иные утонченные аристократы, которые слишком развращены счастьем, слишком избалованы и безотчетно начинают думать, что «все позволено». На самом деле далеко не все позволено: природа понимает анархизм как разложение, разложение — как смерть. Суворин пото-



му удостоился столь громкого общественного признания, что он по натуре своей чужд анархии. Он — человек старой, трезвой, закономерной культуры, человек, может быть, несовершенного, но все же обдуманного порядка, человек труда. Народы держатся людьми именно такого, органического склада, а не пророками и, уж во всяком случае, не лжепророками.





М. О. МЕНЬШИКОВ

ПАМЯТИ А. С. СУВОРИНА



Вспоминайте обо мне, когда умру», — говорил с затаенным отчаянием А. С. Суворин, уезжая в последнюю свою поездку за границу. Ему, вероятно, уже тогда было ясно, что конец его пришел, но сильный духом, на редкость жизненный человек делал все, что требует здравый смысл: подчинялся докторам, соглашался на операции, пробовал разные чудодейственные средства, особенность которых в том, что чудо совершается над какими-то другими больными, а не над тем, которого лечат в данный момент. Смертельно жаль было «старика», как его звала вся нововременская семья. Его нельзя было не жалеть, ибо, долго зная его, нельзя было не привязаться к этому человеку столь редкой, богато одаренной души...

Возмутительно бессилие петербургской, да и заграничной, если сказать правду, науки. Возмутителен мне лично петербургский «знаменитый» профессор, который целый год лечил Суворина от катара горловых связок, не догадываясь, что это был рак. Удивительно, где глаза были у почтенной знаменитости, — вернее, где был его талант, где было специальное, вроде собачьего,

Статья М. О. Меньшикова «Памяти А. С. Суворина» перепечатывается по тексту сборника: Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998, с. 389-395.



чутье, позволяющее иным одаренным врачам не видеть, а угадывать всякую болезнь, как бы подло она ни пряталась в глубине тканей? Пусть профессор, лечивший Суворина, был вовсе не плохой, а наилучший по своей части в Петербурге, но что же толку! Он приезжал к Суворину и вел с ним очень интересные беседы, между прочим — о новой теории механики атомов, о строении вещества... «Очень интересный человек, — передавал Суворин, — любопытные рассказывает вещи...» Интересный, видите ли, человек, способный судить об атоме, а слона-то, или рака в горле больного, не приметил...

Вообще, сказать кстати, до чего беспомощны иногда знаменитые люди! Казалось, заболел покойный Столыпин, заболел Суворин — их-то уж отстоят от смерти! Все светила медицинские к их, конечно, услугам. Но про Столыпина втихомолку все врачи теперь уже говорят, что именно «светила»-то и спровадили его на тот свет. Как только обнаружена была рана в печени, непременно нужно было делать большую операцию, то есть вскрывать печень и чистить рану. Это до такой степени «непреренно», что один опытный врач, сам сделавший бесчисленное множество операций, показывал мне классический труд одного французского ученого, где названная операция указана неотложной. И если бы катастрофа случилась не в Киеве, а где-нибудь в глухой деревне, и Столыпин оказался бы на руках простого земского врача, то последний с фельдшером непременно сделали бы радикальную операцию и тем спасли бы министра. Невыгода иметь сразу нескольких знаменитых врачей та, что они боятся рисковать, боятся повредить своей установившейся репутации в случае дурного исхода, а потому слагают решение друг на друга и теряют драгоценное время. Получается картина медицинского «бездействия власти», от которого Столыпин и погиб. Боюсь, что то же случилось и с Сувориным. Один специалист и опытный профессор мне говорил, что болезнь Алексея Сергеевича слишком долго не распознали и непростительно затянули. Уже в начале ее нужно было вырезать опухоль с огромными шансами на благополучный исход. В Москве есть педагог с вырезанным горлом, продолжающий читать лекции со вставною трубкой. Может быть, и до сих пор был бы жив дорогой наш старик, если бы



попал на врачей не слишком юных и не слишком уж знаменитых. Урок стареющим общественным деятелям: в ожидании тех или иных старческих заболеваний подготавливайте себе хорошего диагноста и не мудрствуйте долго, не собирайте междоусобиц и не мудрствуйте долго, не собирайте междоусобиц, то бишь консилиумов, у своего, может быть, смертного одра...

Что для меня лично было чрезвычайно тяжело, это видеть, что А. С. Суворина мучило приближение смерти. Чересчур он был жизнеспособен и могуч, и очевидно, естественный предел его был не близок. Есть натуры равнодушные к жизни и к смерти — их не жаль терять. Есть натуры, в которых родник жизни как бы совсем высох, и им еще в молодые годы становится жизнь противной. Они без сколько-нибудь уважительного повода стреляются или вешаются. Таких почти не жаль, как не жаль совсем истощенных старостью и заживо разложившихся. Но видеть, как борется со смертью человек мощной души и еще крепкого тела — тяжело. Не умея ничем утешить, ничем утишить страдания таких больных, я обыкновенно стесняюсь навещать их. Это все равно как если к человеку в крайнем несчастье приходит человек крайне счастливый: один вид его должен быть возмутительным для страдальца. Если мне объявлен смертный приговор, то надо быть великим философом, как Сократ, чтобы беседовать с друзьями о бессмертии и просить их, чтобы увели жену с ее слезами. Если же я не философ, то отчаянию моему нет меры... Из всех посетителей в такие минуты смерть является, пожалуй, самым искренним и, может быть, единственным освободителем от пытки.

Из многочисленных знакомых А. С. Суворина, кажется, только один выполнил свой долг перед покойным и в первый же год после его смерти составил небольшую книжку воспоминаний о нем. Это В. В. Розанов, собравший десятка два писем к нему Суворина и снабдивший их комментариями. У меня, что касается событий, встреч, разговоров, болезненно слабая память, и то, что я в состоянии вспомнить о человеке, — это разве лишь общий его образ, его тип, душа, характер. Помню, что впервые встретился я с Алексеем Сергеевичем двадцать лет назад у Н. С. Лескова, на Фурштаттской. Года два перед этим я стал



подписывать свои статьи в «Книжках недели» и обратил на себя некоторое внимание — между прочим, и Суворина. От его имени поэт В. Л. Величко мне передавал очень лестные отзывы. Уже больной тогда, но еще не близкий к смерти Лесков ко мне чрезвычайно благоволил. Он и устроил «вечерок», чтобы познакомить нас, нескольких «начинающих» его друзей, со знаменитым издателем «Нового Времени». Были тут Л. И. Веселитская-Микулич, А. М. Хирьяков, А. И. Фаресов, кажется, Алехин — толстовец и еще кто-то. Но «вечерок» вышел малоинтересным. Два знаменитых старца — Лесков и Суворин — имели что вспомнить и о чем поговорить, мы же, «молодые», несколько дичились Суворина, и он нас. При всей властности характера и писательской неустрашимости этот корифей печати был очень застенчив и лично скромнен почти до смешного. Из всего разговора тогдашнего помню только жалобу Суворина на Сергея Атаву. «Кажется, чего бы еще человеку: получает шесть тысяч, хочет — пишет, хочет — нет, а кончил тем, что совсем обленился, совсем бросил писать». Я тогда подумал — ох, нелегкая участь издателей и редакторов, если с каждым любящим выпить фельетонистом приходится столько нянчиться...

После первой встречи мне лет семь или больше не приходилось сталкиваться с Сувориным. Помню один сочувственный отзыв его и цитату из моей статьи в «Маленьких письмах» (по поводу «Царя Феодора»). Когда праздновался 25-летний юбилей «Нового Времени», я был приглашен как гость в числе других литераторов. Казалось бы, был повод возобновить знакомство, но я постеснялся им воспользоваться. Навещал я покойного Чехова в суворинском доме — и тоже не встретился со «стариком». Только в 1901 году, когда «Неделя» погибала и мы, сотрудники, пытались спасти ее, — по просьбе В. П. Гайдебурова я поехал к Суворину поговорить — не купит ли он этот журнал. У меня, может быть, не хватило умения и настойчивости в чужом деле, но ничего из него не вышло. Суворин обещал подумать, поговорить с кем-то, наговорил много любезностей по адресу «Недели», основатель которой — Павел Гайдебуров — был товарищем Суворина по «С.-Петербургским ведомостям» Корша. Потолковав достаточно долго о «Неделе» и тогдашних собы-



тиях, уже довольно тревожных, Суворин спросил, где я собираюсь работать. Я назвал два-три предложения, еще не принятые мной окончательно. Он предложил мне писать в его газете. Многие сотрудники «Недели» одновременно работали и в «Новом Времени». Я согласился. Отлично помню короткую формулу нашего «договора», конечно, устного. «По какой же части вы хотите, чтобы я писал?» — спросил я. «Пишите что угодно и как угодно, — я хорошо знаю вас по "Неделе", одно условие — помните, что над нами цензура...»

Гнет цензуры, тогда крайне грубый, теперь перешедший в бесплотное, но еще очень ошутимое состояние, — преследовал Суворина до гроба и за гробом.

Свобода мысли

Рассказываю обстоятельства, при которых я сошелся с Сувориным, чтобы показать, каким духом свободы дышал этот писатель, которого журнальные враги обвиняли в служении обскурантизму. Конечно, он подчинялся инквизиции слова и хоть со скрежетом зубов урезывал и в своих статьях, и в статьях сотрудников слишком «опасные» места. Что он имел право опасаться цензуры, я убедился после первой же своей статьи. Она появилась в конце апреля, а в начале мая 1901 года «Новое Время» совершенно внезапно было приостановлено на неделю за статью А. П. Никольского, теперешнего члена Государственного Совета и представителя наместника кавказского. Подивитесь капризу тогдашней цензуры. Кроме крайне острого пера самого Суворина в «Новом Времени» тогда работала группа довольно ярких публицистических талантов (Скальковский, Сигма, Петерсен, Лялин и пр.), но кара цензурная постигла не их нервные выпады, а вполне уравновешенную и спокойную финансовую статью превосходительного сотрудника, известного патриота, через четыре года получившего на некоторое время даже министерский портфель. Финансовая статья, конечно, была вполне благонамеренной и покоилась на официальных данных — но именно в нее-то и ударили перуны Театральной улицы. Само собою понятно, что Суворин боялся цензуры, боялся всю жизнь



и до самой смерти, ненависть стеснения честной мысли, откуда бы они ни шли. Не боялись цензуры лишь издатели-шарлатаны, которым нечего было терять, которые на цензурных приостановках и закрытиях чахлах листков делали себе рекламу и обирали простодушных подписчиков. У Суворина был огромный корабль «Нового Времени». Он с удвоенной осторожностью вел его по узкому и извилистому фарватеру, где роль подводных камней часто играли бюрократические капризы. То, что сходило с рук мелкоплавающим пирогам и байдаркам разных журнальных дикарей, повело бы к катастрофе столь крупного и в течение долгих десятилетий единственного русского национального органа с серьезным европейским значением. Суворин это знал и был осторожен, оберегая не только свое личное, но и русское общественное достояние. Но что, уступая казенной цензуре, он был истинный сторонник свободы, доказывает полная свобода мнений, предоставленная всем или, по крайней мере, более значительным сотрудникам.

Суворин говорил обыкновенно: «Я вас считаю талантливым писателем, иначе не пригласил бы сотрудничать; этого довольно: пишите что хотите и как хотите». Тупицы левого лагеря называли это беспринципностью, но это было только отсутствие цензуры — той внутренней, домашней цензуры, тирания которой в кружковых и направленных журналах куда тяжелее всякого жандармского надзора. Полицейский надзор все-таки имеет в виду одну довольно узкую область — религиозно-политическую. Вне этого запретного сектора правительство всегда разрешало свободу мнений. Не то внутренние цензора — радикальные редакторы. Кроме охраняемого правительством угла мнений, в котором радикалы предписывают мыслить всегда и непременно наперекор закону, — вся остальная неизмеримая область мышления подвергается стрижке под радикальную гребенку. Ничего индивидуального, ничего несогласного с шаблоном, раз навсегда установленным, точнее — заимствованным от старых нигилистических времен. Бездарности мысли обыкновенно сопутствует ее трусость. Страх отступить от когда-то утвержденного, сделавшегося казенным, «образца» доходит до комизма. Радикалы не замечают, что именно они являются самыми



закоснедыми рутинерами. Мертвую неподвижность их духа нельзя назвать даже консерватизмом. Такими идолопоклонниками без всякой критики могут быть только дикари. Покойный Суворин был слишком талантлив, чтобы помириться с рабством мысли, хотя бы оно налагалось своей же литературной братией. Сделавшись полновластным хозяином большой газеты, он дал писателям ее по крайней мере внутреннюю свободу. Уважая собственный талант, природу которого он ощущал и понимал, Суворин уважал всякое талантливое слово, хотя бы казавшееся ему неверным. Кто знает из смертных, что верно и что не верно? Суворин безотчетно чувствовал, что истинный дух жизни «дышит, где хочет» и что высказанная мысль часто есть просто высказанная воля. Не дать ей высказаться, значит задушить ее, и это всегда похоже на смертоубийство... Надо, чтобы в благородных формах все жило на свете, ибо замыслы Создателя нам далеко не вполне известны. Вчерашний яд сегодня оказывается целебным средством, вчерашняя ересь — сегодня великое открытие. Можно ли взять на себя с легким сердцем роль палача идей? Грубоватой с виду, но по существу тонкой и нежной душе Суворина подобное палачество было противным. Он боролся, сколько мог, с противными мнениями, но не душил их. О, само собой, тут не обходилось без злоупотреблений. Не все случайные и даже постоянные сотрудники «Нового Времени» стояли на высоте понимания самого Суворина. Под предлогом свободы они увлекались нередко и «родством, свойством, дружбою» и разными другими побуждениями. Не все, говорю я, являлись свидетелями достоверными своей собственной мысли. Но это уже их дело — это слабость вообще человеческой природы. Суворин предполагал всех достойными свободы мысли и свободы жизни...

Год прошел с тех пор, как мы его потеряли, но он еще в памяти нашей стоит совсем живой, до осязательности. Казалось бы, имея талант живописца, мог бы с точностью написать портрет. Еще слышишь его голос, обыкновенно ласковый, с оттенком напускного лукавства, — редко ворчливый, часто — страдальческий, но всегда искренний и простой. Удивительно широкая гамма настроений, удивительная способность все понять с намека и полуслова, — еще более удивительная черта не останавливаться в понимании, а продолжать его в поисках чего-то неизве-



данного, еще не схваченного, свежего. И умом, и чувством он жил, как живут таланты, — «упорствуя, волнуясь и спеша». Может быть, не имея слишком отдаленной цели, как тот, о котором сказано был этот стих. Далекие цели вообще несколько подозрительны. Если есть истина и правда в природе, они должны быть близкими. Суворин чувствовал их близость и старался быть верным им. Интегралом этих бесчисленных усилий явилась жизненная и яркая фигура покойного, которую долго не забудет история печати и история России.

Когда-нибудь я расскажу все, что помню характерного о Суворине, чтобы положить это в общую копилку воспоминаний, находящуюся у Б. Б. Глинского. Но советую и себе, и всем знавшим покойного спешить с этим. О, как все мы непрочны, и как быстро изнашивается память даже о замечательнейших людях в обществе! Велик ли год времени, а уже сошло в могилу немало людей, знавших Суворина близко, начиная с его друга Шубинского. Давайте же, по примеру В. В. Розанова, собирать хоть клочки воспоминаний, хотя обрывки, даже в бессвязной (лишь бы точной) форме. Все это могло бы составить интересную книгу, то есть лучший из возможных надгробных памятников. Биография — род литературы в России совершенно зачаточный, между тем и для мыслителей, и для поэтов слова — какой это благодарный род искусства! Вспоминая в этот грустный день незабвенного для нас старца, постараемся, чтобы наша память о нем была унаследована и теми, кто его не знали.



М. О. МЕНЬШИКОВ

КОГО ХОРОНИТ РОССИЯ

 После долгих и невыразимых страданий забылся вечным сном наш бедный Алексей Сергеевич. Смерть как бы сжалилась и остановила пытку более жестокой, чем смерть, болезни. Только несколько дней больной не дожид до столетия той великой битвы, когда отец его, преображенский солдат, дважды раненный и истекавший кровью, был брошен на дно телеги под груду таких же изувеченных и умиравших за Отечество героев. Чтобы выжить при таких условиях, нужна была богатырская порода... Нужна была железная натура его сына, чтобы, израненному болезнью, в течение двух лет знать, что смертный приговор произнесен, что исполнение его — дело ближайших месяцев, знать, что никакая власть в мире уже не в силах остановить этого приговора, — и не прийти в отчаяние... Впрочем, кто может уверенно сказать, что пережила эта богатая и страстная душа, полная почти юношеской жажды жизни? На человеческом языке нет слов для переживаний предсмертных. Но один уже вид в последнее время этого великого страдальца говорил, что здешний мир для него сделался хуже всякого загробного

Статья М. О. Меньшикова «Кого хоронит Россия» перепечатывается по тексту сборника: Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М., 1999, с. 349-354.



состояния... И вот наконец для него «настала великая тишина», говоря словами Апокалипсиса.

Есть люди, со смертью которых как бы умирает часть России, до такой степени кипучая и увенчанная славой жизнь их сплетается с жизнью родины. С Сувориным, как недавно с Львом Толстым, Тургеневым, Достоевским, Менделеевым, Скобелевым, Чайковским, постепенно умирала современная им Россия. Отличный от них, Суворин был значением своим и талантом в одном ряду с ними: выкинуть его из истории нашей за последние полвека никак нельзя. Вместе со всеми первыми в разных областях жизни Суворин был человеком, делавшим историю, тогда как подавляющее большинство современников только переживают ее.

Чтобы делать историю, нужно прежде всего быть кровным сыном своего народа и унаследовать именно богатырские его черты. Удивителен был по могучей крепости бородинский герой, отец Суворина. Не менее удивительна была мать его, дочь соборного протопопа. Уже взрослый, Алексей Сергеевич, бывший высокого роста, мог поцеловать свою мать не иначе как поднявшись на цыпочки. Когда эта величавая черноземная мать с берегов Битюга уже старухой бывала в Петербурге, она, говорят, головой возвышалась над толпой. Столь мощное духовенство (в родстве с Тихоном Задонским) соединилось с не менее сильным крестьянством воронежского приволья, чтобы в данном случае создать человека нового в нашей истории — газетного писателя. Вместе с актерами, учителями, художниками, учеными, мелкими поэтами и романистами класс газетных писателей пользовался у нас до середины прошлого века феодальным пренебрежением. И талант, и даже образование в России были подавлены бытовой знатью, к тому времени уже значительно выродившейся. Нужны были великие таланты во всех областях интеллигенции, чтобы сбросить гнет этот и извержением — чисто вулканическим — новых идей перестроить общество сообразно с новой его природой. Эта перестройка далеко еще не окончилась, она осложнилась вовлечением в нее буржуазных и рабочих классов — но ход истории не поворачивает назад. Громадный исторический переворот идет стихийно, и талантливые люди во всех



областях бессознательно ведут его творческую работу. Суворин был одним из тех немногих, что создали новый тип гражданственности — общественную и государственную публицистику. Вместе со Щедриным и Михайловским, с одной стороны, и Катковым и Аксаковым — с другой, Суворин в большей степени, чем они, создал новое политическое учреждение — печать. Называю печать учреждением, ибо она давно переросла характер частного промысла или дешевого развлечения. По гегелевскому закону эволюции, современное общество, видимо, возвращается к республиканскому типу, к эпохе, когда на площадях городов гремели ораторы и народные трибуны. Политическая печать есть, бесспорно, современное вече, а писатели — те же ораторы. В лице публицистов, несомненно, возродились древние трибуны, заступники за народ, надзиратели за государственными интересами. Отстающая от культурной семьи народов Россия и здесь почти на столетие позже развила сколько-нибудь независимую печать. Но чего стоила эта победа жизни, если еще можно говорить о победе! Суворину история России обязана, как и Каткову (и в степени гораздо большей), появлением ежедневной печати как силы влиятельной и временами наиболее влиятельной из всех.

К глубокому сожалению, мир, как в древности, так и теперь, «во зле лежит». Исторически нездоровое, отравленное старческими недугами наше общество не имеет над собою иного суда, как собственное о себе мнение, хаотическое до последней степени. Как на бурном новгородском вече, наша молодая печать быстро поделилась на лагеря и вступила в междоусобную борьбу. Наиболее сильные голоса, несущие государственное сознание и чувство народной чести, очень часто тонут в урагане воплей людей «молодых», а нередко и простой черни, всегда завистливой и раздражительной. «Новое Время», поднявшее значение печати на небывалую высоту, не имеет более ожесточенных врагов в обществе, как среди печати же, и главное преступление этой газеты — ее успех. Суворину никак не могли простить его блестящего таланта, покоряющей увлекательности его пера, его знаменитости, а главное — материального успеха... Как это ни постыдно для человеческой природы, зависть — самая низкая,



черная зависть — не чужда деятелям даже высоких общественных призваний. И не только зависть бездарности в отношении к таланту, но также горькая зависть бедняка к человеку, выбившемуся из бедности. Не идейное вовсе расхождение, а главным образом эта пролетарская зависть была и остается источником клеветы, омрачавшей жизнь Суворина. Еврейские газеты не постеснялись даже перед открытым гробом покойного повторить свои грязные и плоские, как истоптанная мостовая, обвинения. Без элементарной проверки, без тени осведомленности повторяют умышленную ложь, будто руководимое Сувориним «Новое Время» всегда приспособлялось к господствующему в данное время влиянию. В действительности же «Новое Время» очень часто создавало господствующее настроение; не оно приспособлялось к обществу, а заставляло общество прислушиваться к своему искреннему голосу и пробуждало инстинкты, которыми само было одушевлено. Надо было знать Суворина лично, надо было годами вглядываться в эту сильную и гордую натуру, чтобы понять, мог ли он сознательно к чему-нибудь приспособляться, мог ли пойти на какое-нибудь «угодничество». А главное — надо же понимать природу талантливой души, особенно столь высоко одаренной, какой обладал Суворин.

Я его молодости не знаю, не помню даже зрелых его лет. Я застал Суворина 67-летним старцем, уже охлажденным жизнью, несколько утомленным и разочарованным. Но, пережив с ним предреволюционные годы, несчастную войну, революцию и бесильное теперешнее «успокоение», я видел этого старика в огне великих испытаний, и его подлинная душа, мне кажется, мне известна. Поймите же, что тайна писательского таланта есть искренность и непритворность! И Белинского, и Каткова обвиняли в измене убеждениям, обвиняли в том же Добролюбова и Герцена. Но надо же когда-нибудь понять, что в подобных случаях перед вами измена не подлых, а благородных душ. Чем же виноват был Пушкин, что гениальная душа его вмещала все настроения, доводя их до высшей красоты? «Ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром» — на все полнозвучным эхом откликалась чуткая и нежная душа таланта. Искренний поклонник великого Самодержавия, каким он его мыс-



лил, Пушкин был искренним поклонником и великой революции — в моменты ярости своей против бездарной тирании. Суворин в молодости, говорят, был радикалом. Если так, то, очевидно, он был искреннейшим радикалом и честнейшим из них, ибо иным он быть не мог. Когда, нагнавшись мерзостей и пошлостей радикализма, он остыл к нему и под давлением несчастной войны 1877 года примкнул к тогдашнему славянофильству — будьте уверены, что это произошло искренно и безотчетно, вот как черные волосы у людей под старость делаются белыми. И постоянный либерализм «Нового Времени», и постоянная государственность его, и систематическая поддержка правительства, и борьба с ним — все решительно настроения, которым Суворин давал место в «Новом Времени», увлекая общество, были его искренними переживаниями и совершенно невольными. Тупицы, лишенные таланта, судят по себе, совсем не понимая природы одаренного человека. Если тупица одержим одним духом — духом глупого равнодушия ко всему, позволяющим раз записаться в партию и умереть в ней, — то человек даровитый есть вместилище другого, более высокого духа, который «дышит где хочет». Блаженны верующие, раз навсегда отказавшиеся от свободы, — но что вы поделаете, если человеку Бог дал вечное сомнение, вечную тревогу за истину, вечное сознание, что и сам можешь ошибиться, а тем более могут ошибаться людишки, что поют с чужого голоса? Будучи на голову выше современной ему журнальной среды, Суворин чувствовал, до чего это дешевый товар — партийная истина и кружковая совесть. Будь он бездарностью вроде Нотовича или хитрым дельцом вроде Михайловского — разве трудно ему было бы весь век сидеть в позе какого-нибудь радикального идола и принимать обеспеченные курения? Но для высокого таланта это показалось бы нестерпимо скучным, противным и даже преступным. Вся природа Суворина возмущалась против трафаретных идей. Он вперял с напряжением всю силу зрения, необычно зоркого, в каждый предмет, чувствуя, что всегда остается в нем глубина, недоступная для взора, и потому всегда возможна иллюзия, самообман. Поэтому в каждый момент он говорил то, что видел, не ручаясь, что разглядел вещь окончательно и до дна. Если Сократу было про-



ститительно говорить: «Я знаю, что ничего не знаю», — то почему не допустить столь же искреннего сознания у современных людей большого таланта и, стало быть, большой проницательности? Богатырское детище своего народа, Суворин жил не личным только, а всенародным разумом, всенародным чутьем, и вместе с великим народом столь же искренне изнемогал в поисках, сомневался, доискивался правды до конца! Разве народ наш когда-нибудь держался одного политического направления? Подобный океану, разве в вере своей в небесную и земную власть народ наш не колебался в течение всей истории? И Сергей Радонежский, и Аввакум, и Сусанин, и Пугачев — дети одной матери-России...

Вместе с наиболее одаренной и честной частью русского общества Суворин постепенно рос в своем государственном и национальном сознании, но эта перемена была не изменой, а органическим ростом. Рабы партии никак не могут понять логики публициста, сегодня поддерживающего власть, чтобы завтра метать на нее громы, и наоборот. Но государственная логика по существу не схожа с партийной. Маленьким кучкистам партии, не видящим из-за кучки ни родины, ни целого света, очень легко быть последовательными: отрицай всякую власть, да и баста! Но государственному сознанию Суворина были открыты далекие перспективы и в даль и в глубь истории. Он чувствовал, что государство вещь необъятная, как народ, стихийная, капризная и, в конце концов, как сам человек, — вещь непознаваемая. В таком царстве чудес, как жизнь, нельзя брать навсегда прямолинейный, маниакальный путь, иначе — как медведь, ломящий по целине, вы непременно будете топтать чью-то свободу и чьи-то нежные, как жизнь, права. Правительство — общий наш национальный орган — это чудовищная сила, орудовать которой нужно с большой осторожностью. Как крестьянин на проселке то и дело одергивает лошадь сообразно извивам дороги, так и серьезному общественному сознанию приходится приглашать власть то вправо, то влево. Ведь и в истории народа, как на деревенской дороге, нужно обходить препятствия, чтобы продвигаться хоть с жертвованиями направления, но вперед. Как крестьянину приходится иногда подстегивать, но всегда беречь



и поддерживать лошадь, даже плохую, так и национальному обществу — свою власть. Убейте, если угодно, лошадь, как хотели бы революционеры, — посмотрим, далеко ли вы уедете. Суворин из молодого озорства, может быть, радикальничал в юношеские годы, но, очутившись на государственном посту — руководителем самой крупной русской газеты, он понял свои обязанности к родному государству. Он очень больно подстегивал бездарную часть бюрократии, и не одна министерская карьера погасла в капле его едких чернил, — он и умер, сколько мне известно, в глубоком страдании за Россию, чувствуя бессилие власти. Но он же систематически оберегал сколько-нибудь достойную власть, как двигатель какой ни на есть государственности. «Бесчувственному легко быть твердым», — сказал Шекспир.

Легко быть последовательным равнодушному, не ощущающему никакой ответственности. Но чрезвычайно трудно быть последовательным, когда более многих и многих отвечаешь за государство, за свой народ, за свою историю. Суворин же и по возрасту своему, и по богатству духа был один из чувствовавших на себе тяжелую историческую ответственность.

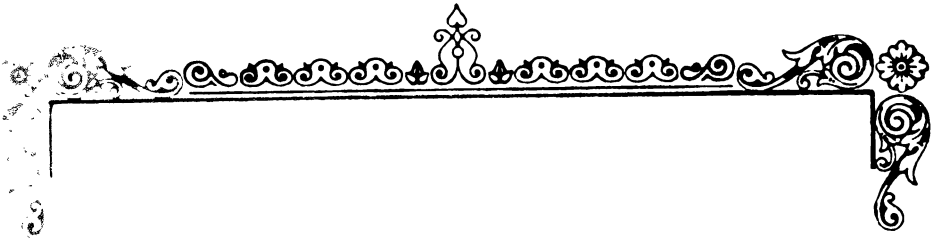
Беспримерная в истории русской печати 36-летняя работа «Нового Времени» была живой государственной работой, непрерывным законосовещанием, помогавшим законодательству и часто направлявшим его. Но кроме государственности народ живет еще и общественностью — безгранично тонкими и важными интересами быта, нравов, обычаев, культуры и цивилизации. Современная газета должна обслуживать все, чем дышит мир. И Суворину-государственнику приходилось делить свой талант и сердце на столько деятельностей, что их хватило бы, пожалуй, на дюжину крупных деятелей. Много, за что он брался, приносило ему нечаянный доход (в том числе и «Новое Время»), но, пожалуй, еще большее число культурных его затей давало ему вполне ожидаемые убытки. Вышедший из суровой бедности, Суворин не питал ни малейшего пристрастия к деньгам: он щедро сеял их для культурной жатвы, собрать которую уверенно не рассчитывал. Таковы театр, театральная школа, контрагентство, дорогие и дешевые виды издательства, книжные магазины, огромная библиотека, некоторые журналы и газеты.



Его тешила, как западных европейцев, широкая, но всегда просветительная предприимчивость, хотя бы обставленная неудачами. Ему нравилась кипучая жизнь с ее надеждами и разочарованиями, с живой драмой сотен и тысяч труженников, вовлеченных им в общую работу. «Нажива!» — кричат низкие люди, сгорающие от зависти при виде трех или четырех миллионов, сложившихся у Суворина за полстолетия титанического труда. Но нажива могла бы быть стимулом их маленьких душ, а не его большой души. Если бы дело состояло в наживе, то по примеру еврея Бака, основателя «Речи», Суворин занялся бы казенными поставками или железнодорожными подрядами, выжимая из рабочих пот и кровь. Или по примеру множества ничтожных жидков Суворин в два-три года нажил бы миллионы на биржевой игре. Или по примеру отечественных, ныне радикальных кулаков он нажил бы десятки, а может быть, и сотни миллионов на ситцевой, сахарной, угольной, нефтяной наживе. Но Суворин был только писатель, писатель с головы до ног, как Лир был король с головы до ног. Божией милостию артист пера, Суворин со всей страстностью своей несколько южной крови, со всем упорством железной породы, выросшей на берегах Битюга, со всем благородством героических предков шел к одной лишь цели — служить России. И он служил ей, пока смерть не прервала ему дыханье и пока свет не померк в глазах...

Пусть Россия наживет другого Суворина — и тогда почувствует, кого она сегодня хоронит.





ПАМЯТИ СУВОРИНА



Умер старик Суворин». Эти слова разойдутся по России и по всему образованному миру. Уже более четырех лет мы не читали его «Маленьких писем», но знали, что он остается, несмотря на тяжкую болезнь, гением-хранителем созданной им газеты. И в ночь на 11-е августа, на семьдесят восьмом году своей многолетней жизни, отошел в вечность первый по уму и таланту русский публицист нашего времени.

Каждому русскому надо припомнить, что сделал для своего народа этот русский человек, внук крестьянина, сын офицера, что сделал он за свою долгую жизнь, которая вся была жизнью самообразования, труда и борьбы, сначала тяжелой борьбы за существование, потом борьбы за свои убеждения и идеи. Он не только создал лучшую русскую национальную газету, наиболее талантливую, осведомленную и влиятельную. Он создал дешевую русскую культурную книгу в стране, где долгие годы дешевая книга была синонимом лубочной сказки, сонника или гаданий Мартына Задеки. Он первый дал русскому народу доступного всем Пушкина и многих других наших писателей.

Статья «Памяти Суворина» перепечатана из журнала «Светлый Луч» (1912, № 8, с. 10-17). Опубликовано без подписи.



«Дешевая библиотека» Суворина, являющаяся дополнением к его дорогой газете, расходуется по России в сотнях тысяч экземпляров и является могучим орудием истинного просвещения.

В его писательском облике было больше чувства, чем воображения, и больше ума, чем чувства. Это был тонкий, гибкий ум, недавно в его семье принявший за работу, а потому свежий, восприимчивый, на все смотревший широко раскрытыми глазами. Похожие умы были у Ломоносова и у Погодина. Этот жадный к познаниям ум руководил сильным чувством борца, солдата, наносящего удары не только с мужеством, но и с удовольствием. И по мере того, как развивался ум, поле работы делалось все шире и шире, пока не охватило оно весь мир, среди которого он отстаивал для своей родины по праву принадлежащее ей место, завоеванное такими же, как он, пахарями-воинами.

Писательская борьба Суворина была борьбою за просвещение и свободу своего народа, за его хозяйственное развитие, за его державные права среди других народностей Империи, за великодержавные права русской Империи среди других народов мира. Его свободолюбие, его демократический либерализм никогда не витал в облаках вне времени и пространства, его требования были исполнимы и он ставил их на основу народности и государственности. Талантливый, свободолюбивый фельетонист шестидесятых годов, годов первого пробуждения нашей общественности, горячий защитник славянства в семидесятых, умный проповедник русской народной идеи в восьмидесятых, умеренный прогрессист в девяностых и непоколебимый страж русской государственности во время освободительного развала, он изменялся вместе с изменениями русской жизни, рос вместе с нею, всегда охраняя все, что было в этой жизни жизнеспособного и необходимого для народного преуспеяния.

Происходя из крестьян Воронежской губернии, где суровые великороссы смешались с мягкими и певучими малороссами, он был свободен от резкостей московского национализма, он жил сам и давал жить другим. Его любовь к театру, его увлекательная разговорчивость и отзывчивость определялись, может быть, солнцем его родины — Боброва, на 9 градусов южнее Петербур-



га, как его боевой публицистический дар вышел, может быть, из долгих войн, которые вели его предки с ногайскими татарами после падения Большой Орды.

Я познакомился с А. С. Сувориным летом 1893 года и самая моя энергичная писательская работа прошла в течение 11 лет в его газете. В 1899 году мы вместе с ним выступили против студенческих беспорядков и навлекли на себя гнев «Союза взаимопомощи русских писателей при русском литературном обществе», в котором мало было писателей и еще меньше русских. Мы виделись часто и много спорили, во многом соглашались. Меня всегда поражал тонкий ум Алексея Сергеевича, огромная наблюдательность, огромная память, глубокое знание русской литературы. Это был не только большой писатель, но и великий чтец перед Господом. Его библиотека для частного человека была огромна. И его начитанность была необыкновенна, в чем я могу быть судьей, так как и сам прочел на своем веку многие тысячи томов.

Редакционная работа, руководство книгоиздательством и хозяйственными делами созданного им огромного предприятия отнимали у него много времени, нужного для писательства. Редактор и писатель не мирятся между собою: «служенье музе не терпит суеты», и в особенности суеты редакционной. Но собрать на большое русское дело талантливые русские силы — заслуга не малая, не меньше, чем самому писать талантливые и тонкие «маленькие письма».

Буренин, Терпигорев, Скальковский, Татишев, Чехов, Петерсон, Маслов, Дьяков, Амфитеатров, Потапенко, Розанов, Меньшиков — все это люди таланта, разнообразного и несомненного, и все они объединились в одной общей работе под руководством Суворина. Прежде задачей нарождавшихся газет было: «убить «Новое Время». Убивать «Новое Время» собирались «Петербургские Ведомости» Ухтомского, «Россия» Сазонова и Амфитеатрова, «Северный Курьер» Барятинского, «Русь» и многие другие. Но национальное предприятие, созданное Сувориным, развивалось и крепло, и новые газеты только содействовали его улучшению, так как оно, при появлении каждой новой газеты, начинало подтягиваться и сильнее работать. Чаше из



кабинета над редакцией начинал раздаваться громкий хозяйский голос и чаще возвращались гранки с пометками и исключения издателя в кабинет ночного редактора. Мастерский удар пера — и газета опять привлекала читателя и снова брала верное направление, отвечавшее настроению лучшей части общества.

Заслуга Суворина как редактора газеты заключалась в его уважении к таланту и в представлении таланту широкого поля развития, а это — редкость в стране земельного, военного и чиновничьего социализма, в стране уравнилельных наделов, производства по линии и ненависти к «выскачкам», которыми не могут не быть все сильные и способные личности, в стране депотического радикализма, который, прежде всего, от писателя требует послужного списка оппозиционности и ран, полученных в выступлениях против правительства.

Демократизм Суворина, с легкой примесью деревенского социализма, был глубоко национальным. И эта национальность его демократизма заставила его перейти от западного либерализма шестидесятых годов к либерализму национально-русскому.

Построив огромную Империю, мы не смели мыслить без немецкой, польской, а в последнее время еврейской указки. Профессорским тоном М. М. Стасюлевич и В. Д. Стасович преподавали нам европейский либерализм, сообщая нам не без горделивой улыбки, что культуру внушил нам Петр Великий плетью по голой спине в то время, как поляки писали латинские стихи и готовились к сочинению либеральных конституций. Мы это очень хорошо знали и сами, но в каждом русском сидит Грозный, говоривший, по словам поэта: «молчи, холоп, я каюсь и унижаться волен». И в этом возмущении против инородцев, которая придала определенную окраску газете покойного публициста, выражалась не военная доблесть завоевателя, а долгими веками давивая народная мысль, которая чувствовала свой плен, создавала свое будущее и возмущалась своим настоящим. Теперь эта мысль вышла на свободу и ей нечего защищаться, нападая. Ей дан законный путь выражения. Свободная, она может быть столь же широкой и благожелательной, как и мысль культурного европейца. Но в семидесятых годах русская мысль была гонимой. Менделеев почитался недостойным вассилеостровской академии.



Целые области русской жизни были заняты инородцами. Русскому приходилось у себя дома быть почтительным, а иногда и униженным просителем. И понятно, что борьба против инородцев, борьба не политическая, а идейная, велась газетой Суворина резко и язвительно. Русская Дума предчувствовалась, ожидалась, но к ней надо было прийти путем сильного самоопределения русской личности, со всеми ее благами и всеми дурными ее сторонами. Во время боя нет места благожелательности. Ее можно проявлять только после победы.

Но если газета А. С. Суворина злоупотребляла иногда своими талантами в беспощадной борьбе с инородческими течениями мысли, то она всегда стояла горой за русские интересы, за русское земское дело, стояла за него широко и твердо. И так как естественным защитником русского дела должно быть русское правительство, то Суворин и поддерживал его, пока это было возможно, а во время смуты решительно стал на сторону законной власти, которая одна, в то время, представляла преемственную русскую государственность. Когда совет рабочих депутатов собирался арестовать правительство, тогда А. С. Суворин имел мужество показать всю нелепость создавшегося положения, и в этом его большая заслуга. Во время пожара мало убеждать, надо кричать, звать пожарных, надо спасать. В этом — долг честного гражданина. И долг этот был им выполнен.

Те газеты, которые вышли из «Нового Времени»: «Россия» Амфитеатрова и «Русь» принесли очень мало пользы, по сравнению со своей «метрополией». Мало кому известно, что А. В. Амфитеатров, ушедший из «Нового Времени» якобы вследствие несочувствия своего к отношению газеты к студенческой забастовке 1899 года, перед уходом своим написал против студентов столь резкий фельетон, что его счел неприличным и не пропустил А. С. Суворин, а издатели «Руси», предоставившие свои столбцы проповеди польской автономии, писали в «Новом Времени» против поляков столь резкие статьи, что вызвали его негодование.

Как писатель, Суворин не обладал большой фантазией и идеализмом, он писал больше умом, чем сердцем. Он тонко и добродушно высмеивал и приводил к нелепости утверждения



своих противников, но иногда вспыхивал сильным и ярким негодованием.

В его запасе было мало слов, но он великолепно умел ими пользоваться. Он знал множество людей и понимал их слабости. Жизнь не оставила в нем места для идеализма, она была жестока к нему лично. Он не прошел сколько-нибудь серьезной школы и ему пришлось своим трудом открывать себе Запад. Лет десять тому назад я застал его со словарем над Шекспиром. Он читал по-немецки и по-французски и немного говорил на этих языках.

Заслуги этого русского самородка перед русским просвещением, русской государственностью и русской журналистикой известны и его друзьям, и его врагам. Он создал большое национальное газетное дело, которое не может и не должно погибнуть. Он поставил русского журналиста на такую высоту, которой достигали ранее лишь единичные высокоодаренные личности. Он много сделал для просвещения народа своей дешевой библиотекой и книгоиздательством. Он много поработал для русского театра. Много литературных тружеников обязаны ему широкой поддержкой в трудные минуты. Тяжелая жизнь не ожесточила его. В нем билось доброе и благородное сердце.

Теперь это сердце перестало биться. Но русская земля не забудет его имени среди имен других выдающихся русских людей, которые, каждый по-своему, работали над пробуждением самосознания русского народа и над увеличением свободы и света в области русской государственности.

Иностранная печать об А. С. Суворине

Большую статью, посвященную памяти А. С. Суворина, печатает «Times». Газета дает подробный биографический очерк и указывает на разностороннюю и кипучую деятельность покойного, который был не только выдающимся европейским журналистом и основателем популярнейшей русской газеты, но и организатором целого ряда предприятий, одухотворенных просветительными целями. В частности, он много содействовал при помощи своих дешевых изданий распространению в России известных европейских авторов. Свою газету «Новое Время» покойный Суво-



рин умел вести с неизменным успехом, что требовало большого искусства при былых цензурных условиях. Быть может, это умение не бояться и не вызывать кар и создало то распространенное за границей мнение, будто «Новое Время» является в сущности правительственным органом, даже органом русской бюрократии. Мнение это совершенно неправильно, и политика «Нового Времени», как внутренняя, так и внешняя, была всегда вполне независима. «Новое Время» — орган национально-русский, и потому не может искренно не поддерживать конституционного строя. В иностранной политике газета Суворина сыграла важную роль в истории союза с Францией, который она постоянно поддерживала; в последние годы она сочувствовала сближению с Англией, поняв, что наступает подходящий исторический момент. Сам Суворин был талантливым писателем, и его «Маленькие письма» можно назвать знаменитыми. Во главе газеты в качестве редактора стоит в последнее время старший сын покойного.

«Россия потеряла самого крупного и известного представителя своей периодической печати, — говорит «Daily Telegraph». — Покойный Суворин основал «Новое Время» — популярнейшую русскую газету. Нет, вероятно, такого угла в цивилизованном мире, где бы ее не знали как руководящего органа национально-русского направления и в этом смысле не считались бы с ее взглядами». «Daily Telegraph» приводит биографию покойного и указывает, что издатель «Нового Времени» был сам большим писателем, притом не только журналистом, но и драматургом. Театр была другая излюбленная стихия этого разностороннего человека, создавшего столько просветительных предприятий. Пятидесятилетний юбилей деятельности Суворина был отмечен всей Россией и удостоился милостивого внимания Государя. Со всех концов стекаются сейчас выражения соболезнования, искренно скорбят все работавшие и служившие при покойном, который отличался всегда редкой отзывчивостью и щедростью.

В парижской газете «Temps» дается следующая характеристика покойного А. С. Суворина:

«Закончилась долгая, благородная жизнь. Со смертью Алексея Суворина русская литература потеряла одного из наиболее блестящих своих представителей, а европейская журна-



листика — одного из своих главных руководителей. Скромность его происхождения — из провинциальной семьи мелкого дворянства — указывает, что он всем был обязан самому себе и решительно ничем связям и протекциям. Он унаследовал от крепких, любящих свою родину крестьян те свойства характера и темперамента, которые создают «*represantive men*» и которые дали России великого гражданина.

Он получил воспитание в кадетском корпусе, единственном учебном заведении того времени, которое давало полное общее образование, и очень молодым прибыл в Петербург, где сперва пробовал свои силы на поприще драматургии. Многочисленные бытовые комедии и исторические драмы свидетельствуют о его литературной плодовитости. Оставшись до конца жизни одним из наиболее просвещенных любителей театра в Петербурге, он отдал ему часть своей влияния и состояния. Ему обязаны учреждением популярной сцены и драматической школы, которая немало способствовала развитию близкого ему искусства.

Его настоящая дорога, найденная им случайно, была журналистика. Только в этой области могла развиться и принести плоды его живость, легкость, ясный и здравый смысл. Огромный успех «Нового Времени» является доказательством этого.

Собственником этой газеты он сделался с 1876 года, и благодаря ему «Новое Время» заняло в русской жизни и в глазах европейского мнения выдающееся положение.

С литературной и политической точки зрения «Новое Время» было точным отражением личности его основателя, оно было его газетой, его *созданием*, Алексея Сергеевича. В близком соприкосновении с сотрудниками жил он в том же помещении, где находилась и газета — этот примерный руководитель газеты вникал во все. Непрерывающееся наблюдение над редакционной жизнью и работой пополнялось им тем исключительным вниманием, с каким он следил за русской литературой вообще, и чутьем, с каким он умел найти, привлечь и привязать к газете новые таланты.

Непрестанно обновляемое, укрепляемое и расширяемое «Новое Время» около десяти лет назад стало одним из тех органов общественного мнения, с которыми считаются правительства и которые даже в неограниченно монархическом строе выходят из-



под административного контроля и не признают никакой иной цензуры, кроме своей собственной. Это привилегированное положение газеты особенно выделило ее в тот момент, когда в русском общественном мнении зародилась агитация 1904-1905 гг. в пользу реформ. Выслушиваемый с большим вниманием, чем все другие русские публицисты, и имевший возможность сказать больше всех, Алексей Суворин был в то же время самым осторожным и сдержанным.

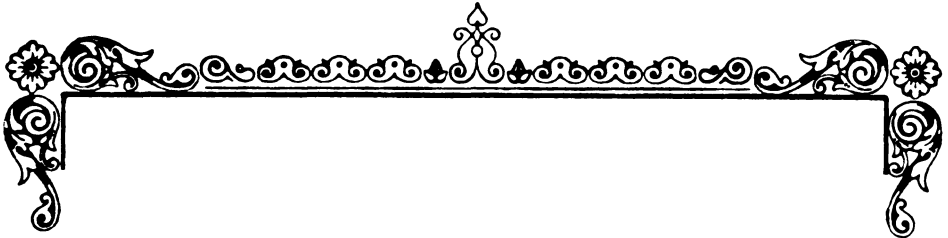
Удивлялись, видя, что этот старый либерал остается спокойным в своих «Маленьких письмах», скромно помещаемых им на третьей странице своей газеты, посреди конституционной лихорадки, охватившей страну. Относясь скептически и к симметричной системе Шипова об образовании палаты путем кооптации, и к «четырёхвостке» кадет, он первый наметил линию русских реформ, между современным европейским парламентаризмом и древним московским представительство, земским собором. Он заявил, что Г. Дума должна прежде всего предоставить место крестьянским депутатам, *но не давая им большинства*, и выставил в 1905 году избирательные принципы, осуществленные в законах 1907 года.

В то же время он приветствовал названием «конституция» издание основных законов в 1906 г. и взял за критерий своих суждений широкое участие в выборах крестьян. Не входя в подробный разбор новых законов, в точности даже не зная их, потому что, писал он, «я никогда не читаю законов», он припоминал все свободы, дарованные на его глазах русскому народу, начиная со свободы курить на улицах, и резюмировал все порывом надежды на дальнейшее обновление.

«Это действительно весна!» — восклицал с волнением этот патриарх русской печати перед обетованной землей русской свободы.

Нам, французам, остается лишь с уважением, склонившись перед его гробом, сказать, что Европа никогда не узнала бы этой идущей вперед России, если бы такие писатели, как Алексей Сергеевич, не взяли на себя заботы рассказать о ней».





П Р И Л О Ж Е Н И Е

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ



Десятого ноября 1911 г. я, нижеподписавшийся, потомственный дворянин, губернский секретарь в отставке, Алексей Сергеевич Суворин, находясь в здравом уме и твердой памяти, объявляю волю на случай моей смерти.

I. Мне принадлежат имущества: а) пятьсот двадцать паев Товарищества А. С. С. «НВ», б) дом в Петербурге по Эртелеву переулку д. № 6, в) имение Тульской губернии, Чернского уезда, село Велне Никольское с хуторами Орликом и Афросимовым, г) дом в Феодосии, д) дом в Сочи, е) имение с садом в местности Хоста и несколько участков в Муравьевской даче по Черноморскому берегу, ж) разного рода недвижимость, капитал и дом мне Товарищества А. С. С. «НВ» в пятьсот тысяч рублей, з) журнал «Исторический вестник» и и) двести паев театра Литературно-художественного общества.

II. Завещаю сыну моему Михаилу сто десять паев Товарищества А. С. Суворин «НВ»; детям сына моего Алексея, а моим внукам Никите и Наталли, 86 паев того же Товарищества; доче-

Духовное завещание А. С. Суворина обнаружено и скопировано по тексту машинописи А. Ю. Минаковым в РГАЛИ в фонде А. С. Суворина (ф. 459, оп. 2, ед. хр. 685, л. 11–12 об. Датировано: ноябрь 1911 года – 1 декабря 1912 года).



ри моей Анастасии завещаю в пожизненное владение пятьдесят четыре пая с правом голоса. По ним и детей ее паям во все время пожизненного владения и до совершеннолетия детей ее Алексея, Николая и Андрея, которым завещаю в собственность 34 пая с тем, чтобы после смерти ее пай перешли в собственность ее детям, которых она должна содержать до совершеннолетия. Доходы же с детских паев до совершеннолетия она получает в свою собственность, как и доходы со своих пожизненных паев. Сыну моему Борису завещаю 70 паев того Товарищества с тем, что он, Борис, получает свои пай в полное свое распоряжение по истечении пяти лет со дня утверждения этого завещания, а до того времени пользуется дивидендом с них и правом голоса в собраниях Товарищества. Внукам моим Дмитрию и Андрею Коломниным, сыновьям моей дочери покойной Александры, завещаю обоим вместе 86 паев, т.е. по сорок три пая. Жене моей, Анне Ивановне, завещаю пожизненно 84 пая и вместе с тем назначаю ее опекуницей малолетних детей дочери моей Анастасии и сына Бориса.

III. Дом в Эртелевом переулке, оцениваемый мной, не считая залоговой суммы, в двести тысяч рублей, завещаю сыну моему Михаилу и внукам моим, детям сына Алексея, Никите и Наталии.

IV. Имение мое в Чернском уезде завещаю в двух третях дочери моей Анастасии и жене Анне Ивановне в одной третьей, оцениваю я его в сто семьдесят пять тысяч рублей.

V. Дом в Феодосии, который оцениваю в семьдесят тысяч, завещаю сыну моему Борису.

VI. Дом в Сочи и владения в Хосте и в Муравьевской даче отказываю в общую собственность моих наследников: сына Михаила, внуков Никиты и Наталии, дочери Анастасии, сына Бориса и внуков Дмитрия и Андрея.

VII. Из наличных домашних моих денежных средств завещаю брату моему Петру Сергеевичу пятнадцать тысяч рублей, сестре Александре пятнадцать тысяч рублей, сестрам Анне и Варваре каждой по десяти тыс. рублей, племяннице Антонине Полтавской, по мужу Чечновой, племяннице Вере Петровне Колесниковой, племянникам Василию Саранчину, Михаилу Собо-



леву и Владимиру Суворину, каждому и каждой по пяти тысяч рублей. Кроме того, обязываю моих наследников, сына Михаила и внуков Никиту и Наталию, сына Бориса, дочь Анастасию и ее детей, и жену мою, Анну Ивановну, уплачивать всем этим родным моим, числом девяти лицам, по тысяче рублей каждому и каждой пожизненно, всего ежегодно девять тысяч рублей.

VIII. Из дома мне Товарищества в пятьсот тысяч рублей завещаю Бобровскому земству пятьдесят тыс. рублей на учреждение и содержание ремесленного училища для детей обоего пола в селе Коршеве. Десять тысяч рублей Коршевскому двухклассному училищу с тем, чтобы из процентов этого капитала выдавалось добавочное жалование учителям. Десять тысяч рублей завещаю Бобровской мужской гимназии и Бобровской женской гимназии столько же. Пятнадцать тысяч рублей Воронежскому Михайловскому кадетскому корпусу с тем, чтобы из процентов этих капиталов в гимназиях выдавались пособия окончившим курс бедным ученикам или ученицам, а в корпусе, тоже из процентов, выдавалось пособие бедным кадетам, окончившим курс и произведенным в офицеры. Выражаю желание, чтобы в гимназиях выдавалось пособие воспитанникам и воспитанницам Бобровского уезда, а в корпусе Воронежской губернии. Для получения в срок с Товарищества назначенных выдач, каждый получает по шести процентов в год на завешанную сумму.

IX. Завещаю капитал в двадцать пять тысяч руб. Типографии «Новое Время» и конторе его с тем, чтобы из него выдавались пособия прослужившим в этих учреждениях 25 лет.

X. Завещаю Василию Анисимовичу Юлову десять тыс. руб. Двадцать тысяч завещаю Клавдии Ивановне Дестанб.

XI. Всякого рода движимое имущество и капиталы, какие останутся за вышеизложенными задачами, оставляю в равных частях (за исключением моей библиотеки, о которой напишу особо) в собственность моих наследников, названных в статье 2 этого завешания. Им же оставляю «Исторический Вестник». К этому духовному завешанию, составленному мною 10 ноября 1911 года и мною написанному, руку приложил потомственный дворянин, губернский секретарь в отставке, Алексей Сергеевич Суворин. Что настоящее духовное завешание, составленное и напи-



санное завещателем, Алексеем Сергеевичем Сувориным, совершенно им в здравом уме и твердой памяти, им самим подписано, в том по личной просьбе, удостоверяю дворянин, статский советник Константин Семенович Тычинкин. Что настоящее духовное завещание, составленное и писанное самим завещателем. Алексеем Сергеевичем Сувориным, совершенно им в здравом уме и твердой памяти, им сами подписано, в том числе по личной просьбе удостоверяю, коллежский асессор Михаил Николаевич Мазаев.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителя</i>	3
<i>Б. Б. Глинский. Родители А. С. Суворина</i>	9
<i>Б. Б. Глинский. Алексей Сергеевич Суворин</i> (биографический очерк)	14
<i>В. В. Розанов. Из припоминаний и мыслей</i> об А. С. Суворине	81
<i>В. М. Грибовский. Несколько встреч с А. С. Сувориным</i> (По личным воспоминаниям)	124
<i>П. И. Соколов. Воспоминания об А. С. Суворине</i>	136
<i>С. Н. Шубинский. Памяти А. С. Суворина</i>	142
<i>Н. М. Ежов. Алексей Сергеевич Суворин</i> (Мои воспоминания о нем, мысли, соображения)	143
<i>Д. Н. Вергун. Суворин и славянство</i>	229
<i>Митрополит Антоний. Ветеран русской печати</i>	234
<i>А. В. Амфитеатов. Десятилетняя годовщина</i>	237
<i>Е. П. Карпов. А. С. Суворин и основание театра</i> литературно-артистического кружка. Странички из воспоминаний «Минувшее»	258
<i>В. М. Грибовский. Чествование А. С. Суворина</i> в Малом театре	312
<i>Н. И. Кравченко А. С. Суворин и живопись</i>	341
<i>М. О. Меньшиков. Талант и стойкость</i>	344
<i>М. О. Меньшиков. Жива Россия</i>	352
<i>М. О. Меньшиков. Памяти А. С. Суворина</i>	361
<i>М. О. Меньшиков. Кого хоронит Россия</i>	369
<i>Памяти Суворина</i>	377
<i>Приложение. Духовное завещание</i>	386

Телохранитель России

А. С. Суворин в воспоминаниях современников

Составитель – С. П. Иванов.

Редактирование и подготовка текстов –
В. П. Бахметьев, А. Е. Коробанов, А. Е. Тишанинов.

Набор, верстка и художественное оформление:

Ю. А. Крапивин, И. А. Слюсарь.

Корректор А. И. Сергиенко.

ПД № 00265 от 19 января 2000 г.

ЛР № 010061 от 16 октября 1996 г.

Подписано в печать 12. 03. 2001 г. Формат 60х84/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-п. л. 22,8.

Уч.-изд. л. 19,7. Тираж 3000 экз. Заказ 4329.

Отпечатано в Воронежской областной типографии –
издательство им. Е. А. Болховитинова.

394071 г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а

Книга издана на средства:

Администрации Бобровского района Воронежской области, глава местного самоуправления – *Балбеков Анатолий Иванович*

Акционерного общества «Воронежстальмост», генеральный директор – *Боровиков Владимир Николаевич*

Регионального общественно-политического движения «За возрождение экономики», председатель правления – *Соловьев Александр Кириллович*

Издана по инициативе редакции воронежского областного еженедельника «Берег» и его главного редактора Иванова Святослава Павловича.

